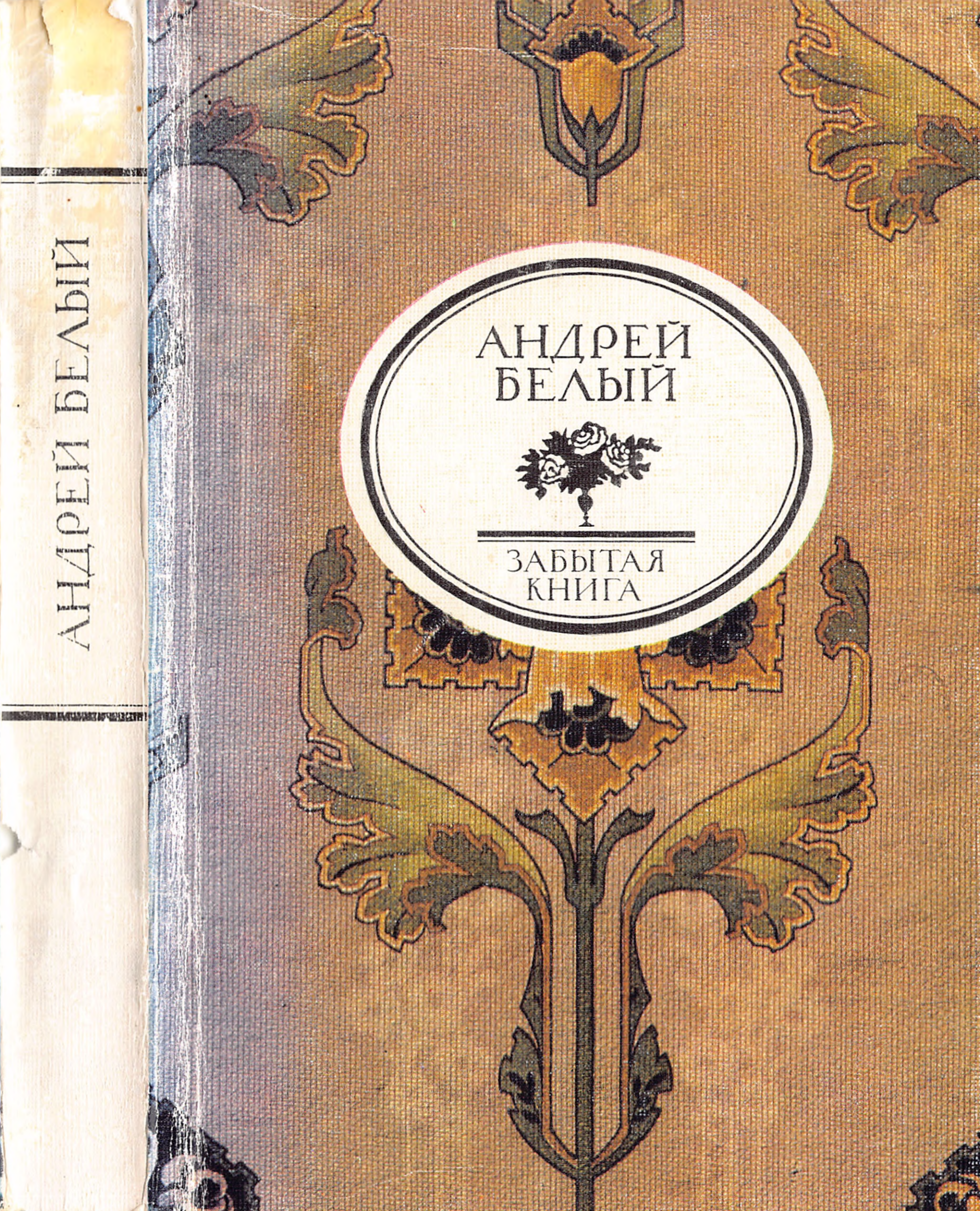
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ
ЗАБЫТАЯ
КНИГА

ЗАБЫТАЯ
КНИГА

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ

МОСКВА
Книгоиздательство «Скорпион»
1910

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ

Повесть в семи главах

Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
Б43

Подготовка текста,
вступительная статья и комментарии
М. Козьменко

Оформление художника
А. Семенова

Б $\frac{4702010201-378}{028(01)-89}$ без объявл.

ISBN 5-280-01312-9

АВТОР И ГЕРОЙ ПОВЕСТИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ»

«Серебряный голубь» — первое большое прозаическое произведение Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева, 1880—1934) — крупнейшего деятеля русского символизма, одного из выдающихся в русской литературе XX века поэтов и прозаиков, автора фундаментальных исследований по философии искусства, одного из предшественников современной науки о строении стиха... — другими словами, человека, вместившего в себя целую эпоху русской культуры, причем эпоху замечательную и во многом еще для нас загадочную.

В своей последней книге, посвященной Гоголю, но — как это часто бывает у писателей, когда они пишут о близких по духу, — одновременно отразившей и его собственные творческие устремления, Белый говорит о двух различных подходах к художественному творению: пушкинском и гоголевском. «Прозаические произведения Пушкина замкнуты; автор, написав каждое, ставит его, как статуэтку, пред нами; и переходит к следующему. Гоголь обрастает продуктами своего творчества, как организм, питающий свои ногти, которые он держит на себе, хотя они и срезаемы без ущерба; они, и отданные читателю, никогда не могут закончиться, ибо законченность их — не они сами, а целое питающего организма, который — творческий процесс; в нем вклю-

чены продукты творчества с жизнью Гоголя так, что с изменением жизненных условий менялись в Гоголе они; и отсюда перемарки, новые редакции, фрагменты, оставшиеся недоработанными, и перевоплощение персонажей и тем из одной повести в другую; и наконец вечная трагедия: воплощение не воплощаемо в новый этап сознания...»[1]

Сказанные о Гоголе слова в первую очередь необходимо отнести к самому Белому. Принципиальная неразложимость личности художника и «продуктов» его творчества необычайно важна для понимания существенных моментов в произведениях этого писателя. В сентябре 1922 года в письме к Б. Пильняку М. Горький очень точно подметил то, что Белого «нельзя не принимать целиком, со всеми его атрибутами как некий своеобразный мир, — как планету, на которой свой — своеобразный — растительный, животный и духовный миры»[2]. В этой характеристике заложен элемент уважительного неприятия Белого как автора, воплощающего слишком необычный, а потому непонятный «нормальному» читателю образ мира. Горький в своем письме пытается отвратить Пильняка от следования по путям А. Белого, и пытается — безуспешно. Не случайно слишком многие тянулись вслед за Белым по многочисленным, подчас лишь намеченным самим художником, но всегда ослепительным в своей подлинной новизне трассам. Новаторство стало второй сущностью этого писателя, каждая его новая книга была неожиданностью, сопровождавшейся либо скандалом (как его подчеркнуто экспериментальные «симфонии», прозаические произведения, организованные по законам музыкальных), либо

---

[1] Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. М.—Л., 1934, с. 7.

[2] Горький и советские писатели. Неизданная переписка. — Литературное наследство, т. 70. М., 1963, с. 311.

молчаливым недоумением критики (как его поздние романы). Однако история русской культуры нашего столетия, наконец-то раскрывающаяся перед современным читателем во всей своей полноте и богатстве, все с большей очевидностью являет, что «тупики» поэта, прозаика и теоретика искусства Андрея Белого были указательными вехами художественного сознания, присущего уже XX веку.

1

«Серебряный голубь» — книга со сложной судьбой, и многое в этой судьбе связано с тем, что она оказалась в гигантской тени «Петербурга», следующего по времени создания романа А. Белого.

Где-то около 1907 года у Белого возникает замысел трилогии «Восток или Запад», грандиозной эпопеи, в которой был бы поставлен вопрос о национально-исторической судьбе России, страны, в духовном облике которой переплетены два полярных культурных начала — азиатское и европейское. В борьбе, в механическом сочетании, органическом синтезе или в иной форме сои разъединения двух этих «праоснов» еще со времени первых западников и славянофилов виделись и трагедия России и ее особое предназначение. Для Белого, очень личностно пережившего горький опыт русской революции девятьсот пятого года, этот старый спор обрел особую актуальность.

«Серебряный голубь» — первая книга замышляемой трилогии — должен был выразить преимущественно восточное начало, исступленно-страстное, темное и иррациональное, то, что в истории российской порождало бессмысленные бунты и кровавые казни. Противоположное, западное начало — холодно-рационалистическое и иссушающе-умозрительное — доминирующая

тема романа «Петербург». «Россия оказалась, согласно Белому, страной, где сошлись главные тенденции мирового исторического процесса, но, сойдясь, они не «примирились», и примириться им, считает он, не суждено...» — пишет современный исследователь[1].

Заключительная часть трилогии, книга, в которой должны быть указаны пути к разрешению этого конфликта, не была написана. Собственно, этот явно утопический замысел построения в начале XX века столь обширной, внутренне цельной и увенчанной к тому же идеалом идейно-образной конструкции (наподобие Дантовой «Божественной комедии») был подорван уже при написании «Петербурга», почти никак не сообщающегося с предыдущей повестью, кроме незначительных и едва ли не случайных фабульных увязок. Существующая между двумя этими книгами общность мотивов почти не влияет на их автономность и эстетическую законченность, ибо повторяющиеся на протяжении всего творческого пути Белого мотивы вообще являются важным показателем его художественного метода[2]. Но, однако, при достаточной независимости «Серебряного голубя» — повести о русской деревне — от романа о нерусском городе Петербурге у историков литературы сохранялись представления о некоей несамостоятельности повести, ее подсобной, промежуточной роли — как произведения, подготовившего создание грандиозного «Петербурга».

Своего рода двусмысленность положения «Серебряного голубя» в истории русской прозы XX века связана и с другим существенным обстоятельством. Произведение это (как и многое другое из написанного Белым) парадоксально, соединяет в себе ранее несоединимое

[1] Долгополов Л. К. История создания романа. — В кн.: Белый А. Петербург. М., Наука, 1982, с. 541.
[2] Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, с. 75.

в литературе. Но внутренний механизм, определяющий качественно новую эстетическую природу повести, не только не обнаруживает себя в ярких образно-стилевых новациях (явленных, скажем, в «симфониях» или в том же «Петербурге»), но, напротив, тщательно закамуфлирован. Белый, казалось бы, использует в «Серебряном голубе» стилистику, приемы, мотивы и образы русской прозы прошлого столетия, оставаясь исключительно в границах гоголевской поэтики, но при этом происходит какой-то малопонятный при первом приближении эстетический сдвиг. Настраивая нас на близкий «классический материал», сам художник то будто бы перебарщивает в подражательности, как неумелый копиист, то вдруг нарушает законы принятой им самим манеры повествования. *По тем законам* его характеры якобы недостаточно психологичны, перегружены символическим подтекстом, речь персонажей чрезмерно натуралистична (буквалистское воспроизведение любых, даже патологических, особенностей их произношения назойливо и безвкусно), изображение событий смутно, невнятно и к тому же бестактно прерывается бесчисленными лирическими отступлениями, и наконец, неясно, *кто* ведет повествование: рассказчик из народной среды, литературный повествователь — поклонник старого доброго стиля или новоявленный декадент, мешающий прозу с поэзией. И в конце концов — о чем повесть? Ведь внешняя фабула, если о ней судить с традиционных позиций, размазана среди лирических отступлений и вроде бы необязательных стилистических украшательств, как размазана и однозначная авторская трактовка происходящего. *О чем* говорится в повести, не проясняет ни само действие, ни (отсутствующее) объяснение происходящего автором.

Парадокс «Серебряного голубя» в том и состоит, что при «неуклонном» следовании классическому образцу (Гоголю) его создатель кардинальным образом меняет

идейно-образную направленность всех сторон гоголевской поэтики. Подлинные о *чем* и *как* «Серебряного голубя» могут быть прояснены лишь при обращении к тем непосредственно не явленным в тексте повести слоям действительности и искусства, с которыми связано и в которых бытует это уникальное художественное произведение. Первый из этих слоев — реально-жизненный, биографический.

2

«Серебряный голубь», как ни одно произведение Белого, соединил в себе глубоко интимные переживания автора с обобщениями самого широкого историко-культурного плана. Подобный сплав личностного опыта и глобальных проблем века, его «проклятых вопросов», являясь приметой символизма, особенно показателен именно для этой повести Белого.

Повесть в основном писалась в 1908—1909 годах, которые стали в судьбе Белого рубежом, концом одного большого жизненного этапа и началом следующего. В это время подошла к окончательной развязке долго тянувшаяся и травмировавшая писателя на всю жизнь любовная драма его с Любовью Дмитриевной Менделеевой — женой близкого Белому его «друга-врага» А. А. Блока[1]. Конец 1908 года для Белого — кризисный и итоговый одновременно; в декабре этого года он окончательно расходится с Д. С. Мережковским, духовная связь с которым продолжалась целых семь лет. В это же время он начинает отдаляться от В. Брюсова и его детища — журнала «Весы», самого авторитетного органа

---

[1] Подробнее об их взаимоотношениях см.: Орлов Вл. История одной «дружбы-вражды». — В его кн.: Пути и судьбы. Литературные очерки. М.—Л., 1963, с. 446—578.

символизма, в котором Белый активно сотрудничал со дня его основания в 1904 году. Тогда же первая тень ложится между ним и Сергеем Соловьевым и Эллисом (Л. Л. Кобылинским), активными деятелями символистского движения, его единомышленниками еще по московскому кружку «аргонавтов» 1903—1904 годов (а это целая эпоха в духовной эволюции писателя, отпечаток идей и образов которой лежит на всем раннем творчестве Белого)[1].

То же чувство одиночества, отторгнутости и неприкаянности окрасит размышления главного героя «Серебряного голубя», Петра Дарьяльского, о собственной судьбе. Не менее важным общим мотивом повести (особенно сгущающимся к концу ее) сделается атмосфера тревоги и преследования, которая также оказывается «личной нотой» Белого: по его убеждению, она вызвана не только цепью житейских и литературных неурядиц, но самим воздухом политической реакции, в котором задыхался писатель[2].

Однако конкретные реалии, перенесенные в повесть подчас со скрупулезной дотошностью, нужно искать в более ранних годах. Действие «Серебряного голубя» — повести о поэте-символисте, неославянофиле и ценителе античности, полюбившем простую деревенскую женщину Матрену и через нее вовлеченного в религиозную секту «голубей», — происходит на фоне крестьянских волнений в первую русскую революцию. В своих мемуарах Белый предельно конкретно называет время действия: «...Август 1906 г. дал весь материал для романа (так он будет обозначать это произведение позже. — *М. К.*) «Серебряный голубь»[3]. В это

---

[1] Подробнее см.: Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов». — В кн.: Миф — фольклор — литература. Л., 1978, с. 137—170.

[2] См.: Белый А. Между двух революций. М.—Л., 1932, с. 354.

[3] Там же, с. 10.

время Белый со своим ближайшим другом Сергеем Соловьевым (племянником известного философа Владимира Соловьева) живет в Дедове, подмосковном имении бабушки Сергея, детской писательницы А. Г. Коваленской. Здесь Белый услышит голос взбудораженной революционными событиями деревни, отсюда будет перенесена в повесть вся атмосфера того жаркого своими политическими страстями лета с его сходками, песнями, прокламациями и вылазками уже поднявшей голову реакции. Даже вместе с такими деталями, как название сигарет — «Лев», которые по шесть копеек за пачку покупали и обитатели реального Дедова, и Дарьяльский в воображаемом Целебееве.

С изрядной долей иронии Белый пересказывает в своих мемуарах события того же лета, определившие основную фабульную пружину «Серебряного голубя»: любовные томления С. Соловьева, полюбившего простую деревенскую «девчонку» Еленку и даже ездившего свататься к ее братьям. Так же, как и герой повести, друг Белого «Грецией бредил; и бредил народом; соединял миф Эллады с творимой легендой о русском крестьянине; видел в цветных сарафанах, в присядке под звуки гармоники — пляс на полях Елисейских... о бабьем лице, том, которое «писаной миской», он выразился: «мирро уст»... сочетав миф с эсерством («земля для народа», «долой власть помещиков»), он пожелал омужичиться, «барина» сбросить, женясь на крестьянке»[1]. Так же, как и опростившийся и влюбленный Дарьяльский в повести, С. Соловьев носил тем летом красную рубашку и увенчивал свою голову, «в знак страсти», венком из ярко-зеленой еловой лапы.

«Лето — душное, — вспоминал позже Белый, — страсти душили». На лето 1906 года приходится и куль-

---

[1] Белый А. Между двух революций, с. 85.

минация отношений с Л. Менделеевой. Белый надеялся обрести в союзе с этой женщиной слияние своих духовных идеалов с вполне земными отношениями. После окончательного отказа, последовавшего вслед за мучительными для писателя двумя годами ожидания между «да» и «нет», Белый в ожесточении отчаяния начинает все более забывать о том первоначальном обожествлении, обожествлении едва ли не буквальном, которое заставляло его и С. Соловьева видеть в невесте, а затем жене А. Блока земное воплощение Вечной Женственности, Прекрасной Дамы и иных религиозно-мистических образов философии и поэзии Владимира Соловьева. Несправедливая эмоциональная память писателя сохраняет к 1909 году только «земные» черты этой женщины, более того, представляет их в гипертрофированном виде и воплощает в образе сладострастной и законченно плотской сектантской «духини» Матрены, увлекающей Дарьяльского в омут любовного безумия. Пример с Л. Д. Менделеевой, реальные черты которой фантастически трансформировались в повести, очень наглядно свидетельствует о том, что к проблеме прототипов «Серебряного голубя» нужно относиться с большой осторожностью, несмотря на прямые указания на них самого писателя и множество очень точных бытовых деталей, рассыпанных на его страницах и должных «закрепить» за определенным персонажем реальное лицо или действительное событие. Буквальному отождествлению героев и «прототипов» препятствует и своеобразная образная структура повести.

В образе противопоставленной Матрене невесты Дарьяльского, проникнутой дворянской (а значит — «западнической») культурой и возвышенной духовностью Кати Гуголевой, отразились черты Аси Тургеневой, молодой художницы, с которой Белый вскоре соединит свою судьбу на семь ближайших лет. Интересно признание самого писателя, что это отождествление появится

уже в процессе работы над окончательной редакцией: возникновение его чувства к Асе приходится на весну 1909 года, когда в «Весах» уже печатаются первые главы повести. И Белый, «по горячим следам» собственной любви, вводит в облик Кати и «пепельные кудри», и глаза, «умеющие заглядывать в душу», и загадочное сочетание детскости и мудрости, беззаботности и напряженной работы ума, — в общем, все то, что очаровало его в восемнадцатилетней девушке, которая смогла в этот кризисный период возродить в нем вкус к жизни, надежды, творческие силы[1].

Однако повторим, что, невзирая на соблазн поддаться настойчивым указаниям самого художника в его позднейших воспоминаниях и ограничиться «реальным слоем» в системе образов «Серебряного голубя», более надежные ориентиры, которые позволили бы воспринять всю глубину, сложность и своеобразие этой повести, нам необходимо искать в ином мире, в противоречивом и изменчивом мире мысли Белого с его весьма обширными культурно-историческими горизонтами.

3

В современной Белому критике и позднейших литературоведческих исследованиях утвердилось устойчивое мнение, что Дарьяльский является рупором авторской идеи и что образ этот если не вполне автобиографичен, то с большой точностью отражает интеллектуальный лик создателя «Серебряного голубя». И нужно сказать, что для такого его истолкования имеются достаточно веские основания.

Духовно-эмоциональный центр внутреннего мира Дарьяльского — новейший вариант славянофильства,

---

[1] Белый А. Между двух революций, с. 362—363.

включившего в себя и революционные веяния времени, и религиозно-философские идеи Владимира Соловьева, и мистический опыт совсем близкой, символистской формации. Строя образ центрального героя повести, Белый активно «цитирует» идеи и образы своей собственной статьи «Луг зеленый», которая в значительной степени проникнута теми же славянофильскими настроениями и была опубликована в июле 1905 года в журнале «Весы». Познакомившись с наиболее существенными фрагментами этой статьи, которые приводятся в настоящем издании, читатель убедится, что в «Серебряный голубь» вошли почти все мотивы «Луга зеленого», причем в повести сохранено их своеобычное, образное и интонационно-стилевое выражение.

Мотивы «Луга зеленого» становятся здесь идейно-образными доминантами, характеризующими «роман с народом» Дарьяльского. Ведь именно в этой статье впервые появляется буколическая картинка единения на зеленом лугу различных сословий («сельского учителя», «ослабевшего помещика» и «волостного писаря»), сопровождаемая «здоровой русской песней». Здесь же дан и мистико-утопический прообраз этого единения, указующий на субстанциональный характер «зеленого луга» и характерно (как бы предвосхищая греческо-русские параллели Дарьяльского) окрашенный в античные тона: «Вспоминается время, когда под луной на зеленом лугу взвивались обнаженные юноши, целомудренно кружились, завиваясь в пляске... в ласковой грусти взлетали юные девушки над тонкими травами. Их серебряные хитоны, словно струи прохлады, вечно слетали, пенясь складками.

Это на зеленом лугу посвященные в жизнь несказанную вели таинственный разговор душ».

В повествовательную ткань «Серебряного голубя» включаются и образы-идеи статьи, отражающие поэтически аморфные веяния, которые культивировались в

кружке «аргонавтов» под воздействием В. Соловьева и Ф. Ницше (правда, существенно переистолкованных): души-зори, души-ласточки (стрижи), небеса как истинная родина, место единения «посвященных» и т. п.

Однако Белый 1905 года значительно отличается от Белого 1909 года, кроме того, природа публицистической по своей сути статьи (да не смутит современного читателя ее экспрессивно-лирический характер!) совсем иная, чем у художественной прозы, повести. Передавая свои собственные *прежние* идеи Дарьяльскому, герою мечущемуся и в конце концов проигравшему схватку с судьбой, автор уже тем самым становится по отношению к ним на определенную дистанцию. Исследуя в повести феномен разлада между народом и интеллигенцией и во многом роковую роль, которую сыграло в этом процессе берущее свое начало у истоков славянофильства утопическое «народолюбие», Белый не останавливается перед тем, чтобы выставить напоказ славянофильские иллюзии, свойственные и ему самому. Зеленый луг — центральный, «заглавный» образ статьи и символ уверенности в грядущем единении «простых и мудреных» русских людей в «Серебряном голубе» выступает уже в качестве знака разобщения: «серая усмешка» дороги рассекает его, увлекая сельский люд в порченный цивилизацией город. И хотя Белый в 1910 году включает статью «Луг зеленый» в одноименный сборник, чувствования недавних лет можно считать дорогим, но во многом преодоленным этапом в стремительной и неоднолинейной эволюции художника.

Другой аспект этой небольшой статьи не менее важен для связи ее с «Серебряным голубем»: в ней появляется имя Гоголя. Историческая драма России возводится здесь к гоголевским образам: «В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины, — Красавицы, стоящей на распутье между механической мертвенностью

запада и первобытной грубостью». Колдун, усыпивший ее, — это «неведомый казак из заморских стран, ужас приносящий... Вот покрывает он зеленые луга сетью мертвых городов; вот занавешивает небо черным пологом фабричных труб». Антитеза «Россия — Запад», явно ориентированная с помощью славянофильских категорий и позднейших их преобразований у Достоевского и Вл. Соловьева[1], напрямую связывается здесь с гоголевской образно-стилевой системой.

Именно романтико-утопические изображения народной жизни Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» станут основным «источником» грез о народной жизни очарованного Дарьяльского, тогда как демонические образы «Миргорода» (в первую очередь — «Страшной мести») будут возникать перед героем в те минуты, когда ему будет приоткрываться страшная подоплека секты «голубей».

Характерно, что в повести переакцентируется «гоголевско-славянофильский» миф о Катерине-России и заворожившем ее колдуне. Если в «Луге зеленом» колдун приходит с «Запада», то в «Серебряном голубе» чертами колдуна из «Страшной мести» наделен Кудеяров, носитель противоположного, восточного начала. Да и сам мотив «сна-морока», окутывающего Дарьяльского, здесь порожден «темной бездной Востока».

Демонстративное, «прямое» включение гоголевских образов в мир «Серебряного голубя», нарочито сгущенное воспроизведение гоголевской стилевой манеры, шо-

---

[1] О своеобразии восприятия А. Белым славянофильской антитезы «Россия — Запад» и связи ее с проблемой Востока и Запада в его собственном творчестве подробнее см. в статье Л. К. Долгополова «Литературные и исторические источники роман А. Белого «Петербург». — В его кн.: На рубеже веков. О русской литературе конца XIX — начала XX века. Л., 1977, с. 219—223.

кирующе подействовавшее на некоторых критиков того времени, было здесь не простой стилизацией или подражательством «бывшего декадента», пошедшего на выучку к классику-реалисту. Свобода, с которой Белый «присваивает» чужие образы и стиль, порождена чувством глубокой родственности личности и художественного сознания Гоголя его собственному. Белый не только в своих художественных произведениях и статьях, но и в ряде моментов своего бытового поведения (!) пытается как бы воссоздать образ Гоголя, «Гоголя, воскрешенного через семьдесят лет»[1].

Такое вживание в личность другого художника, в пределе устремленное к подлинному «перевоплощению», тяга к восстановлению не только буквы, но и самого духа его творчества не могла, естественно, строиться без переоценки Гоголя, без переосмысления его образа, сложившегося в русской культурной традиции прошлого столетия. Переоценка, сделанная Белым, оказывается радикальной.

Его статья «Гоголь» (см. Приложения к наст. изд.) была напечатана в 1909 году в «Весах» одновременно с одной из частей «Серебряного голубя» и потому во многом может быть воспринята как «объяснение с читателем» по поводу гоголевских моментов в поэтике этой повести. Белый говорит в ней о чрезвычайной актуальности творчества Гоголя, о связи его с коренным вопросом послереволюционного периода — вопросом о будущности России: «Непостижимо, неестественно связан с Россией Гоголь, может быть, более всех писателей русских, и не с прошлой вовсе Россией он связан, а Россией сегодняшнего, и еще более завтрашнего дня».

---

[1] См.: Паперный В. М. Андрей Белый и Гоголь. Статья первая. — В кн.: Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 604. Тарту, 1981; Статья вторая. — Там же, вып. 620. Тарту, 1983.

Гоголь оказывается не классиком, восприятие которого определяет, наряду с ценностной шкалой, и временная дистанция, но непосредственно сопричастным сегодняшнему литературному движению современником. «Что за образы! ...Найдите мне у Верлэна, Рембо, Бодлера образы, которые были бы столь невероятны по смелости, как у Гоголя».

Белый утверждает, что «все те приемы, которые характеризуют лучших стилистов нашего времени (именно как стилистов *нашего* времени), налицо у Гоголя», и ставит гоголевскую поэтику наравне с вершинным, по его мнению, ориентиром «нового стиля» — прозой Ницше. Трактовка Белым гоголевской поэтики открывает ту линию в искусстве и науке XX века, которая подчеркивает условность («антинатуральность»), экспрессию и парадоксальность слова Гоголя (В. Мейерхольд, ранний Б. Эйхенбаум, В. Набоков и др.). Когда же Белый обращается к судьбе этой великой и трагической натуры, он во многом опирается на истолкование ее, сложившееся в начале века в работах А. Волынского, В. Розанова, Д. Мережковского, И. Анненского, В. Брюсова и др. Гоголь в этой новой, но впоследствии также ставшей значительной для философии культуры XX века, традиции рассматривается одновременно как пророк и как демон русской жизни, в нем находят истоки и созидательных, и разрушительных начал русского художественного сознания, а его личная трагедия возводится к извечной мистерии борьбы дьявольского и божеского, ареной которой стала вселенная — душа великого художника.

В конце своей статьи Белый, подчеркивая тесную связь поэтики *своего Гоголя* с его драматической судьбой и мировоззрением, говорит о том, что под стилем следует «разуметь не слог только, а отражение в форме жизненного ритма души». В «Серебряном голубе» этот тезис находит самое яркое подтверждение.

4

Многослойный, пестрый и на первый взгляд восторженно-неупорядоченный стиль повести на самом деле подчинен вполне определенной внутренней логике этого произведения. Его демонстративная «гоголецентричность» становится дополнительным, а в некоторых случаях — выступающим на первый план средством придать идеям и образам «Серебряного голубя» глубинное, историко-культурное измерение. Когда Белый воспроизводит повествовательные формы раннего Гоголя, то для него они оказываются не просто способом рассказывания, а своеобразной призмой, преломляющей изображаемую жизнь. И здесь одинаково важным является не только изображаемый предмет (народная жизнь), но и сам угол его преломления. В гоголевском сказе, воспроизводящем разговорную речь простолюдина, и в гоголевской стилизации народно-поэтического творчества, согласно Белому, проявляется виденье русской жизни с позиций славянофильского народолюбия.

Уже на первых страницах читатель сталкивается с рассказчиком из народа: «Славное село Целебеево, подгородное... Славное село! Спросите попадью: как приедет, бывало, поп из Воронья (там свекор у него десять годов в благочинных), так вот: приедет это он из Воронья, снимет рясу, облобызает дебелую свою попадьиху, и сейчас это: «Схлопочи, душа моя, самоварчик». Будто сам пасечник Панько Рудый вошел в повесть Белого со страниц гоголевских «Вечеров...», а автор доверил его глазам и словам рассказ о селе Целебееве и его жителях. Однако в следующих главах в его оценках, интонациях, речевых конструкциях появляются ноты, входящие в противоречие с исходным образом патриархального, приветливого и добродушного балагура. Гоголевский рассказчик (а то, что здесь мы имеем дело именно с Паньком Рудым, позже засвидетельст-

вовал и сам Белый[1]) как бы перемещен в иное время, в эпоху революции девятьсот пятого года. И в новом времени этот выразитель цельности народного сознания, ранее свидетельствовавший от лица нерасчленимого, роевого «мы», вместе с новыми, городскими, словечками вносит в свой рассказ характерные интонации тревоги и разлада. Лик простонародного повествователя как бы расслаивается (иные исследователи говорят даже не об одном, а целых трех рассказчиках из народа в «Серебряном голубе»[2]). С ним сливается прямая речь персонажей, говорящих о боге и о земной жизни (столяра Кудеярова, странника Абрама, сторожа Ивана Огня и др.). В нем отражаются и хор голосов, спорящих о политике в чайной, хор, из которого трудно выделить индивидуальные реплики, и песни, звучащие в ночных полях, и полуграмотные прокламации, и духовные стихи. Все это делает речь рассказчика центром одного большого образа, многообразные штрихи и черточки которого рассеяны по всему словесному пространству повести, — образа взбудораженной революцией деревни, который имеет уже мало общего с исходным идиллическим представлением о народном сознании как о вечном и незыблемом оплоте национальной цельности.

Прямую речь персонажей из народа Белый передает в буквальном воспроизведении всех ее фонетических особенностей, подчеркивая тем самым, что это совсем другой язык, совершенно отличный от правильного литературного языка «образованных» не только своим звучанием и словарем, но и логикой. И самое интересное, что Белый заставляет этих персонажей думать и говорить о утонченнейших идеях современности, о тех, которые обсуждаются в модных декадентских салонах,

---

[1] Белый А. Мастерство Гоголя, с. 300.

[2] Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978, с. 143.

на страницах символистских журналов, на заседаниях Религиозно-философского общества. Таким образом писатель подвергает ироническому освещению набившие оскомину и ставшие уже приметой эпигонов символизма все эти «бездны», «те стороны добра и зла» и т. п. Характерно, что в журнальном варианте повести, вкладывая в уста столяра Кудеярова рассуждения о преимуществе различных стилей (тема, весьма существенная для символистов, особенно обострившаяся в 1907—1908 годах в связи с нарастанием в литературе так называемых «неореалистических» тенденций), Белый открыто пародирует некоторые злободневные вопросы литературной полемики: «...Есть солидные штили, доходные... вот хоть бы *рококо*, али *русский штиль;* а есть так только, шушера одна: тяп-ляп — готово... хоть бы *декаданс:* на едаком штиле много деньги не зашибешь: так это, обман». В отдельном издании повести автор, видимо, осознавая пародийный перехлест этого пассажа, слово «декаданс» изымает из прямой речи столяра[1]. Глава «духовного согласия», идеолог «голубей» Кудеяров, по заявлению самого Белого[2], несет в себе некоторые черты (относящиеся уже не к реальному облику «прототипа», а к духовному) «неохристианского» философа и писателя Д. С. Мережковского, под влиянием которого долгое время находился Белый. Сквозь рассуждения Кудеярова о «голубином деле» явственно сквозят отдельные излюбленные идеи идеолога «нового религиозного сознания», прежде всего — мысль о необходимости слияния в религии духовных и плотских начал: «...Што воздух — дхнул, и нет его, воздуху, а вот как духовных дел святость в плотское естество претворятся то, милый,

---

[1] Широкое пародийное освещение проблема художественного творчества получает в повести в «эстетических суждениях» и «произведениях» сына лавочника Степки.

[2] Белый А. Между двух революций, с. 354.

и есть тайна. Естество наше — дух и есть; а сопственность ни от кого, как от Духа Свята... Естество, што коряга; обстругашь ты корягу; здесь рубанком, там фуганком — тяп, ляп, вот те и карапь». Да и сама идея столяра свести Дарьяльского с Матреной, дабы от их «плотского соития» родился новоявленный мессия, слишком напоминает проекты Мережковского воссоединения народа и интеллигенции в лоне «Новой Церкви».

Неожиданны многие ассоциации и намеки в повести А. Белого, не менее неожиданны и переходы от одной повествовательной манеры к другой. В отличие от классических образцов русской прозы, использующей сказ (Гоголь, Лесков, ранний Достоевский), где обычно четко разделены зоны литературного, «авторского» повествования и рассказа от имени человека из народа, у Белого переходы от одного к другому часто никак не выражены, а порой одна форма рассказа «незаконно» вторгается на чужую территорию. Однако необходимо учитывать не только то, что «серьезность» восприятия разговорного сказа в повести периодически подрывается подтекстом, но и то, что в повести практически отсутствует непосредственно идущее от автора повествование. «Книжная» речь в «Серебряном голубе» также во многом стилизована «под Гоголя», как и речь простонародная.

Прямые обращения к читателю, призыв его в свидетели, глубокомысленные комментарии к происходящему, — здесь Белый ориентируется уже не на балагурство Рудого Панька, а на интонации открытого авторского слова (типа знаменитой ремарки в конце «Старосветских помещиков»), лирических описаний природы в «Страшной мести» и «Тарасе Бульбе», отступлений «от автора» в «Мертвых душах». Книжный повествователь в «Серебряном голубе» уведомляет: «С этого дня и мы поведем свой рассказ»; неожиданно прерывает самого себя: «Но черт с ним, Дарьяльским!»; предостерегает читателя: «Так знайте же: будет позд-

но!»; жеманно кокетничает с ним: «Дарьяльский — имя героя моего вам разве не примечательно? Послушайте, ведь это Дарьяльский — ну, тот самый, который сподряд два уж лета с другом снимал Федорову избу».

Еще одна существенная стилевая стихия повести — народно-поэтическая традиция — также отмечена печатью манеры раннего Гоголя. В своей книге «Мастерство Гоголя», в которой Белый производит своеобразную инвентаризацию гоголевских влияний на собственное творчество, он все «словесные ходы», восходящие в «Серебряном голубе» к фольклору, рассматривает *исключительно как гоголевские*, подчас преуменьшая свою оригинальность и самостоятельность[1]. Но фольклорная образность и напевность в повести Белого в очень небольшой степени связана (что было бы естественно в подобном случае для прозы прошлого столетия) с речью простонародного рассказчика, который, как мы уже выяснили, уже довольно далек от патриархально-идиллического сознания.

Народно-поэтическая традиция здесь в гораздо большей мере соприкасается с мировосприятием Дарьяльского, человека, пропитанного книжной культурой самой новейшей складки. Этот парадокс, однако, легко объясняется, если внимательный читатель обратит внимание на то, что фольклорные мотивы почти всегда возникают в эпизодах, передающих мысли и чувствования поэта-неославянофила.

Именно «восточное», безаналитично-лирическое, стихийно-песенное начало становится доминантой восприятия Дарьяльским русской народной жизни, сектантского вероучения и быта, его возлюбленной из народа Матрены. С ним спорит другая половина души героя, «вспоминающая» свое интеллигентское, «западное» происхождение и воспитание (характерно, что одна из главок называется «Вспомнил Гуголево!», усадьбу

[1] Белый А. Мастерство Гоголя. с. 299.

Тодрабе-Граабенов, где ждет его невеста Катя). Удивительным образом этот спор Востока и Запада в душе героя отражается в соответствующем изменении тональности стиля, в котором превалируют то фольклорные, то «книжно-литературные» черты.

Уже в завязке этого своеобразного стилевого конфликта (развивающегося в повести параллельно конфликту событийному), в эпизоде первого столкновения Дарьяльского с Матреной, задается своеобразная модель «заражения» интеллигентского сознания героя образами народно-поэтической речи и выявляется самый механизм этого «заражения» — вторжение в его сознание чужой воли (а вместе с ней — чужого слова).

«Рябая баба, ястреб с очами безбровыми, не нежным со дна души она восходила цветком, и не вовсе грезой, или зорькой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в его душу и звала... Так думал Дарьяльский — не думал, потому что *думы без воли его совершались в душе...*» (курсив мой. — *М. К.*).

Матрена околдовывает, завораживает, усыпляет Дарьяльского, и это состояние зачарованности передается именно как погружение сознания героя (явленного в повести, как правило, в формах его несобственно-прямой речи) в стихию фольклорной стилизации. Фольклорная стилизация здесь становится *речевой транскрипцией* чувств и мыслей героя-*поэта,* завороженного народной жизнью. Фольклорная стилизация чаще всего начинает звучать именно в тех эпизодах, когда Дарьяльский видит Матрену или думает о ней. Любовные диалоги его с Матреной — это не «естественная» прямая речь, а стилизованные «арии» (как сам их охарактеризовал Белый в «Мастерстве Гоголя»), целиком построенные на народно-поэтической лексике и синтаксисе:

«— Ясненький мой, ясноглазенький мой, погоди, погоди...

— К хруди своей сестрицу прими!

— Я холовушку свою положу на хрудь твою!

— Ясненький мой, ясноглазенький мой — не уходи, погоди...

— Голубка, ах, меня оставь! Не могу я глядеть на тебя, голубка, без плача».

Именно так для околдованного поэта-славянофила до́лжно разговаривать со своей «любой».

Когда же Дарьяльский сбрасывает с себя «восточное» оцепение и в нем просыпается «западная», интеллигентская рефлексия, то в его внутренних монологах (и в граничащем с ними и подхватывающем их интонации «авторском» повествовании) опять начинает господствовать «книжная», изысканно-литературная речь. В третьей главе, в которой действие переносится в Гуголево (а оно даже согласно топографии повести расположено *к западу* от Целебеева), повествование переполнено реалиями (и соответствующими лексикой и интонациями) западной, дворянской и интеллигентской культуры; по контрасту с реалиями, связанными с народной жизнью, возникают специальные и редкие имена и понятия: Эккартгаузен, Расин, Вилламовиц-Меллендорф, жук Аристофана, Бругманн, мистический анархизм и т. п.

Однако к концу главы «восточное» начало в сознании Дарьяльского опять возрастает. Уход разругавшегося с баронессой героя — «туда на восток в беспутство» — сопровождается новой волной фольклорных мотивов: старый дом навсегда прощается с ним словами народных причитаний («Я ли дни твои не покоил...»); чувствам героя созвучны слова «жестокого романса», доносящегося до него из тьмы ночных полей («Зачем ты, биизуумная, гуубишь таво, кто увлекся табой»); в ночи его обступают персонажи народной демонологии — баба Маланья (зарница) и раскоряка.

Конфликт Востока и Запада отражен и в столкновении интонаций различных персонажей, борющихся

за душу Дарьяльского: аналитической речи Тодрабе-Граабена — с «мистическими» поучениями Кудеярова, теософской лексики Шмидта — с духовными стихами и заумными заклинаниями «голубей». Наибольшего напряжения конфликт достигает к концу шестой главы, после попытки барона убедить Дарьяльского в фантасмагоричной природе его увлеченности Матреной и «голубиным делом»: «...Вам привиделось: это все образы, образы...» и вернуть его в Гуголево и вместе с тем в лоно европейской культуры: «Проснитесь, вернитесь обратно... На запад: там ведь запад. Вы — человек запада; ну, чего это пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно...» И хотя герой сначала отвергает все эти доводы, причем делает это в «восточной», безрассудно-экстатической форме («Отыди от меня, Сатана: я иду на восток»), именно во многом благодаря увещеваниям барона он начинает сознавать неистинность и гибельность этого пути. Пробудившийся рассудок подсказывает, что секта, в которую он втянут, это «не Русь — а темная бездна Востока», что Матрена его — не «голубица», а «зверилха», а в облике его духовного пастыря Кудеярова иконопись смешана со «свинописью».

В последней, седьмой главе, когда сознание Дарьяльского уже вырвалось из-под власти восточного начала (а сам он считает, что освободился от влияния «голубей»), фольклорная стилизация уже не появляется на поверхности повествования. Тревожные внутренние монологи главного героя и практически сливающиеся с ними авторские лирические отступления уже до самого конца повести будут сохранять устойчивый подчеркнуто-книжный характер.

Трудно объять все многообразие реальных, культурно-исторических и чисто литературных связей, обуславливающих многосмысленное и разнослойное образное строение «Серебряного голубя». Столь значительное внимание, которое здесь уделено стилю повести,

вызвано стремлением подчеркнуть особенно неразрывную связь в ней формы и содержания, которую позже сам Белый довольно точно охарактеризует как «формо-содержательный процесс».

Вызывающая «гоголецентричность» «Серебряного голубя» — это не ограничивающие свободу автора путы, а глубоко плодотворная для этого парадоксального писателя тенденция, позволившая придать изображаемым событиям двойное измерение. К тому же художнический темперамент Белого, автора глубоко оригинального и к тому времени познавшего искус западной модернистской культуры, не мог, разумеется, не прорваться сквозь эти добровольно наложенные стилистические вериги. Но в результате получилось не эклектическое смешение «старой доброй прозы» с новомоднейшими поисками оригинального стиля, а органичный синтез. Белый действительно здесь *продолжает* Гоголя, хотя делает это всегда очень по-своему, по-бéловски. На стыках нового и старого строится эта необычная повесть о судьбе России. Гоголевская напевность, утраченная «натуральной школой», возрождается, чтобы сделать «Серебряный голубь» одним из первых в нашем веке произведений, написанных ритмической прозой. Гоголевский сказ обретает здесь второе дыхание, дабы питать в ближайшие два десятилетия раннюю прозу Е. Замятина, М. Пришвина, М. Зощенко, Л. Леонова, М. Шолохова и других писателей, сделавшихся классиками XX века. Лиризм, соединяющийся с иронией, насыщенность реальных образов культурно-историческим подтекстом, синтез слова, музыки и цвета — эти и многие другие открытия, сделанные Белым в «Серебряном голубе» «с опорой на Гоголя», станут характерными приметами художественного видения нашего столетия.

М. Козьменко

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ

Повесть о семи главах

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Настоящая повесть есть первая часть задуманной трилогии «Восток или Запад»; в ней рассказан лишь эпизод из жизни сектантов; но эпизод этот имеет самостоятельное значение. Ввиду того, что большинство действующих лиц еще встретятся с читателем во второй части «Путники», — я счел возможным закончить эту часть без упоминания о том, что сталось с действующими лицами повести — Катей, Матреной, Кудеяровым, — после того как главное действующее лицо, Дарьяльский, покинул сектантов.

Многие приняли секту голубей за хлыстов; согласен, что есть в этой секте признаки, роднящие ее с хлыстовством: но хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, не адекватно существующим кристаллизованным формам у хлыстов; оно — в процессе развития; и в этом смысле голубей, изображенных мною, как секты, не существует; но они — возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом смысле голуби мои вполне реальны.

А. Белый

1910 года. 12 апреля. Бобровка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СЕЛО ЦЕЛЕБЕЕВО

НАШЕ СЕЛО

Еще, и еще в синюю бездну дня, полную жарких, жестоких блесков, кинула зычные клики целебеевская колокольня. Туда и сюда заерзали в воздухе над нею стрижи. А душный от благовонья Троицын день обсыпал кусты легкими, розовыми шиповниками. И жар душил грудь; в жаре стеклянели стрекозиные крылья над прудом, взлетали в жар в синюю бездну дня, — туда, в голубой покой пустынь. Потным рукавом усердно размазывал на лице пыль распаренный сельчанин, тащась на колокольню раскачать медный язык колокола, пропотеть и поусердствовать во славу Божью. И еще, и еще клинькала в синюю бездну дня целебеевская колокольня; и юлили над ней, и писали, повизгивая, восьмерки стрижи.

Славное село Целебеево, подгородное; средь холмов оно да лугов; туда, сюда раскидалось домишками, прибранными богато, то узорной резьбой, точно лицо заправской модницы в кудряшках, то петушком из крашеной жести, то размалеванными цветиками, ангелочками; славно оно разукрашено плетнями, садочками, а то и смородинным кустом, и целым роем скворечников, торчащих в заре на согнутых метлах своих: славное село! Спросите попадью: как при-

едет, бывало, поп из Воронья (там свекор у него десять годов в благочинных), так вот: приедет это он из Воронья, снимет рясу, облобызает дебелую свою попадьиху, оправит подрясник, и сейчас это: «Схлопочи, душа моя, самоварчик». Так вот: за самоварчиком вспотеет и всенепременно умилится: «Славное наше село!» А уж попу, как сказано, и книги в руки; да и не таковский поп: врать не станет.

В селе Целебееве домишки вот и здесь, вот и там, и там: ясным зрачком в день косится одноглазый домишка, злым косится зрачком из-за тощих кустов; железную свою выставит крышу — не крышу вовсе: зеленую свою выставит кику гордая молодица; а там робкая из оврага глянет хата: глянет, и к вечеру хладно она туманится в росной своей фате.

От избы к избе, с холма да на холмик; с холмика в овражек, в кусточки: дальше — больше; смотришь — а уж шепотный лес струит на тебя дрему; и нет из него выхода.

Посередь села большой, большой луг; такой зеленый: есть тут где разгуляться, и расплясаться, и расплакаться песенью девичьей; и гармошке найдется место — не то, что какое гулянье городское: подсолнухами не заплюешь, ногами не вытопчешь. А как завьется здесь хоровод, припомаженные девицы, в шелках, да в бусах, как загикают дико, а как пойдут ноги в пляс, побежит травная волна, заулюлюкает ветер вечерний — странно и весело: не знаешь, что и как, как странно, и что тут веселого... И бегут волны, бегут; испуганно побегут они по дороге, разобьются зыбким плеском: тогда всхлипнет придорожный кустик, да косматый вскочет прах. По вечерам припади ухом к дороге: ты услышишь, как растут травы, как поднимается большой желтый месяц над

Целебеевом; и гулко так протарарыкает телега запоздалого однодворца.

Белая дорога, пыльная дорога; бежит она, бежит; сухая усмешка в ней; перекопать бы ее — не велят: сам поп намедни про то разъяснял... «Я бы, — говорит и сам от того не прочь, да земство...» Так вот проходит дорога тут, и никто ее не перекапывает. А то было дело: выходили мужики с заступами...

Смышленые люди сказывают, тихо уставясь в бороды, что жили тут испокон веков, а вот провели дорогу, так сами ноги по ней и уходят; валандаются парни, валандаются, подсолнухи лущат — оно как будто и ничего сперва; ну, а потом как махнут по дороге, так и не возвратятся вовсе: вот то-то и оно.

Врезалась она сухой усмешкой в большой зеленый целебеевский луг. Всякий люд гонит мимо неведомая сила — возы, телеги, подводы, нагруженные деревянными ящиками с бутылями казенки для «винополии»; возы, телеги, народ подорожный гонит: и городского рабочего, и Божьего человека, и «сицилиста» с котомкой, урядника, барина на тройке — валом валит народ; к дороге сбежались гурьбой целебеевские избенки — те, что поплоше да попоганее, с кривыми крышами, точно компания пьяных парней с набок надвинутыми картузами; тут и двор постоялый, и чайная лавка — вон там, где свирепое пугало шутовски растопырило руки и грязную свою из тряпок кажет метелку — вон там: еще на нем каркает грач. Дальше — шест, а там — поле пустое, большое. И бежит, бежит по полю белая да пыльная дороженька, усмехается на окрестные просторы, — к иным полям, к иным селам, к славному городу Лихову, откуда всякий народ шляется, а иной раз такая веселая компания прикатит, что

не дай Бог: на машинах — городская мамзель в шляпенке да стрекулист, или пьяные иконописцы в рубашках фантазиях с господином шкубентом (черт его знает!). Сейчас это в чайную лавку, и пошла потеха; к ним это парни целебеевские подойдут и, ах, как горланят: «За гаа-даа-ми гоодыы... праа-хоо-дяя-т гаа-даа... пааа-аа-гиб яяя маа-аа-ль-чии-ии-шка, паа-гии-б наа-всии-гдаа...»

ДАРЬЯЛЬСКИЙ

В золотое утро Троицына дня Дарьяльский шел по дороге в село. Дарьяльский проводил лето в гостях у бабки барышни Гуголевой; сама барышня была наружности приятной весьма и еще более приятных нравов; барышня приходилась невестой Дарьяльскому. Шел Дарьяльский, облитый жаром и светом, вспоминая вчерашний день, проведенный отрадно с барышней и ее бабинькой; сладкими словами позабавил вчера он старушку о старине, о незабвенных гусарах, и о всем прочем, о чем старушкам приятно вспоминать; позабавился сам он прогулкой с невестой по гуголевским дубровам; еще более он насладился, собирая цветы. Но ни старушка, ни гусары ее незабвенной памяти, ни любезные сердцу дубровы с барышней, более еще ему любезной, сегодня не возбуждали сладких воспоминаний: давил и душил душу жар Троицына дня. Сегодня не влек его вовсе и Марциал, раскрытый на столе и слегка засиженный мухами.

Дарьяльский — имя героя моего вам разве не примечательно? Послушайте, ведь это Дарьяль-

ский — ну, тот самый, который сподряд два уж лета с другом снимал Федорову избу. Девичьим раненный сердцем, два сподряд лета искал он способа наивершейшей встречи с барышней любимой здесь — в целебеевских лугах и в гуголевских дубровах. В этом он так обошел всех, что и вовсе на третье лето переселился в Гуголево, в бабинькину усадьбу, к баронессе Тодрабе-Граабеной. Ветхая днями старушка строгого была мнения насчет выдачи внучки за человека молодого, у которого, по ее мнению, ветер свистал не в голове только, но (что всего важнее) в карманах. Дарьяльский сызмальства прослыл простаком, лишившись родителей и еще ранее родительских средств: «бобыль бобылем!» — фыркали в ус степенные люди; но сама девица держалась иных мнений; и вот после длинного объяснения с бабкой, во время которого хитренькая старушка не раз корячилась на кресле, испивая воды, красавица Катя взяла да и бухнула напрямик целебеевским поповнам, что она — невеста, а Дарьяльский в богатейшую перебрался усадьбу с парком, с парниками, с розами, с мраморными купидонами, обросшими плесенью. Так юная красавица успела убедить ветхую старушку в приятных качествах прохожего молодца.

Дарьяльский сызмальства прослыл чудаком, но, говорят, такое прошел ученое заведение, где с десяток мудрейших особ из года в год невесть на каких языках неприличнейшего сорта стишки вместо наук разбирать изволят — ей-Богу! И охотник же был Дарьяльский до такого сорта стишков, и сам в них преуспевал; писал обо всем: и о белолилейной пяте, и о мирре уст, и даже... о полиелее ноздрей. Нет, вы подумайте: сам выпустил книжицу, о многих страницах, с изображением фигового листа на

обертке; вот там-то и распространялся юный пиита все о лилейной пяте да о девице Гуголевой в виде младой богини как есть без одежд, а целебеевские поповны хвалили назло попу: поп божился, что все только о голых бабах и писал Дарьяльский; товарищ оправдывал его (товарищ и по сю пору снимал дачу в Целебееве), — оправдывал: плодом вдохновения пиита-де не голые баба, а богини... Но, спрошу я, какая такая разница между богиней и бабой? Богиня ли, баба ли — все одно: кем же, как не бабами, в древности сами богини были. Бабами, и притом пакостного свойства.

Был весьма скромен товарищ Дарьяльского: носил нерусскую фамилию и проводил дни и ночи за чтением философических книг; он хотя отрицал Бога, однако к попу хаживал; и поп это ничего себе; и власти это ничего; и вовсе он православный, только Шмидт ему фамилия, да в Бога не верил...

Опять оторвался от думы Дарьяльский, уже подходя к церкви; он проходил мимо пруда, отраженный в глубокой, синей воде; оторвался и опять ушел в думы.

Когда нет туч, свежо и точно выше подтянуто высокое небо, такое высокое и глубокое; луг обнимает валом этот хрустальный, зеркальный и чистый пруд, и как там плавают грустные уточки — поплавают, выйдут на сушу грезцы пощипать, хвостиками повертят, и чинно, чинно пойдут они развальцем за кряхнувшим селезнем, ведут непонятный свой разговор; и висит над прудом, висит, простирая лохматые руки, дуплистая березонька много десятков лет, а что видывала, — не скажет. Дарьяльскому захотелось броситься под нее и глядеть, глядеть в глубину, сквозь ветви, сквозь сияющую кудель паука, высоко на-

тянутую там — там, когда жадный паук, насосавшийся мух, неподвижно распластан в воздухе — и кажется, будто он в небе. А небо? А бледный воздух его, сперва бледный, а коли приглядеться, вовсе черный воздух?.. Вздрогнул Дарьяльский, будто тайная погрозила ему там опасность, как грозила она ему не раз, будто тайно его призывала страшная, от века заключенная в небе тайна, и он сказал себе: «Ей, не бойся, не в воздухе ты — смотри грустно вода похлюпывает у мостков».

На мостках здоровые торчали ноги из-под красного, подоткнутого подола, да руки полоскали белье; а кто полоскал, не видно: старуха ли, баба ли, девка ли. Смотрит Дарьяльский, и мостки кажутся ему такие грустные, хотя и день, хотя и кличет праздничный колокол в ясном небе. Ясный солнечный день, ясная солнечная водица: голубая такая; коли заглянуть, не знаешь, вода ли то, или небо. Ей, молодец, закружится голова, отойди!

И Дарьяльский отошел, и пошел он прочь от пруда, к селу, к ясному храму, недоумевая, откуда в душу к нему заронилась печаль, что, как в детстве, приходит невесть откуда, и влечет, и уносит; и все называют тебя чудаком, а ты, вовсе того не замечая, говоришь невпопад, так что улыбаются на речи твои, покачивая головами.

Шел Дарьяльский, раздумывал: «Чего мне, черт меня побери, надо? Не хороша ли моя невеста? Разве она не любит меня? Я ли ее не искал вот два уж года: нашел, и... прочь вы, дивные думы, прочь...» Еще три только дня, как обручился с любимой он; думал о том, как ему повезло в глупом собраньи, где острым улыбнулся словечком красавице-барышне; как потом он за ней приударил; а и не сразу далась ему красавица; вот, наконец, беленькой ручки ее он добился; вот и ее кольцо золотое на пальце; оно еще непри-

вычно жмет ему руку... «Милая Катя, ясная», — прошептал он, и поймал себя на том, что не нежный девичий образ в душе его, а так что-то — разводы какие-то.

С такими мыслями он вошел в храм; запах ладана, перемешанный с запахом свежих березок, многих вспотевших мужиков, их смазных сапог, воску и неотвязного кумача так приятно бросился в нос; он уже приготовился слушать Александра Николаевича, дьячка, выбивавшего с левого клироса барабанную дробь — и вдруг: в дальнем углу церкви заколыхался красный, белыми яблоками, платок над красной ситцевой баской; упорно посмотрела на него какая-то баба; и уже он хотел сказать про себя: «Ай да баба», крякнуть и приосаниться, чтобы тут же, забыв все, начать класть поклоны Царице Небесной, но... не крякнул, не приосанился, и вовсе не положил поклона. Сладкая волна неизъяснимой жути ожгла ему грудь, и уже не чувствовал, что бледнеет; что, белый, как смерть, он едва стоит на ногах. Волненьем жестоким и жадным глянуло на него безбровое ее лицо в крупных рябинах; что ему оно, это лицо, говорило, чем в душе оно отозвалось, он не знал; вот там колыхался только красный белыми яблоками платок. Когда очнулся Дарьяльский, уж дробь свою с левого клироса отбарабанил Александр Николаевич, дьячок; и уже не раз на амвон выходил о. Вукол и бегал солнечный зайчик в рыжих его волосах и на серебряной, затканной синими букетами, ризе; поп коленопреклонялся теперь за открытыми вратами алтаря; и уже пропели «дори носима чинми»; а пять дочерей помещика Уткина — вон та, вон и эта — попеременно поворачивали к Дарьяльскому свои круглые, как репа, лица, и потом чинно стояли, выпятив губки капризно, до непристой-

ности, в то время как шестая (старая девица) с куском спелых вишен на шляпе досадливо кусала губы.

Кончилась служба; выйдя с крестом, поп принялся одарять пузатыми просфорами помещицу Уткину, шесть спелых ее дочерей и тех из мужиков, кто побогаче да поважнее, у кого поновей зипун да сапоги со скрипом, кто мудростию своего ума сумел сколотить богатые хаты, скопить деньжищ тайной продажей вина, либо мастерскими сделками — словом, того, чей норов покрупнее да поприжимистее прочих; те подходили к честному кресту благолепно и чинно, не без достоинства склоняя бородатые лица с обрезанными в скобку волосами, пропитанными запахом деревянного масла; а когда отошли от амвона именитые сельчане, поп довольно-таки решительно загулял крестом по носам толпившихся зипунов (недаром шипела «учительша», будто ей, Шкуренковой, поп резанул крестом по зубам, так что зубы болели долго). Уже Дарьяльский подходил к кресту, уже поп одной рукой протягивал ему крест, а другая рука протянулась за просфорою, как вдруг снова его обжег взор дивной бабы; легко дрогнули красные ее, усмехнувшиеся, губы, испивая будто душу его вольготно; и не помнил, как приложился к честному кресту, и как поп звал его на пирог, и что он ответил попу: только помнил он, что души его запросила рябая баба. Тщетно затвердил он, вызывая в душе образ Кати: «Хорошая невеста, добрая моя невеста!» — любимый образ оказался будто выведенным мелом на школьной доске: злой учитель стер его губкой и теперь оказалась там как есть пустота.

Рябая баба, ястреб, с очами безбровыми, не нежным со дна души она восходила цветком,

и не вовсе грезой, или зорькой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в его душу и звала; и будила нежных уст ее усмешка пьяную, смутную, сладкую, легкую грусть и смех, и бесстыдство: так жерло тысячелетнего прошлого, на миг разъятое, воскрешает воспоминанье о том, чего не было в жизни твоей никогда, будит неведомый, до ужаса знакомый во сне лик; и лик восходит образом небывалого и все же бывшего детства; так вот у тебя какой лик, рябая баба!

Так думал Дарьяльский — не думал, потому что думы без воли его совершались в душе; а уже она вышла из церкви, а за ней потащился столяр Кудеяров хворым своим лицом, опуская в желтое мочало бороды всю шестерню; толканул Дарьяльского, поглядел — миг: глянуло его лицо, отчего на душе пошло невнятное что-то такое — разводы какие-то. Не помнит Дарьяльский, как вышел он на паперть; не слышал, как зычные клики кинула целебеевская колокольня, и как повизгивали, ерзая над нею туда и сюда, стрижи. Троицын день обсыпал легкие, розовые шиповники, и мухи садились стаями звонких изумрудов на калимые солнцем спины выцветших зипунов.

Прохожий парень, тиская гармошку, ее прижимал к своему животу, а от ног его мягко взлетала беззвучными взрывами пыль; вот прогорланил он что-то на дороге; на дороге тянулись возы; визжали, скрипели немазаные колеса; железные крыши изб и озлобленные огнем окна (те, что не были заткнуты подушкой) кидали прочь от себя солнечный блеск. Вдали выступали парами дородные девицы в зеленых, синих, канареечных и даже золотых басках на толстых тальях; они нацепили на ноги тупые ботинки наподобие обрубков

и теперь выступали павами. Тонкие ветви плакучих берез по временам трогались над кладбищем. Кто-то свистел, и кусты отдавались свистом. Над родителевой могилкой склонялась Домна Яковлевна, дочь покойного целебеевского батюшки, старая девица; из смородинника вышел церковный сторож и, приложив руку к глазам, издали дозирал за девицей; будучи с ней не в ладах, он громко ворчал, будто бы в пространство, но так, чтобы его слова Домна Яковлевна могла услышать: «Вырыть бы кости да опростать место; и так тесно, а тут еще кости беречь...» Потом, подойдя ближе, он ласково стащил свой картуз и шутливо заметил: «Что, пришли навестить папашу? Есть что навещать: сгнили, небось, останки-то...»

«Фу-ты, дьявольщина!» — подумал Дарьяльский и стал протирать глаза: спал он или не спал там, в храме; привиделось ему или нет; глупости: должно быть, вздремнул — не хорошо грезить в полдень; недаром в Писании сказано: «Избавь нас от беса полуденна»...

И, закручивая ус, Дарьяльский пошел к попу, насильно вызывая в душе образ Кати, а под конец затвердил на память любимые строчки из Марциала; но Катя оказалась не Катей вовсе, а вместо строчек из Марциала, неожиданно для себя, он стал насвистывать: «Гоо-дыы заа гаа-даа-мии праа-хоо-дяят гаа-даа... Паа-гии-б я маа-льчии-шка, паа-гииб наа-всии-гда»...

Так неожиданно начался этот день для Дарьяльского. С этого дня поведем и мы наш рассказ.

ПИРОГ С КАПУСТОЙ

— Пфа!..

Это крякнул поп, пропуская с Александром Николаевичем, дьячком, еще по одной и закусывая рыжичками, собираемыми по осень добродетельной попадьей и многочисленными чадами мал мала меньше.

Попадья окончила три класса лиховской прогимназии, о чем всегда любила напоминать гостям; на разбитом пьянино игрывала еще она вальс «Невозвратное время»; была дебелая, толстая, с пунцовыми губками, карими, словно вишенья, глазками на очень нежном, почти сахарном лице, усеянном желтенькими веснушками, но с двойным уже подбородком. Вот и теперь она сыпала шутками о поповском житье, о зипунах сиволапых, да о Лихове, суетясь вокруг пылающего паром пирога и нарезывая громадной величины ломти с необъятными стенками и очень тоненькой прослойкой капусты: «Анна Ермолаевна, откушайте еще пирожка!.. Варвара Ермолаевна, что ж так мало?» — обращалась она попеременно к шести спелым дочерям помещика Уткина, образовавшим приятный цветник вокруг опрятно накрытого стола; и стоял птичий щебет, исходивший из шести раскрытых розовых ротиков, да попискиванье о всех новостях, происходящих в округе; ловкая попадья едва успевала накладывать пирога, порой давая шлепки не вовремя подвернувшемуся попенку, слюняво жующему краюху и с неумытым носом; в то же время тараторила она больше всех.

— Слышали ли вы, матушка, о том, что урядник сказывал, будто самые эти сицилисты показались недалече от Лихова, разбрасывали гнусные свои листы; будто хотят они идти супротив царя,

чтобы завладеть «Монопольей» и народ спаивать, будто грамоты царь разослал всюду, пропечатанные золотыми буквами, призывая православных бороться за святую церковь: «пролетарии-де, соединяйтесь!»; говорят, что со дня на день лиховский протоиерей ждет царского послания, чтобы разослать его по уезду... — Так неожиданно выпалил Александр Николаевич, дьячок, дернул рябиновым своим носом, и законфузился, когда шесть девичьих головок, устремленных на него, явное выразили и крайнее презренье...

— Пфа! — крякнул поп, наливая Александру Николаевичу наливки. — А ты знаешь, брат, что есть пролетарий?.. — И, видя, как то место на дьячковском лбу, где должны бы быть брови (бровей дьячок не носил), изобразило дугу, поп присовокупил с изобразительностью: — Так-то, бра́т: пролетарий и есть тот, кто, значит, пролетит по всем пунктам, то ись вылетел в трубу...

— Ну, ты это оставь, отец Вукол! — шепнула проходящая попадьиха, обращая свои слова не к приятному и вместе шутливому смыслу поповского пояснения, а к рябиновке, за которой уже не раз протягивался ее благоверный; на что поп буркнул: «Пфа!» и пропустил еще по одной с Александром Николаевичем, дьячком; потом оба они закусили рыжичком.

Дарьяльский молча покуривал на углу стола, то и дело прикладываясь к рябиновке, и уже охмелел, но хмель его странные не развеял думы; он хотя и зашел на пирог, потому что вовсе ему не хотелось идти в Гуголево, однако был так угрюм, что невольно все перестали с ним заговаривать; тщетно уткинские барышни пробовали с ним щебетать; тщетно томные свои на него обращали взоры, обмахиваясь кружевными платочками с

явным кокетством; с явным кокетством оправляли они свое декольте; или довольно-таки прозрачно намекали на сердце Дарьяльского и шалуна Купидона, пронзившего оное; Дарьяльский или просто не отвечал, или вовсе невпопад гымкал, или явно соглашался с намеками девиц о состоянии своего сердца, опуская всякую игривость; и совсем уж не обращал он вниманья на девические глазки, ни, тем более, на девическое декольте, увлекательно розовевшее из сквозных их кисей. Два года валандался Дарьяльский в здешних местах, и никто не мог сказать, с какою целью; деловые люди предполагали сперва, что цель есть, что цель должна быть, и что цель эта — противоправительственная; находились и любопытные соглядатаи, любители пошушукать, а при случае и донести (более всех заинтересовался Дарьяльским глухонемой Сидор, первый сплетник в округе, не могущий произнести ни одного слова, кроме невразумительного «А п а, а п а», — но вразумительно изъясняющийся жестами) — ну, вот: но ни Сидор, ни какие иные не нашли в поведении Дарьяльского ничего вредного; тогда порешили, что появление его в этих местах имеет иной смысл, и что смысл этот — брачный; тогда каждая девица в округе вообразила, будто она-то и есть предмет воздыханий любовных; вообразили это и все шесть уткинских дочерей; и хотя каждая из них вслух называла сестру предметом Дарьяльского, про себя она заключала иное; и потому-то всех, как громом, поразило сватовство его за Катенькой Гуголевой, богатейшей баронессиной внучкой; никто и не воображал, чтобы, откровенно выражаясь, сумело суконное рыло затесаться в калачный ряд. Должен оговориться, что выражение «с у к о н н о е р ы л о» употребляли в отношении

к моему молодцу в особом обороте: ибо часть тела, в просторечии называемая, с позволения сказать, «р ы л о м», выражаясь просто, была и не суконная вовсе, а, так сказать, «бархатная»: поволока черных глаз, загорелое лицо с основательным носом, алые тонкие губы, опушенные усами, и шапка пепельных вьющихся кудрей составляли предмет тайных желаний не одной барышни, девки, или молодой вдовы, или даже замужней... или, простите за выражение, ну, скажем... так-таки прямо и скажем... самой попадьихи. Поудивлялись, поахали, но скоро привыкли; пребыванье Дарьяльского в наших местах определилось само собою; уж не следили теперь за ним, да и следить было трудно: в баронессину усадьбу не всякий был вхож. Были, правда, иные здесь люди, которые лучше поняли, что нужно моему герою (любви ли, и еще кое-чего), куда устремлялся тоскующий взгляд его бархатных очей, как любострастно да страстно глядел он вперед перед самим собой в то время, когда впереди не было ни единой девицы, ни даже на кругозоре, а кругозор пылал и светился вечерней зарей; понимали и многое они другое в Дарьяльском и, так сказать, окружили его невидимой сетью поглядыванья для каких-то никому неведомых целей; были это люди простые, не образованные вовсе: ну, да о них потом, — скажем только: б ы л и т а к и е л ю д и; скажем и то, что если бы разумели они тонкости пиитических красот, если б прочли они то, что под фиговым укрывалось листом, нарисованным на обложке книжицы Дарьяльского, — да: улыбнулись бы, ах какою улыбкой! Сказали бы: «Он — из наших»... Но, да, про то сейчас не время вовсе; но время, как раз, представить самих именитых целебеевцев этих.

Так — вот!

ОБИТАТЕЛИ СЕЛА ЦЕЛЕБЕЕВА

Именитые люди, не побрезгуйте нашим селом: частенько наезживало сюда вашего брата и никому уж под конец не удивлялись. Нос не дерите, никакого не будет толку: поспешите, людей насмешите — мужики вас осмеют, и пойдут прочь гурьбой, сморкаясь в руку; оставят одного на лугу перед утками: ходи, мол, один, собирай себе цветы, удивляй уток: разве учительшу повстречаешь; а что учительша: такая, право, гадость.

Ничему-то, как есть, не удивляется народ. Приедешь, гостем будешь; всякими тебя пирогами угостят — голодным не отпустят: лошадям овсеца подсыплют, ямщику поднесут сотку: живи себе на здоровье, отращивай жир: не хочешь, Бог тебе судья: свой век без тебя сумеют прожить целебеевцы.

Как начнет, бывало, болтливая баба по пальцам пересчитывать именитых гостей, — кого-кого не насчитает: и купца Еропегина, богатейшего лиховского мукомола, и отца благочинного из Воронья, и барона Тодрабе-Граабена, важного генерала (сынка Граабеной старушки, проживающей в Гуголеве), и гостей из Москвы: это гости к поповнам всё ездили, дочерям покойного целебеевского батюшки, девицам достойным, о которых многое есть кое-чего порассказать: обзавелись они тут домком после родителевой смерти — Аграфена Яковлевна, Домна Яковлевна и Варвара Яковлевна; так вот: к ним и студенты хаживали, и сочинители, да: однажды песенник у нас появился: их петь заставлял, с девками хороводы водил, а сам в книжечку все записывал. — «Песельник, и скубент ли, забастовщик ли, — говорили добрые люди, — а, пожалуй, што и забастовщик: долго

тут парни горланили апосля: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» А куда подымаца? И без него на работу всякий со светом у нас подыматся!»... Станет бойкая баба по пальцам пересчитывать, и будет казаться тебе, что у русского люда только и есть, пожалуй, одно дело: жить в Целебееве или ездить в Целебеево; пересчитала бы всех гостей баба, разве что не хватает пальцев: глазами уставится в землю, а у самой в лице важная эдакая небрежность: «Мы-де сами с усами»...

Вот и задери-ка тут нос!

Люди степенные проживают в Целебееве: во-первых, Иван Степанов много годов лавку тут держит — красным товаром торгует; этому не перечь: живо сдерет с тебя шкуру, без штанов по миру пустит, жену обесчестит; а уж красного петуха ожидай; да и роду твоему и племени головушек не сносить; сродственникам, сватьям да зятьям сродственников влетит — и всё тут: богобоязненный мужик, сам за прилавком в церкви стоит, медяками позвякивает; из себя благолепный, борода лопатой, волосы в скобку, сапоги бутылками, с набором, со скрипом, всегда смазаны дегтем, при медных часах.

Во-вторых, поп, о. Вукол Голокрестовский, с попадьихой, знатный поп, в округе не встретишь такого попа, — объезди на сорок верст округу! — трудолюбивый поп, строгий, молитвенник.

А как выпьет это вина, сейчас попадьиху усадит на гитаре бренчать (настоящая у них гитара: как переехали в село лет восемь тому назад, так и гитару с собой привезла попадьиха; правда, гитара с порванной струной, да на то и попадьиха, чтобы на трех только струнах без стеснения тарарыкать — на то и три класса окончила попадьиха лиховской прогимназии!) — да: сажает попадьиху

на гитаре играть: «Играй, Маша, персидский марш!» У самого лицо лоснится, желтыми пойдет веснушками, а все глазами в палисадник посверкивает: «Играй, Маша, житейское отложив попечение». А попадьиха в слезы: «Вы бы, отец Вукол, спать пошли». А пошел бы спать поп Голокрестовский, кабы не дьячок: на то и дьячок, чтобы попа подзуживать. Ну, вот и запрется: играй да играй. Плачет попадьиха и трынкает гитарой, а поп сейчас это в позицию: засучит рукава и воображает себе во утешение и дьячку в назидание взятие мощной крепости Карса; воображает, пока есть мочь воображать, пока над церковным крестом не завизжат пронзительные стрижи, пока хладные капли, как гроздья прозрачных ягод, не повиснут на смородинных кустах поповского палисадника, пока огненный не раскидает закат над краем хаты красные бархаты; рыженькую бородку вздернет тогда на зарю о. Голокрестовский, кудрями потряхивает, ногами пристукивает, ладонями плавно то слева направо, то справа налево поводит: «Слушайте — бьет барабан: неприятельские войска переходят мост: зажарили пулеметы... Ага, примем к сведению!»

И в заре, на заре гитара «трынды, трынды» — заливается; заливается над гитарой попадьиха, соленые слезы глотает, а бросить гитары не смеет: за этим следит Александр Николаевич, дьячок; поп бы и не заметил, да Александр Николаевич сейчас ему и донесет; дьячок хоть и хмельной, а все помнит: сидит над рябиновкой, дергает рябиновым своим носом и дивуется на попа; а поп воображает: согнется в три погибели, голова в плечи уйдет и — шарк в кусты: что там делает, Бог весть, только по выходе из кустов он это крикнет: «Ура, наши победили!» (воображение имел поп).

Как крикнет он «победили», так попадьиха гитару в сторону: знает, что больше не станет воображать о. Вукол: спать пойдет до утра; присмиреет и дьячок, и, затянув стих царя и псалмопевца Давида, бредет, пошатываясь, к дьячихе, где здоровая его ожидает таска. А поп, утром проснувшись, смирнехонько, сам сбегает в лавку к Ивану Степанову за мятными пряниками (пятнадцать копеек фунт) и угостит ими свою дебелую половину; тем дело и кончится.

И уж знает народ: как затрынкала в поповском смородиннике гитара, значит, поп захмелел и воображает взятие крепости Карса храбрым воякой и турок жестокое поражение; собираются в кусты: хорошо воображает поп; глазеют, лущат подсолнухи, хихикают, тискают девок, те визжат — и все врассыпную. Хорошо воображает поп: а в прочее время — ни-ни, чтобы что-нибудь такое: требовательный, исправный, хозяйственный; и с дьячка часто взыскивал.

Таков поп в Целебееве: славный поп, другого не сыщешь, другому не дойти до всего такого, ей-Богу, не дойти! Вот какое наше село, вот какие люди в нем проживают: славное село, славные люди!

Но не видано нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равно величали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью; этот тебе и шапку ломит, и спину согнет на богатство соседа, на его глянцевитые со скрипом сапоги, не потому, чтобы при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради, а сосед: — нос задерет сосед, руки в карманы; и обидно: сердце горит, указывает обороняться: не фря ведь какая: сам у себя в избе хозяин иной в красном углу под образами сидит, не у чужого; так

вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая: непотребное слово на соседском заборе выведет, или соседскому псу бросит мясной кус с воткнутою иглою; пес подохнет — и вся тут, а соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать да подпаливать, доносами изводить: глядишь — один другого пеплом развеет по ветру.

А с чего бы!

Еще диву давались, что крепко Ивана Степанова руку держал о. Голокрестовский; ну да и тот попа не выдаст, перед попом усмиряется, когда на попа смотрит, уж не молоньями его исходят глаза, а так они какие-то — рыбьи, мутные... Ублажали друг друга.

Бывало, как испечет попадьиха с капустой пирог, засылает просить Степаныча поп к ним пожаловать горяченького откушать, а то и сам засуетится: как печется пирог, приложением носа к корке все пробует, пропеклось ли тесто; потом сам выберет кусок пожирнее и с работником отошлет в Степанычеву лавку. Не оставался у попа в накладе и Иван Степаныч: засылал к попадьихе с гниловатым ситчиком (на баску), потчевал лежалыми леденцами в завитых бумажных обертках, сухими пряниками и прочими десертами; и сласти не переводились в поповском доме; и оттого гибель разводилось мух.

Немалое вспомоществование дал лавочник на церковный ремонт. Старинная была церковь; старой работы иконопись — строгие, черные, темные лики: и святитель Микола, и мудрейший язычник — Платоном звали, — и эфиопский святой с главою псиною, из арапов (видно, по Минеям расписывали в старину) — хмурые, хмурые лики: просто глядеть невесело; вот как приехали богомазы из города, первым делом лики скоблить при-

нялись — соскоблили, стену оштукатурили, по свежему грунту веселых, улыбчивых святых (помоднее, с манерами) расписали по примеру лиховского собора; куда стало поваднее! Да тут вышла история.

Надо вам сказать, что богомазам крепко запала мысль сорвать на харчи с крутого лавочника, а к тому никак не подойдешь: потому — лавочник; возьми, да и выведи под Ивана Степанова некоего мужа хитрые богомазы: в шуйце пятиглавую церковку держит муж на манер просфоры, а в карающей деснице изволит подъять меч тяжелый и вострый — как есть Иван Степанов... только в парчах, с омофором, вокруг головы сусального золота круг с церковными буквами; и грозой грозят его очи, соблюдая дозор — совсем как у лавочника (особенно ежели замыслит лавочник пустить красного петуха под врага и супостата!). Да, вот еще: вздумали улыбаться? Коли взойти в храм, я вам сейчас этого и укажу мужа: по сию пору праведный муж с правой стороны от иконостаса разрисован (можете посмотреть). Ну, да и так поверите!

С той поры частенько простаивать стал у иконы службу Иван Степанов прихожанам для очевидности: смотрите, дескать, и сравнивайте: бывало, истово крестится, а сам посматривает по сторонам: сравнивают ли; а кругом шушуканье... Помещица Тюрина (было дело) приходит в Степанычеву лавку и улыбается; Уткин под Троицын день пришел, посмотрел эдак на Ивана Степановича сверху вниз, а потом снизу вверх, да и спросил его прямо: «Ну, что?» А тот так-таки прямо ему в ответ: «Да что: ничего — поскрипываем». Колченогий же столяр ходил, ходил в церковь, да и не стерпел — прямо к попу: «Так, мол, и так, батюшка, — срамота-то какая». Но поп и глазом не смор-

гнул: «А ты, — говорит, — еще докажи, что тут есть намеренное сходство, а не случайное совпадение ликов: Степаныч мужик богобоязный; может, он молится этому угоднику, ну и носит на лице молитвенника печать; да ты вовсе и не понимаешь, брат, сих, можно сказать, эмблематических начертаний; а кощунства никакого тут нет. Кабы и было, то согрешили богомазы; с богомазов и спрашивай; а запретить Степанычу под иконой стоять, посуди ты сам, не могу — мое ли дело: храм Божий для всех... А ты нишкни, да смирись: лучше о своих прегрешениях подумай»... Сплюнул столяр, и пошел от попа прочь.

Ворчала и учительница: «Безобразие, испакостили церковь». Но кто станет обращать на учительницыны слова? И какая такая она власть? Хорошо, если бы земский, волостной или кто иной, ежели, скажем, сам генерал Тодрабе-Граабен свое суждение на сей счет высказал, ну, тогда — другое дело; но волостной, сам кум Ивана Степанова, сам в лапы к нему попал давно; земский молчит, а генерала Тодрабе-Граабена никто никогда в храме нашем не видывал. А тут, изволите ли видеть, с какой-то Шкуренковой, учительницей, считайтесь; а посмотрите, какая такая она из себя: лицо зеленое-раззеленое, всегда лоснится, веснушчатое — щеголяет себе в розовеньких да лиловеньких кофтяшках.

И грошовые же у нее кофтяшки! Ситчик либо миткалик по четыре алтына за аршин; как выстирает, сейчас это пятнами кофтяшка пойдет (девки ее всё на смех подымали); парня ли красивого увидит, дачник ли подвернется, — юпчонки подберет (а чулок-то у нее рваный), носком вертит, и ну плезир в глазах изображать.

Кто посмотрит на учительницыны слова? Кто, кто попу подставлял ногу, перед кем смирялся многотерпеливый поп? Перед ней, перед ней, потому что к ней и не придерешься: все с «хи-хи» да с «ха-ха», будто шутки шутит; а какие там шутки! так в самое больное место и норовит ужалить: «Что это долго супруга у вас «Персидского марша» не играла? Воображение имею большое и до музыки охотница страсть какая, ах, какая! Вы бы ее почаще просили», — глазки закатит, у самой губы от смеха ходуном; однажды при помещике Уткине и при шести спелых его дочерях — Катерине, Степаниде, Варваре, Анне, Валентине, Раисе — шпильку попу всадила. Поп смолчит, а иной раз так это разогорчится, что дьячка призовет, пошлет за водкой — глядишь, гитара в смородиннике и затрынкала, а учительница злорадствует.

Только раз поп не стерпел: как пришел домой, засел строчить донос; строчил, строчил — ну и настрочил же: будто придерживается заноза неведомого вероисповедания и с кавказскими молоканами в сношение-де вступить намерена для ниспровержения предержащих властей; оттого-де и социалистка; и ребят не учит, а все только пакостью занимается, чему свидетель он, настоятель целебеевского храма. Так это красиво все подвел, со смыслом связал, на Ивана Степанова, как на свидетеля, указал; сейчас видно — воображение у попа есть, и взятие крепости Карса изображал не раз. Иван же Степанов от себя показал, что оная учительша Шкуренкова без лишних два года его, Степанова, соблазняет, все угрожая при первой удобной оказии над ним учинить любодейственное насилие.

Расписались, запечатали в конверт; да вовремя не послали — задумались: не было бы чего от на-

чальства: начальство бы не поверило. Если признаться, веры учительша придерживалась православной, а что ребят она грамоте учила, то всякий видел: ну, против грамотности не пойдешь; и земский, и урядник у нас в ту пору за грамотность держались крепко.

Она возьми, да узнай про умысел попа; и опять попа подсидела: поп объезжал свой приход; известное дело: всякий ему в телегу яйца клал, мучки, хлебца, луку (поборами с прихожан жили попы); возвращался он с телегой, полной муки, хлеба, яиц, и остановился у школы, у колодца воды испить; бойкая же девица вышла и затарабарила, захихикала: «хи-хи» да «ха-ха»; взяла, да будто невзначай, села в телегу; села и продавила яйца — продавила до полсотни яиц: вот тебе, дескать, а что с меня возьмешь?

С той поры они и разошлись: э, да что тут: двое дерутся — третий не суйся; ругаются, — помалкивай.

Другой примечательный обитатель села — столяр: Митрий Кудеяров. В той самой он проживает избенке, что из пологого выглядывает лога; если встать на холмик, то... вон там его крыша — вон там: еще оттуда на нас потянуло дымком.

Столяр выделывал мебель и заказы имел не только из Лихова — из Москвы; сам колченогий, хворый, бледный, и нос, как у дятла, и все кашляет, а поставляет в мебельные магазины; частенько к нему с дороги захаживали: всякий люд по дороге гнала невидимая сила: цыганы, сицилисты, городские рабочие, Божьи люди так бы и проходили; ан, нет: случилось тут у нас Кудеярову быть: к нему-то и завертывали. Оттого и тропочка с дороги к логу его обозначалась все явственней.

Как, бывало, темненькая на дороге к нему заковыляет фигурка или желтый подымется прах и там, в желтом прахе, тарарыкает уж телега, — на холмик подымется Митрий, ладонь приложит к глазам — и ждет... И чего это он все ждал? Ждет, — а мимо гнала всякий люд невидимая сила: протарарыкает телега, минует село; тот пройдет, другой, прогорланив песню; иной и свернет на тропочку: значит, к Митрию. Не любил столяр отвечать на расспросы: «Кто да кто у тебя чайничал?» — «Так: ничего себе». Нахмурится, смолчит.

Ничего себе, гостеприимный; придешь к нему, бабу свою (жену схоронил Митрий) пошлет на колодезь: воды в самовар принести; сейчас это лавку очистит от стружек и начнет всякие тарыбары про мебельное свое дело: «Выделываете мебель?» — «Выделывам, как же: и под штиль, и без штиля; коли в Москву отсылашь, так обязательно требуют штиль: есть солидные штили, доходные — потому, сами знаете, резная работа: вот хоть бы р о к о́ к о, али р у с с к и й ш т и л ь; а есть так только, шушера одна: тяп-ляп — готово: дешево платят нонече за такую работу, а заказывают; на едаком штиле много деньги не зашибешь: так это, обман». — Скажет, и подмигнет всем лицом; ну и лицо же, мое почтенье! Не лицо — баранья, обглоданная кость: и при том не лицо, а пол-лица; лицо, положим, как лицо, а только все кажется, что половина лица; одна сторона тебе хитро подмигивает, другая же все что-то высматривает, чего-то боится все; друг с дружкой разговоры ведут: одна это: «я вот, ух, как!», а другая: «ну-ка, ну-ка: что — взял?» А коли стать против носа, никакого не будет лица, а так что-то... разводы какие-то все.

Весь день проработает с отстегнутым воротом красной своей рубахи, пропотевшей на спине; уж прохлада бирюзой и сквозной, и искристой дальние заливает рощи, и все там нахмурится — сеется мрак и множатся тени, — а напротив усталое солнце истекает последним лучом, — рубанки, фуганки, сверла Митрий сложит, свесит над ними тонкое мочало желтой бороды, задумчиво обопрется на пилу, и потом тихохонько плетется через луг обшлепанными лаптями, а детишки от него прочь, потому что имел нехороший тяжелый глаз; только сам он овцы не обидит; ничего себе; и всякий уж знает, куда и зачем тащится столяр в такое время: к батюшке; препираться насчет текстов; был же весьма начитан в Писании и своего мнения держался — какого, никто понять не мог, хоть с виду он не таился: вовсе не досуг было знать, что разумел под единой сущностью столяр Кудеяров и какого мнения на счет учительшиного безобразия придерживался.

Вот, бывало, утрет это он рукавом потное свое лицо, повернет это к попу половину лица: «я вот, ух, как!», да и вопрошает; так вот они с попом и препираются на лужайке в тихий вечерний час, когда тонкий встает пар над лугом. Потеет поп, потеет, пока Кудеяров садит текстами, и рассердится, когда Кудеяров другой половиной лица будто невзначай на попа обернет (н у-к а, н у-к а: ч т о, в з я л?); и рассердится поп, вспомнит попадьихин самоварчик, и отмахнется: «Поди ты, есть у меня время со всяким путаться: много вас тут, народу всякого!» А только поп это зря — просто чайку захотелось, либо в окне попадьихину белую шейку приметил: сам любил поумничать с Кудеяровым. Плюнет поп, посмотрит на столяра, а лицато у столяра нет: так... разводы какие-то. И пойдет

от него поп; и подмигнет ему вслед Кудеяров, и через весь луг в пологий потащится лог, в росную свою прохладу. И затеплятся звезды.

Что бы можно сказать про Кудеярова, про столяра? — а говорили в народе: Кудеяров будто закрывает в избе крепко-накрепко по ночам ставни (только у него да у попа были ставни), а сквозь ставни из хаты его дивный свет пылает, да раздаются ропоты: одни судачили про то, что собственною молитвой молится он с рябой своей бабой; другие показывали иное: нечистые-де творятся там дела. Впрочем, говорили все это с опаской и смутно, да и сами говорившие не верили; а пустил слух глухонемой; пришел он однажды в Степанычеву лавку, рукой в сторону кудеяровской избы показывает, «апа, апа» свое бормочет и рожки ставит над всклокоченной головой; признаться, Степаныч не поверил, потому что знал, — от глухонемого какие вести: недаром поп на исповеди глухонемого вразумлял только насчет того, что нельзя скоромным в пост питаться, для чего ладошками хвост сельди изображал, да из рук капустный кочан выделывал; ну и глухонемой понимал, а насчет Кудеярова он мог и завраться.

А вот что касается бабы, — то стать иная. Чудная у него была баба, рябая; жил ли он с ней, или нет — не знали; должно быть, жил; только бабу не любили сельчане, да и она держалась в стороне: глупая была баба: все на звезды смотрела; как затеплятся звезды, выйдет она на двор, и все-то жалобным голосом своим распевает: не то стих духовный, не то любовную песню срамную. Часто видели ее на мостках: сидит на мостках и белья не полощет — в воду смотрит, как там теплятся звезды...

ГОЛУБЬ

В самый жар, когда и девки прячутся, хоть на дворе праздник, когда не мелькают их зеленые, красные, канареечные баски, а разве только из пыли порхнет в кусты воробей, только ветер качает сумными[1] соснами, жаркий ветер, и пыльные вьюнки в поля провьются с дороги, — не тянулись возы на дороге, не проходил сельчанин: будто вымерло село, — такой покой, такое безлюдие, дрема такая повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков.

Только там, где к дороге бросились кучей домишки, те, что поплоше да попоганее, из чайной неслись крики и песни: испоганился придорожный народ целебеевский. Люд постепеннее крепко насупился на эту часть нашего села: супился поп, учительница, и Иван Степанов (мужик богатый), и колченогий столяр.

Пробегала дорога туда — мимо-мимо — за село пробегала, в поля, — убегала она вверх пологого склона равнины и терялась у самого неба, потому что здесь припадало небо низко к селу (там, за границей, и, будто бы, за небом был славный Лихов город). И оттуда виделся корявый куст, но из села казалось, что то темная странника фигурка, бредущего на село одиноко; шли года, а странник все шел, все шел: не мог дойти он до людского жилья, все грозился издали на село.

В этот томительный час только из пологого лога, где была изба столяра, столяр вылезал на холмик, и, приложивши руку к хворому своему лицу, все посматривал вдаль по дороге: не встает ли там пыль, не приближается ли странник, не

---

[1] грустными. (*Примеч. А. Белого.*)

несет ли Господь кого из гостей; постоит, постоит столяр, — даль ясна, все там струится. Нет никого. Опять в свое логово забирается столяр: посидит, посидит в красном углу под образами; и опять ему не терпится, и опять выйдет на холмик, а пора уже чайничать; уже стол ему накрыла босоногая Матрена, рябая баба, работница; уже белая скатерть с каймой из красных петухов, с чашками, покрытыми росписью розанов, с хлебом, яйцами, на столе; и уже дымит самовар: пора чайничать, но с кем же чайничать, как не с гостем, а гостя все нет; и опять выйдет столяр Кудеяров на холмик; далека дорога: даль ясна, и нет никого; нет, кто-то есть, кто-то, наверное, приближается к селу; то не куст — вон темненькая его фигурка; а вот рядом другая фигурка, и тоже темненькая; скоро она спустится вниз — «Ей, Матрена, гостей поджидай!»... И Матрена уже суетится, шлепая от печки к столу здоровенными, белыми ногами: безбровое, рябое ее лицо, с глазами темными и алыми, с чуть дрожащими алыми губами, усмехается, будто давно она уже ждет вестей издалече; она поглядывает на столяра, а столяр сидит молча, не отвечает на взгляды глупой бабы: ждет гостя. А вот и гость.

И гость странный: нищий, известный в округе, Абрам; то появится он в наших местах; босой обходит села, усадьбы; и везде-то ему подадут: кто краюху, кто яйца, кто копеечку (это все больше господа подавали деньгами), кто просто накормит или пустит переночевать, а кто пригрозит цепным псом; а то вовсе скроется нищий: месяцами его не видать; тогда встречали его далеко за Лиховым, видывали и за Москвой: высокий, плечистый, кудластый, с темными с проседью волосами, падающими на плечи, с большим носом и узенькими

раскосыми, но хитрыми глазками, он верно знал, с кого чем взять; как подойдет под окна, пропоет псалом грудным низким голосом, отбивая высокой палкой слова. Странная у него была палка: не то палка, не то дубина, не то посох. Сам — богатырь: встретишь в лесу, испугаешься: ну, как он дубиной своей хватит; но что всего страннее, так это то, что на дубине его светилось оловянное изображение птицы-голубя, ясное такое серебряное. Но как нищего знали, его нрав и его повадки знали и то, как он играл с детьми, и как при случае сторожил лес, — все знали, даже начальство, то и не побоялись бы его, в лесу повстречав: побоялись бы инородные. За Абрамом водился один только грех: сиживал часто он в чайной, где выменивал на закуску и чай яйца и хлеб; сиживал и в городской полпивной; сидит и молчит: и все-то прислушивается: про него говорили, будто он знает подноготную всех, — и крестьян, и попов, и господ, кто куда поехал, кто что задумал, — все знает Абрам; только неведомо, почему про него это так говорили: сам-то он был молчаливый, мало с кем говорил, а когда спрашивали его о чем, отнекивался: говорил — ничего-то он не знает.

Войдя в избу, перекрестился на образа Абрам, снял кожаную сумку да войлочную шляпу, которую дали ему господа и которую господа называют «паганкой»; обнялись они с Кудеяровым, трижды поцеловались, отвесил Абрам Матрене низкий поклон, будто домовитой хозяйке, а та протянула ему свою руку как-то вперед заскорузлыми, сжатыми пальцами; запросто распоясался и сел чайничать с Матреной и столяром, будто он и не нищий, а гость какой званый; и потому, как угощали странника, вовсе нельзя было показать, что он нищий. Пили чай молча. Но вот уж выпиты чаш-

ки и опрокинуты, и тонко шипит самовар, выживая кого-то, — Кудеяров-столяр тонкое поднял мочало бороды и на нищего уставился той стороной лица, которая будто говорила: «я вот, ух, как!»... На что нищий, без слов понимавший столяра, подмигнул Матрене:

— Что знаем, то знаем: что там уж... от своих таиться!

Матрена стояла поодаль в красной баске, подперев рукой бледное свое лицо; только дрогнули ее губы, да загадочно как-то сверкнули глаза. Она приложила палец к губам и явственно у губ палец согнула трижды; губы ее забормотали; и глаза опять так дивно сверкнули. Тогда столяр, сидевший в красном углу, уставился на нищего уже всем лицом, и все лицо выражало так что-то — разводы какие-то, между тем, как рука его явственно простучала трижды и зачертила кресты по скатерти.

Низко склонил голову нищий, как бы в согласии с тем, что видел, и скорей прошептал, чем проговорил: «В виде холубине»...

И все головы ниже еще склонили: и помолчали. Потом столяр явственно произнес:

— Видим, что и ты, друг, наш; что видел ты, и что ты слышал, что народ баит...

— Погуторим, охотно, — подмигнул нищий и потащился рукой за пазуху; скоро он вынул грязный листок вчетверо сложенной бумаги, развернул и стал читать: — «От жёнки смиренной отцу и учителю нашему, Митрию. Кланяются тебе братии наши и сестры; не оставляй ты нас, отец и благодетель, молитвами. А еще посылаем тебе, отцу, брата нашего, Абрама, сына Иванова, по прозвищу Верный Столб. А еще просим тебя, милостивец ты наш, верить сему брату во всем; как

нам, верным твоим вдовам и женам верил, так и ему, Столбу твоему, верь. А еще кланяется тебе Аннушка Голубятня, Елена, Фрол, Карп, да Иван Огонь. А мой идол благоверный доселе еще ничего не знает; а травушкой, посланной тобой, пользую его отменно; а для чего — сам, батюшка, знаешь; молимся Святу Духу Господу в новой молельне, то ись, в помещении банном в те дни, как мой благоверный отлучается по уезду. Голубинин же лик живописец пишет из братий наших. А еще не оставь ты, милостивец, нас честными молитвами твоими. А еще духине твоей, — продолжал нищий, кланяясь Матрене, — низкий мой поклон. Верная твоя раба, душенька твоя голубиная, Фекла Еропегина»...

— То-то и оно, брат Абрам, — прервал молчание Кудеяров, — сам-то, значит, не в городе нонече...

— Какое там: все по делам, все от мельницы к мельнице переезжает; Фекла наша Матвеевна все одна да одна, — подмигнул нищий, — то ись, все она с братьями с сестрами; травки вот мало выходит, некогда и пользовать ей.

— Ну, будет время...

Это они говорили о Фекле Матвеевне Еропегиной, жене богатейшего лиховского мукомола, в некое тайное перешедшей согласие. Говорили о том, что уже верная братия объявилась в окрестных селах, что уже молятся нынче кружками здесь и там, и об этом никто так-таки и не подозревает; не то, что прежде, когда на уезд два всего прихода братии и сестер приходилось; и один приход собирался в доме Феклы Матвеевны потаенно при помощи Аннушки, да матери, старицы столетней, бывшей крестьянки из Воронья. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Митрий Мироныч

Кудеяров всему делу святому — голова тайный: вместе они с бабой рябой, Матреной, недаром, знать, из году в год запирались на ночь да чудные распевали молитвы потаенно; знать, Господь их благословил за святое дело встать с новой верой, голубиной, то ись, духовной, почему и называлось согласие ихнее согласием Голубя. В чем заключалось само согласие, из разговора нельзя было понять никак: ясно было одно, что братия надеется на некие таинства; раскрытия их ожидал Кудеяров, но не хватало только человечка такого, который мог бы приять на себя смелость свершения таинств сил, без чего Кудеяров с Матреной не могли опираться на таинства, ведомые им одним перед братьями, так что от братий своих приходилось до сроку им таиться; братия слышала только, что есть среди них святые люди, до времени пребывающие в молчании, чтобы выступить на брань с врагом человеческого рода в дни, когда братоубийственная на Руси начиналась смута; кто такой в действительности Кудеяров, знавали немногие избранные и между ними — Фекла Матвеевна Еропегина. Нищий Абрам был языком всех вестей среди братий согласия Голубя, он-то и разносил вести; но и Абрам до последнего времени головы согласия не видал и только теперь, впервые, открыли ему глаза на Митрия.

— Ну, что ж, человечка нашли? — шепотом наклонился Абрам к Кудеярову.

— Нишкни, — побледнел тот, — ноне че и стены имеют уши, — и оглянулся, встал, вышел за дверь, убедившись, что у избы никого нет, плотнее притворил дверь, и показал на Матрену глазами: — у нее спроси, она у меня — духиня: она и человечка · приискиват да, кажись, приискала: только клюнет ли? — как-то зло рассме-

ялся столяр. — Со мной-то не хочет: я стар для нее...

И когда нищий хотел посмотреть на Матрену, уже ее не было: закрасневшись, убежала она вон: она стояла, вся красная, с порозовевшим, угрюмым лицом на холме и грызла полевую тростинку, и упорная на ее лице запечатлелась дума.

Еще поговорили немного столяр и нищий, и попрощались; нищий взял посох, опоясался сумкой и пошел себе, босыми подымая ногами пыль. Скоро посох его застучал под окнами изб; то здесь, то там поблескивала в жаре оловянная птица-голубь, раздавались в зное слова Божиих псалмов.

Все было тихо.

Только там, где к дороге бросились кучей домишки — те, что поплоше да попоганее, из чайной неслись и крики, и песни; а то будто вымерло село — такой покой, такая дрема повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков.

НЕВОЗВРАТНОЕ ВРЕМЯ

Солнце стояло уже высоко; и уже склонялось солнце; и был зной, и злой был день; и днем тускло вспотело тусклое солнце, а все же светило, но казалось, что душит, что кружит голову, в нос забирается гарью, простертою не то от изб, не то от земли, перегорелой, сухой: был день, и злой; и был зной, когда судорожно сжимается сухая гортань: пьешь воду в невыразимом волнении, во всем ища толк, а томная, тусклая пелена томно и тускло топит окрестность, а окрестность — вот эта овца и вон та глупая баба — без всякого толка воссядут в душе, и, дикий, уже не ищешь смысла, но

ворочаешь глазами, вздыхаешь. А злые мухи? Вздохом глотаешь злую муху: звенят в нос, в уши, в глаза злые мухи! Убьешь одну, воздух бросит их сотнями; в мушиных роях томно тускнет сама тоска...

Солнце стояло уже высоко, и уже оно клонилось, и свет нагло влетал сквозь кисейные занавески поповского домика, так что каждая обозначилась пылинка и обозначилась каждая зазубринка на белом, дощатом полу, и каждое пятнышко обозначилось на обоях, испещренных букетиками аляповатых роз вперемежку с васильками, а неприбранный стол с пятнами вина, с крошками капусты да растрепанной головой Александра Николаевича, дьячка, павшего на скатерть и нахлеставшегося рябиновки, черной ратью облепили мухи; они собирались многоногими стаями вокруг винных пятен и многоногими ползали стаями по лицу хмельного дьячка, а поп (он только что пред иконою Царицы Небесной дал зарок вовсе не напиваться и потому был еще трезв), с обтекавшим от жару и от все же пропущенных рюмок лицом, взлетом костлявой руки давил в кулаке черные, ползающие стаи и бросал их с остервенением в обжигающий кипяток. «Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь», — потоплял он мух, и в кипятке мухи барахтались лапками, но к винному пятну переползали, слетались новые стаи и поп опять их ловил, потоплял и душил; и слетались новые стаи, и казалось, была вся набита комната роем черным, гудящим; и казалось, густо в ней становилось от многих колючих жал, от многих звенящих голосов, а там, за тонкой перегородкой, была небольшая комната об одно окно с двумя убогими креслами в чехлах, и с таким же диваном, по-

среди которого торчала сломанная пружина, так что неопытный гость мог вонзиться в нее; пол в этой комнате был выкрашен — краской и вымыт квасом и нога прилипала к полу, отчего попадья в этой комнате здесь и там протянула узенький холст; комнату украшали: желтого цвета ломберный столик с вязаной скатертью и только для вида приставленной четвертой ножкой, плетеная корзинка с остатками когда-то пышной пальмы в виде сохнущего листа, покрытого травяной вошью, приложение к «Ниве» в виде цыганки с бубном, повешенное на стене, да портрет Скобелева, засиженный мухами и проткнутый палкой; но всего более украшало комнату старенькое пьянино. Здесь было царство попадьи; здесь сиживала она в кои веки одна у окна с вязаньем; здесь в кои веки забывала она и попа, и попят; здесь вспыхивали в ней остатки какого-то чувства, еще не вовсе убитого ссорами с кухаркой, сплетнями и утираньем носов и еще кое-чего у золотушных ребят; здесь иногда садилась она за инструмент, либо за гитару и наигрывала любимый свой вальс «Невозвратное время», не замечая, что половина клавишей жалко дребезжала или не издавала звуков. Вот и сейчас: хило, будто в последней степени чахотки, жалко задребезжал вальс «Невозвратное время», и потекли звуки, и всплакнул спьяна Александр Николаевич, дьячок, и пятерня попа, полная мухами, замерла в воздухе, упала, разжалась, когда жалко задребезжало невозвратное время из-за тонкой перегородки; невозвратное свое время вспомнил и поп, как езживал он семинаристом весной в Воронье, где среди розовых вишен цветущих розовело личико поповны, еще не дебелой бранчливой и непристойной бабы, а нежной девушки; и как

порванная струна дребезжало оно, невозвратное время, в душе дьячковской, когда дьячок на хилые звуки свою подымал голову, вовсе невпопад пытаясь подтянуть и запевая: «Даа-гаа-раай ма-я лу-чина... Даа-гаа-рюю с тобоою я»... И тотчас в нем догорала лучина прошлого, и голова дьячка опять валилась в ползающие рои мух.

Задумался и Дарьяльский; тут же, в сторонке, он еще все у попа сидел и курил, в то время, как быть бы ему в Гуголеве, где уж хватились, небось, его, где простыл уж обед и Катя, из зеленых акаций сада, где смотрела на пыльную и тусклую дорогу, язвительно улыбавшуюся ей из зеленой ржи и убегающую к Целебееву; и где, опираясь на костыль, тряслась в цветнике кружевная бабинька, в черном вся шелку и в белом тюлевом чепце с лиловыми лентами; тряслась и поварчивала в настурциях. Почему же и Дарьяльского охватило невозвратное время, почему же и он вспомнил свою жизнь? Мало прожито, много пережито, — и пережито столько, что хватило бы на добрый десяток жизней; помнит Дарьяльский своего отца, чиновника казенной палаты, человека простого и честного; бился тот, бился, как рыба об лед, чтобы дать сыну надлежащее образование; его отдали в учебное заведенье, и ходить бы ему в учебное заведенье, ан нет: он ходил в библиотеки и музеи, да над книгами днями просиживал он, а потом, после месячной отлучки из гимназии, как вымаливал он у матери, чтобы та, тайно от отца, писала ему извещения начальству о будто бы им перенесенной болезни; как уже с детства он объявил отцу, что и в Бога не верит, в доказательство чего вынес из своей каморки образ и шваркнул в угол; как печалились и отец, и мать, а он, юный нехристь, молился

красным он зорям и невесть чему, снисходящему в душу с зарей; писал стихи, читал Конта и поклонялся он, юный нехристь, красному знамени, перенося на сей вещественный знак тайную свою, дорогую, никем не узнанную тайну о том, что будущее будет. Невозвратное время!

И умер отец, и умерла мать; он — студент: он — первый среди товарищей — в их кружках, спорах с начальством, увлекающий, не увлеченный: погруженный в толстые фолианты, изучающий Беме, Экхарта, Сведенборга так же, как изучал он Маркса, Лассаля и Конта, ища тайну своей зари и не находя ее нигде, нигде; и вот уже он одичал, и уже не увлекал никого; вот он странник, один средь полей со странными своими, не приведенными к единству мыслями, но всегда с зарей, с алыми ее переливами, с жаркими, жадными ее поцелуями; и заря сулит какую-то ему близость, какое-то к нему приближение тайны; и уже он — вот в храме; он уже во святых местах, в Дивееве, в Оптине и одновременно в языческой старине с Тибуллом и Флакком; и слов-то уж более нет к выраженью мыслей; и сам-то он на взгляд одичал, опростел, огрубел, — а чувства все жарче, и все тоньше думы, все больше их, больше, и от полноты разрывается душа; просит ласки она и любви; и — подошла милая Катя, ясная — полюбила: подошла, любит. Но почему же вздохнул Дарьяльский? «Невозвратное время»... Ведь время это — не более как вчерашний день; еще он думал вчера — тайна его раскрывается в Кате, в ее любви и ее поцелуях: новый она его путь и столб нерушимый истинной жизни. Но почему же и это вчера — время уже невозвратное: оттого ли, что тайный взгляд рябой бабы исполнил неистовством его душу? Рябая баба:

не любовь в ее взоре, а жадность какая-то; полно: и не жадность, и не любовь, не любовь только: не только любви и надо ему; чего же надо ему, если в любви — путь, если в ней утверждение истины?.. О, мухи, жадные, злые, не жужжите, не жальте, не забирайтесь в рот!.. О, плаксивые звуки: жалкие, не дребезжите вы больше!.. Прочь, поп, и ты: сам утопай в мушиных роях!..

Простился с попом и вышел; и тусклое тускнело солнце и гремело светом, и тысячами насекомых с луга; уже оно склонялось, а вслед Дарьяльскому неслись дребезжащие звуки; они разбивали пруд на тысячи блестков: блестки-всплестки, будто серебряные голуби — в воде ли, в небе ли — пропорхнули, когда ветерок пруд тронул рябью, прошумел аер зеленый. Впереди из пологого лога потянуло дымком: там промелкнула красная баска, там промелькнул платок с белыми яблоками; промелькнули, — скрылись в пологом логе, у избы Митрия Мироновича, столяра. Вздрогнул Дарьяльский.

Пошел он от церкви прочь, и не помнит, как принесли его ноги к голому камню, торчащему над прудом; чудно его укачали студеные всплески воды: усыплен, и уже в струях слышится ему нянино «баю-бай», и все уже обернулось на него странно и смутно здесь, среди бела дня; и взорами ищет прохожего сельчанина, и не проходит здесь сельчанин; провевается ветер и качает кустами; качает мысль — и уже усыплен.

Слушай — струй лепет и ток стрижей: смутно стрижи зовут над колокольней, что золотым своим резным крестом поднялась над селом; вьются стрижи над ней. Черные стрижи над крестом день, утро, вечер в волне воздушной купаются, юлят, шныряют здесь и там, взвиваются,

падают, режут небо: и режут, жгут они воздух, скребут, сверлят жгучим визгом воздух, навек выжигая душу неутомным желаньем; и только к ночи угомонятся; и не вовсе: и ночью, в час смиренного упокоения, когда вдали гамкают псы да перекликается петух, под колокольней что-то взвизгнет: хорошо знают во всей округе целебеевских стрижей. Но стрижей, друг, не слушай и на них за засматривайся: разорвут тебе сердце, и точно в грудь воткнут раскаленное сверло — захочется тебе бегать, росянистые отрясать кусты, в росянистые падать травы, прижимая к груди эти травы. Пропадешь за медный грош: иссохнешь.

Ишь, как юлят, стригут крыльями воздух — облепили крест.

Смотрит Дарьяльский на крест, на колокольню: за колокольней — кусточки, овражек; за овражком — кусточки: дальше, больше: смотришь, а уж шепотный лес проливает свою дрему, а в лесу курлыкает глупая птица; жалобно так курлыкает.

Чего ей надо?

Так он весь день проваландался по селу, бродя вдоль луга и в пологий заглядывая лог (где изба Кудеярова столяра).

И уже прошли к пруду сельские девки с песнями хоровыми; поскидали алые свои они юбки, да баски, и белыми телами дружно кинулись в пруд; то-то было фырканья! Долго по берегу гонялись они друг за другом, — и как есть без рубашек, полные, белые. И уже прошли прочь от пруда сельские девки с песнями хоровыми. Также приходили мужики, скидывали портки да рубахи, и загорелыми телами дружно кидались в пруд; и еще больше было криков, еще больше фыр-

канья. Как без песен пришли, так и ушли без песен. И никого на пруде; только в аере свежем чернеется рыболов.

И уже прошла на мостки баба рябая с песней тихой, с песней жалобной; не скидавала алые она свои одежды: посиживала на мостках, полощась спущенными в воде ногами; рыжие свои косы расчесывала над водой. И когда мимо нее прошел Дарьяльский, только дрогнули ее губы да загадочно как-то сверкнули глаза — у, как они загорелись! Обернулся; обернулась и она: у, как ее опять уставились на него глаза! Подошел, но уже пошла прочь от пруда баба рябая с тихой песней, с песней жалобной. И затеплилась первая звездочка, и робкая из пологого лога выглядывала хата двумя в сырости желтыми огнями.

Вился, и веял над селом, и отрадно целовал кустики, травку, обувь чистый ветер летними слезинками, когда дневное, не голубое вовсе, и не серое небо затвердело синевой в то время, когда запад разъял свою пасть и туда утекал дневной пламень и дым; оттуда бросил воздух красные свои, будто ковровые, платы зари и покрыл ими косяки и бревна изб, ангелочки резные, кусточки, унизал крест колокольный огромной цены рубинами, а жестяной петушок, казалось, был вырезан в вечер задорным, малиновым крылом; кусок красного коврового воздуха ударил в поповский смородинник, как раз угодив в отца Вукола; сидел на березовом пне в своем белом подряснике поп и в соломенной шляпе; краснел, покуривал пеньковую трубочку, и казался таким маленьким на заре.

Ковровый воздух перерезал дорогу красным полотнищем, убегая туда, где толпились избенки помельче да поплоше, и зачем-то орались там

песни, и зачем-то в клочки рвала воздух заправская гармоника в клубах пыли, и почему-то подтенькивал ей откуда-то взявшийся треугольник, в то время, как восток темный источал ток, и туда — в темного тока теченье — уводила дорога; в синюю муть синей ночи кто-то оттуда надвигался на деревню, темненькая все шла фигурка, но, казалось, что она далеко, далеко, и никогда ей не достигнуть нашего села.

В ЧАЙНОЙ

— Да ты сообрази, дубовое твое рыло, — сообрази ты: кто над землей трудится? Мужик — я, чай! Мужику и земля, то ись в полное апчественное обладание. Акрамя земли никакой такой слабоды нам не надать; одно стеснительство, слабода ета. На што слабода нам?..

— Забастовщики вы бердичевские!.. — кочевряжился паршивого вида мужичонка.

— Чего буркулы на меня, харя, выпятил? В борьбе обретешь ты право свое! — харкнул на пол рабочий с Прохоровской мануфактуры, молодой парень с проваливающимся носом.

В стороне раздавался громкий гнусавый тенорок:

— Бысть ветер буйный, и занесе меня в кобак; и рекл ми целовальник: «человече, чего хощеши?» И отвещах ему: «зелья водошнаго». И сложил той своя пять персты воедину; и бия меня по зубам. И, биен, издох...

— А вы видели ль, робята, ефту самую е х у лесную? — обращался лупоглазый, распаренный от жару, целебеевский парень к двум ротозеям, тянувшим чай с блюдечка.

Но все покрывала скрипом огромная гармоника, на которой играл парень в шелковой синей сорочке, в набок надетом картузе, с вызывающей харей, застывшей, а пьяные голоса развалившихся вокруг него парней тихонько подпевали: «Трааа-нсваали, Тра-а-н-сваали, страа-наа маа-яя... Тыы всяя-аа ваа-гнее-ее гаа-рииишь»...

Чайная была наполнена гостями из окрестных деревень; пар валил столбом; в чайниках, здесь и там, разносили водку; некоторые лопали вонючие сосиски руками прямо с блюдечка.

В одном углу рабочий с подгнившим носом и хриплым голосом уже защищался от налезавшего на него паршивого мужичонки; рядом за столиком проезжий лиховский обыватель, выгнанный из семинарии семинарист, пощипывал козлиную бороденку и распевал на манер дьячка, а в другом углу говорили парни про «еху лесную».

— Ну, ну, чего лезешь! уже и драться сейчас: за вас же чертовых детей, на огонь лезем; никакого понятия не имеет: ей, братцы, он мне голову едак проломит!

— И шед, возопих: «извощиче, извощиче: кую мзду возмеши довести мя до храмины?» И отвещах: «Денарий, еже есть глаголемый «двугривенный», и восседох на колеснице, и возбрыкахся кобыла; и понесе...

— Ходили, паря, чрез Кобылью Лужу, да и вызвали иетту «еху»: «Черт», а она нам: «Черт». — «Выходи!», а она из кустиков, значит, в белом вся, а мы врассыпную. — А гармоника хрипела, и голоса гудели: «Маальчишка наа-аа-паа-зии-цию пе-шкоо-оом паа-трон прии-неес».

Говорили о том, что японец мутит народ, что близ Лихова проживают шпионы; говорили и то, что железнодорожные рабочие прошлись по по-

лотну с красным «флакам», и что вел их генерал Скобелев, доселе таившийся от всех, а ныне объявившийся народу; что ведьма из деревни Кобылья Лужа отдала черту душу, а перед смертью силушку свою искала кому передать: не нашла, так в тростинку изошла ее сила; по рукам ходили писульки весьма лукавого сорта, чтобы не вставал народ на работу помещикам; читали, качали головами: соблазнительное содержание; но улыбались...

В стороне, молча, сидел нищий Абрам и оловянный голубь мутно тускнел у него на палке; временами лиховский обыватель подходил к нему и, о чем-то пошептавшись, возвращался к месту, продолжая нараспев выкрикивать свой вздор: — И возопих гласом велием: «извозщиче, извозщиче! Укроти клячу сию!» И бысть велий глас: «Тпру, чертова дочь!» И остановишася кони, яко вкопанни»... Ей, ты, слобода! — бросил он вдруг только что побитому рабочему, уже совершенно пьяному: — Так-то оно так: хорошо это у вас писано, только есть ли у вас свой сицилистический бог?..

— Пррре-доставим небо воррробьям... и водррузим... кррасное знамя... — бормотал тот, совершенно пьяный, — пррроли-тарри-ата...

— Ой-ли, а не красный ли гроб? — вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолкла гармоника, перестали ребята дивиться «ехе лесной», и все головы обратились в одну сторону; но как же сверкали глаза лиховского мещанина: «Слушайте, православные, царство Зверя приходит, и только огнем Духовым попалим Зверь сей; братия, будет ходить меж нами красная смерть, и одно спасение, — огонь Духов, царство голубиное преуготовляющий нам»... Долго еще говорил лиховский обыватель, и скрылся.

Дивились сельчане дивным речам; и уже одни расходились, другие давно разошлись, а иные, нализавшись казенки прямо из чайника, лежали под лавками, и между ними рабочий с подгнившим носом.

Ясная, чистая, тихая, свежая ночь. Вдали гамкает пес, да заливается стукушка; вдали парни заливаются песней, возвращаясь домой: «За праа-вдуу Боо-оог паа-мии-лует... За крии-иивдуу аа-аа-суу-диит...»

Тарарыкает тележка; лиховский обыватель куда-то везет Абрама, нищего: «Ну что, человечка нашли?»... — «Наметили»... — «Кто да кто?»...— «Так, лодырь из господ, только все же из наших»... — «Клюет?» — «Клюнет»... Ясная, чистая, тихая, свежая ночь...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГОРОД ЛИХОВ

ДОРОГА

Пересекала дорога лесочки, кустики, кочки; пересекала пологие склоны равнин и с разбега на вас нападающий ветер; пересекала зеленый овес, едва изливающий шепот; и ручьи, и овражки — пересекала дорога, убегая — туда: дымная оттуда протянулась власяница и запахнула все, как есть, небо; и оттуда сеялся дождь на лесочки, на кочки, на пологие склоны равнин; и в небо оттуда протягивал храм свой серебряный шпиц, из тумана, хотя и казалось, что верст на десять нет никакого села; а дорога издали огибала храм, и таилось село промеж двух пологих горбов, покрытых по ржи пробегающей рябью. Если бы взлесть на придорожную иву, уцелевшую Бог весть как (в стародавние времена дороги у нас были обсажены большущими ивами), можно бы разглядеть и село, потому что рукой до села подать, коли встать подле ивы; в день же, дождливый и серый, бедные, серые избы так сиротливо припали к бедной и серой земле, что было сквозь дождь различить их никак невозможно. Горб земляной обрывался над верхом: верх тут как раз перерезал равнину; верх тут как раз на две разорвал стороны село, и оно слетело огородами к подовражно-

му ключу: ключ назывался — Серебряный Ключ, а верх — в старину называли сельчане Мертвым Верхом; не менее, как на версту, протянулся тот верх, переходя в верх песчаный, пересекая иные многие верхи, обрываясь иными оврагами; все полз да полз верх, по весне съедая много десятков саженей пашни; тут вот и пошаливали в старину, посередь дороги от Целебеева к Лихову; а село, что под верхом, называлось — Грачиха; бедное село: не то, что Целебеево; и не железом домишки здесь крыли, — соломой; своя тут жизнь, иная, не целебеевская, и мужики, и бабы здесь иные, и однодворцев здесь нет, а мещане так перевелись все: село занимали два только рода — Фокины да Алехины; столько их расплодилось в Грачихе, что прочие взяли да и перемерли, — вывелись, можно сказать; Фокины были, что называется, дылды: дылда к дылде — да и на руку Фокины были нечисты, и попивали тоже; Алехины не Фокины: пили меньше, и на руку были хотя и не вовсе чисты, но все же чище Фокиных; да вот только, почитай, дурная болезнь промеж них завелась; а, впрочем, жили Алехины, как люди живут; и попик был свой тут, и все тут свое было, особое.

Многое можно бы рассказать про село, да так, оно, как-то — зря рассказывать, потому что дорога на Лихов шла, минуя село: не скажи проезжему, что, дескать, село тут поблизости — село: проезжий минует верх, так-таки ничего не заметив — усом не поведет проезжий: никакого ему дела до Алехиных нет, ни до попика. Только серебряный шпиц протянется над равниной в тумане промеж двух пологих горбов; протянется, — и нет его; как протянулся, так и пропал: в тумане.

Где обрывалась дорога к Мертвому Верху глыбами желтого лесса, и где из тумана уже едва-едва мутнел темный шпиц, по дождем размытой дороге спускался столяр Кудеяров; он шел в заново сшитом зипуне, но на босу ногу; прилипчивая грязь и хлюпала, и чмокала у него между пальцев, будто гороховый кисель, замешанный на настое из овса, или как свиное месиво; сапоги же столяр снял, да повесил на палке, перекинутой через плечо (новые сапоги были); там еще болтался дорожный его узелок. Долго столяр пробирался меж кусточков; шел меж кочек, лесочков; задумывался у полян; он тащился к Лихову городу; изморось дышала на него своей пылью: вокруг изморось крутилась — все пространство от Лихова до Целебеева, казалось, плясало в слезливом ветре; кустики всхлипывали, плясали; докучные стебли плясали тоже; плясала рожь; а шустрая, легкая рябь суетливо ёрзала на поверхности холодных, спокойных, коричневых луж. И тащился столяр через лужи, кусты, сквозь усатую рожь, а его хворое, жалобное лицо хворо и жалобно свесилось над дорогой, как у дятла, носом; картуз же закрыл глаза, отчего слепое стало лицо: видел, не видел ли он, что творилось окрест? А окрест — мразь да грязь: плясал дождик, на лужах лопались пузыри — ничего себе: столяр месил грязь.

Смотрит столяр, — а уж в Мертвом в Верхе его поджидает Абрам; рыжий перекинул ранец за плечи, в дождик поганку над кудластой своей головой заломил — нищий сидит-посидит на камне, посвистит в ветер: столяра поджидает; нищему дождь нипочем: день Духов — на сердце спокойно; а там — сейся дождь, окрестность — росой обливайся, и вы, туманы, клубитесь — клокочите, дождями, вы! Где-где сердце обрящет упокоение,

коли упокоения ему не будет и в Духов день? Густо гудит в ветер Абрам, ударяя по луже палкой: «Девицы-красавицы, светел теремок; гостя ждите, пейте пиво да медок. Путничек желанный не далек»... Вода стекает со оловянного голубинина клюва... Кругом раскричались мокрые грачи...

Смотрит нищий, Абрам, — показался столяр и спускается с верха; нос поднял Митрий, — под верхом поджидает его подорожный: вместе идти им в Лихов — одна дорога, одна забота, одно дело, одна жизнь — и вечная бесконечная жизнь; улыбнулись друг другу; как повстречались, так и пошли; вверх пошли; а и крут Мертвый Верх, и склизок: упадешь — перемажешься грязью: ничего — Божье все: небо, земля, звезды далекие, тучи, люди — и грязь; и она — Божья. Не как иные какие, чей норов открыт всем, чьи поступки ничем незапятнаны, просто и открыто совершают свои дела: но, как черные воры, как волки, пробираются оба по окольным тропам вот уж сколько дней, недель, месяцев; чтобы никто не видел, как соединили пути свои они, вот и нынче тайком вышли оба из-под крова людского: из Грачихи оврагом шел нищий; и целый крюк дал столяр, чтобы злое, соседское око не рассмотрело, по какой дороге в путь он пустился.

— Што, друг, измок, сидючи! Долго ждал — заждался?

— Ничего, Митрий Мироныч, ента не значит; небось, и табе приключилось идти маненько кривенько; небось с кочетом встал?..

— Для духовного дела дашь и не такого крюку; пройти очень даже приятно по местности земли, — потянул носом Митрий, выбираясь из оврага, откуда опять раскидались пространства — раски-

дались на много десятков верст; повел носом, дозирая вокруг; и будто от этого взора озлился ветер; еще пуще забил по овсам да по лужам озлившийся ветер; бешеней дождливая заметалась мразь; упали тучи, и опрокинулся кустик; опрокинулся другой, опрокинулся третий: пошло мелколесье; заёрзала по нему дорога; и опять пространства; и опять прободал там шпиц в свинцовую мглу; прободал, и пропал.

Нищий идет, — постукивает посохом; хорошо ходить так; идешь и не знаешь, что осталось у тебя за плечами; идешь и не знаешь, что ждет впереди: за плечами — куча избенок; и впереди — куча избенок; за плечами — города, реки, губернии, и море холодное, и Соловки; впереди — те же города, и те же реки, и Киев город; сидел, там, в избе, меж четырех стен (коли переночевать пустили тебя), между лавок, бабы, ребят, кур, прусаков и клопов; сидел и таился, либо клянчил под окнами; как сидел, так и будешь сидеть, по мужицкой милости — и та же заёрзает баба: и облепят те же ребята, клопы. А вот тут ни ребят, ни клопов, — дух холодный и вольный на тебя дышит: дышит он, где хочет, откуда приходит, куда уходит, не ведают люди; только в полях надышишься духом, и, как дух, пойдешь, куда хочешь; и уже ничего не будет: ты пойдешь по морям, по земле подсолнечной — в мир ты уйдешь: сиречь, духовным станешь; оттого духово дело и есть странствие, то есть, безделье святое: шатайся в полях; кабы все шатались — одним надышались бы духом, одною душою бы стали: дух же един ризою своею землю одел. Только, видно, не так оно: от одного полевого дыханья таинств не получалось; знает, видно, столяр Кудеяров, тайны какие нужны для преображения братий: нужен подвиг

духовный, дерзновение нужно великое; не прежде люди возвеселятся, и звери, и всякая птица небесная возвеселится не прежде, как самый тот дух человеческий лик приемлет.

Тут Абрам покосился на столяра: хворый, вот, — и нос, как у дятла, и все кашляет, а — тайны знает, все как есть столяру открыто: судьбы человеков, и то, почему восстает народ, и то, отчего в брюхе чимирь от рожденья заводится.

И Абрам заглянул в лицо столяру, загудел, сгибая персты у губ трижды: «В виде холубине»... Всякие речи духовные так начинались промеж братий согласия...

— В виде холубине, — повторил Абрам: — мы так полагам, што холубинину лику, отец, сподобится всякий, ежели бросит он имущество, малую бросит землицу, бросит бабу свою и пойдет бродить по Рассеюшке, воздухом надышится вольным: духовные стихи али моления, можно сказать, што плод духовный, индо дыхание уст, воздух приявших; и то есть таинство, которо люд прочь с места родного гонит; а тут землицу-то нашу обставили, матушку, рогатками, да проволокой обложили: сиди, мол, с своим тряпьем — нет раздолья тебе; сопсвенность, значит, тебе — твоя, а моя — мне; нешта сопсвенностью проживешь? Мое — тряпье, грязь, то ись; и сопсвенности, стало быть, нет никакой такой; с твово богатства брюхо выростишь, шутики за брюхо ухватятся — в тартары тарараровые тарарыкнешь: брюхом в землю войдешь; над тобой набузыкают землицы — лежи, загнивай; так, мы полагам? Народу-то невтерпеж заживо гнить; забастовками нонече народ себя на воздушное, можно сказать, питание сажает; посидят, посидят,— а и пойдут с флакам бродить; и таинства тут пойдут новые, и моления...

— Ну, это ты, брат Абрам, зря: хошь Столб ты и Верный, д'язычок твой неверный; сердце — золото, д'язычок — медный пятачок, — уставился на него столяр и подмигнул лицом, и дернул носом.

— Ну, так мы, иетта... Так оно, как-то того: мы — што: тебе знать: ты — голова... Мы, иетта, можно сказать, тово — не тово, опчее прочее такое, и все как есть, — растерялся нищий, запыхтел в бороду и как-то конфузливо причмокнул в грязь босою ногой. (Верный был Столб, стих распевал хорошо, хитрости хоть отбавляй, а насчет судеб и тайн был по сравнению с иными братиями простак простаком: как-то все у него не того — не мог обмозговать никак, што и как: оттого и с сицилистами знался, и со штундой тарабарил, и к бегунам летось ходил, а все же, чтобы кого из своих предать — на этот счет можно было на Абрама вполне положиться; Столб столбом, и язык под замок вовремя прятал.)

— А какой у нас день нонече? — спрашивал его Митрий, еще ниже надвинув картуз, так что из-под зипуна торчал кончик лишь носа да бороденка, а то будто и нет человека: зипун — на зипуне картуз, а из картуза — нос: так шел столяр, сгибаясь все ниже под хлеставшей изморосью. — День-то каков у нас?

— Духов...

— То-то, што Духов.

— А куда идем-то: смекай...

— На карапь, в странсвие.

— Смекай-ка: а к кому идем?

— К Ивану, к Огню, да к Аннушке Голубятне...

— То-то, к Огню, а Огонь-то чей?

— Духов.

— А голуби чьи?

— Божьи.

— То-то вот: ты и смекай: в сопсвенность свою идем, во владения наши, в церковь нашу — и в том тайна есть. Духовный наш путь в обитель некую обращатса: што воздух — дхнул, и нет его, воздуху; а вот как духовных дел святость во плотское естество претворятса, то, милый, и есть тайна. Естество наше — дух и есть; а сопсвенность ни от кого, как от Духа Свята... Естество, што коряга: обстругашь ты корягу; здесь рубанком, там фуганком — тяп, ляп, вот те и карапь.

— Вот тоже мебель, — с запинкой продолжал столяр и лицо его скроилось в строгую озабоченность выразить что-то, даже стало унылым, жалким, разводами какими-то все пошло. — То-то-тоже иммме... (столяр начинал заикаться, когда словом хотел приоткрыть чувства, его волновавшие; надо полагать, что от хворости заикался столяр).

— И ммме... мебель! — выпалил он, словно разорвавшийся снаряд, и из бледного стал просто свеклой какой-то, даже в пот бросило: — Аа... ана т-т-т-тоооже, — и приподнял палец, — вааажное, брат, дело... ты не смотри, што я ммме-мемебель поставляю; со смыслом, с ммолитвой, брат, с молитвой (уже он овладел своей мыслью) строгашь, иетта, песни такие себе распевашь — вот тоже — мебель: куда пойдет? По людям: ты с молитвой ее, а она тебе сослужит службу: вот тоже, купчик какой, али барин на нее сядет, позадуматся над правдой; так помогат молитва... Вот тоже и мебель... — Но он ничего не выразил, и опять ушел весь лицом: остался картуз, да зипун, да босы ноги, хлюпающие по грязи...

— Строить, брат, надо, строгать — дом Божий обстругивать; вот тоже: тут, брат, и мебель, и ба-

ба, и все: воскресение мертвых, брат, — в памяти, в духе перво-наперво будет: придут с нами покойнички полдничать, друг; так-то вот: особливо ежели сопсвенность их, покойничков, — тряпицу ли, али патрет, едак на столик поставить, да духом, духом их, духом — вот тоже. Чрез то воплощение, можно сказать, духа нашего в человеке; как мы человечком родится; а ты — про воздух: што воздух — дхнул: нет его, воздуху... Вот тоже... А мебель, оставь мебель... И мебель тоже, — тоооже! — растянул он.

Тихо лицо его выползло из зипуна, вовсе какое-то стало оно иное: так себе, белым оно, светлым стало: не бледным, не красным — стал столяр белым. А изморось хлестала пуще да пуще; а суетливо неслись дымные клоки с горизонта до горизонта: не было рати их ни конца, ни начала; пофыркивал с непогодой весело кустик, над дуплом своим опрокидывал ветвь; шелестела трава, когда и дождя не было; дождь и был, и не был: здесь был, а там не было дождя: но были пространства; и в пространствах скрывались, таились и вновь открывались пространства; и каждая точка вдали, как подходили к ней путники, становилась пространством; а Русь была — многое множество этих пространств, с десятками тысяч Грачих, с миллионами Фокиных да Алехиных, с попиками да грачами; возвышался Лихов, только здесь или там в ночь помаргивая керосиновым фонарем. И к Лихову подходили путники, к Лихову, а Лихова не было и помина на горизонте, и сказать нельзя было, где — Лихов; а он — был. Или и вовсе никакого Лихова не было, а так все только казалось и притом пустое такое, как вот лопух или репейник: ты погляди, вот — поле, и где-где в нем затерянная сухая метла; а пройди в туман — по-

гляди: и ты скажешь, что по полю-то человек злой за тобою погнался; вот — ракита: мимо пройди — погляди, и зызыкнет она на тебя.

— Так и враг человеческий — и он вот тоже, — продолжал столяр, — обмозгуй же ты, друг, што на кажный вещественный знак, одно слово, на плоцкое бытие — дхнет враг: и ее нет, плоцкой жизни, нет: духом прикинется враг — вот тоже: а ты (обмозгуй же ты, брат) ничего себе, плоцкую тварь зараждай; от сего и дух человечий лик примет, — от бабы, как есть, дитенышем зародится: дух духу, Абрамушка, рознь: то — дух, а то — враг; да и мы понимам, што про воздух, што ты про воздух раскидывашь; а еще раскинь, — нешто воздух, от которого вонят, — воздух?.. Вот тоже...

— А мы, Митрий Мироныч, и так понимам, мы — што: ничего мы супротив того...

— Подожди: человечка нашли: баба моя, Матрена, — хииитрая баба — иии!.. Во-во-вот кккак ааа... — тут опять поперхнулся столяр... — аа-кккк... аа-а-аа-... акрутит баба человечка, — тайна и исполнится: а до сего времени — нишкни.

— Лодырь, сказывал надысь ты, человечек-то тот — из господ, — насторожился Абрам, и глазенки его, казалось, попрыскивали лукавством. — Уж не тот ли паря, што в Гуголеве проживат? Так ведь его не возьмешь — бабой-то: сам, поди, бабой обзаведется и при том баронессиной внучкой...

— Ладно: пусть обзаводится; нешто денежки баронессины — малы деньги: вот тоже... Поклевать — поклюют голубки золотые зерна. Вестимо женитса: а с бабой моей иему... ннн... ннн... ооо-но-но-но-но-... ночевать, там уж как знай, а баба от него зачнет — вот те крест!

— А почто с ним, а не с иным каким, хошь бы, скажем с тобой, Митрий Мироныч? Чем ты не горазд — и лицом вышел, и духом! — приврал Абрам, потому что духом вышел столяр изрядно; а вот лицом, так, можно будет сказать, — не вышел: потому что какое же, спрошу я, лицо у столяра? И где его увидали? Не лицо — баранья обглоданная кость, и при том — пол-лица; лицо, положим, — лицо; а все, кажется, что пол-лица...

— Сссса-ссса-тар, я — стар; пойми, друг — да к вере духовной — в года я пришел; больно я плоть свою прежде поганил — вредно мне женское естество — не по мне: вот молиться — помогат; то стать иная — прозрение осенят о естестве, а што бы сам — нет: голубиное чадушко, — горько вздохнул Кудеяров, — не от семени моего, — от иного, чужого... А тот вот, лодырь-то, — Дарьяльский, што ли! — с ревнивою мрачностью прошипел столяр потемневшим лицом. — Ентова плоть духовна: как мебель прошлое лето у Граабеной справлял, в саду его и заприметил; вот тоже: духом, он духом на все — на травинку, на Катьку свою, на все — духом он исходит; по глазам вижу — наш: и иён все о тайнах, да иён из господ; не может обмозговать иён, кака така тайна: оттого, што учился — ум за разум зашел; а тайны нонече с нашим с братом, с мужиком: сердцем учуял иён, да видно — не по мозгам. А духу-то, хошь отбавляй... Вот думаю я, с Матреной-то мы не можем — вот тоже: дай-ка, гврю, бабе, гврю, своей, вас, гврю, с ним (ведь она, баба-то, тоже духом на все: все у нее такое духовное тело-то)... А она перво-наперво устыдилась, да потом попризадумалась; крепко о таю пору запала мысль: мы — молиться; вот и сошел на нас о таю пору дух (ей, как молилась: мне же сонное было ви-

дение); ну, грвю, чрез тебя, грвю, баба, великая, грвю, будет земле радость. Втапары и стал я оповещать братий наших: скоро, мол, — потерпите — скоро; а тут всякие знаменья начались; пошли сицилисты, затарабарил народ про вольность; странные по небу заходили тучи. Пугача помянули. Етта, друг, — цветики: ягодка, во какая, будет... тоже... Я вот — ух как!

— А на Катькины деньги понастроим мы кораблей, то ись, опчин, — на Катькины да еропегинскины деньги: штой-то, вот тоже, болезный какой сам-то купец стал; уж я с травушкой к Еропегихе засылал, — да не помогат: пуще, штой-то, хворость купца одолеват: со смерти-то самого к кому, как не к нам, потекут деньжищи; вот, можно сказать, во што воздух, то ись, дух, мы обращам: там — деньжищи, а там — мебель... Вот тоже...

И уже молчат, только легкий свевается дождь; только легкий взметается ветр; куст тощий пролепетал, и — ничего.

И уже прошли хутор: жирный осел человек там при дубовой роще; развел яблочный сад, да его и обнес крепкой оградой из нетесаного камня, как раз в том месте, где проселочная дорога подводила к шоссе; и потянулось шоссе, белым камнем перерезало овсяные, и иные какие поля — телеграфными зашагало столбами, полетело темною сетью проволок, и упало полосатым камнем, исчерченным цифрой, и упало кучами придорожных кремней; на камнях известкой тщетно чертили крест (растаскивали камень); загрохотали тележки, заскрипели обозы, пошли пешеходы, затанцевали навстречу подводы с ящиками вина, покрытыми брезентом; а сбоку чаще пошли хутора, прошли деревеньки; вот, даже село всплы-

ло в тумане с бугра и всплыл при нем одиноко стоявший дом среди изб и с железной крышей: то была казенная лавка; перед нею же, на столбе, — деревянный фонарь; утонул дом, утонуло село — туман занавесил. Тут, напротив, из мглы и выступил Лихов, когда путникам нашим стало казаться, что никакого Лихова нет: вот тогда-то он стал медленно рисоваться в тумане собором со многими скученными домами; а уже несколько в стороне стрелки блистали железнодорожной станции; поезд оттуда промычал уныло и тупо.

ЛЕПЕХА

— А жена, брат, твоя, — «тетеха»...

— Нет, какое там: больше того; с тетехой еще туды-сюды; не тетеха она — лепеха!..

Так однажды с пьяной компанией и с певичкой на коленях обозвал супругу свою мукомол Еропегин, когда пьянствовал он в губернском городе. Как «лепехой» он Феклу Матвеевну обозвал в присутствии самого предводителя дворянства, так прозвище это за ней и осталось: л е п е х а да л е п е х а; в Лихове скоро не иначе, как л е п е х о й прозвали Феклу Матвеевну не то, что знакомые ихние, но и мелкие лавочники, управляющий хутора, мельники и прочие, находившиеся в услужении.

И не то, чтобы она слишком дородна была: а вся как бы обвисла; шелковое ли лиловое платье наденет, подтянувшись корсетом, шоколадное ли — и живот и груди так из нее и прут: подбородок надуется, и откинется вся голова; а лицо нельзя назвать жирным лицом: одутловатое скорей, бледное; «недобрая полнота», — говорил Па-

вел Иваныч, врач: не раздобрела — опухла Фекла Матвеевна; и обручальное кольцо уже более года не могла стянуть с пальца: опухли и пальцы. Ну, подгуляли и губы: нижняя губа, скажем, отъехала от верхней ровно на полвершка; и на самом кончике губы — бородавка; это бы еще туды-сюды, а вот что от бородавки той завились колючие волосинки, этого вовсе не переносили многие, особенно мужеский пол и нежные девицы; однажды зашла с визитом Фекла Матвеевна к предводительше дворянства в Светлый Праздник; а предводителя сынишка (белокудрый мальчонок) возьми и скажи: «А с чего это, тетенька, у вас на лице земляничка растет?» Мамаша мальчишку тут же отправила в угол, только все же у мельничихи грустное стало лицо; и глаза стали грустные; тихие были глаза ее, серые: в них светилась покорная кротость. Нечего говорить, что на другой уже день лиховские визитеры говорили о земляничке наравне с погодой, христосуясь с барышнями. Только напрасно, — ей-ей напрасно — было ее обижать (не земляничку, конечно, а Феклу Матвеевну); правда, что зла никто не видывал от нее, а добра она делала много: в пользу вдов и старух; тут на Паншиной улице для старух был приют. И как только по Паншиной улице зацокают копыта еропегинских лошадей, в окнах промчится «Хведор», а за ним колыхаются тафтяные цветы, фуляр и фрукты на шляпке у Еропегихи, лицо старухи покажется в приютских окнах и хорошее пшамкает что-то такое: бывало, в праздничный день потекут старухи к Фекле Матвеевне — от Паншиной улицы к Ганшиной, где у Еропегиных был деревянный особняк о двух этажах, с фруктовым садом, конюшнями, кладовой, амбаром и даже

баней. Добрая была душа Фекла Матвеевна, и стыдно это мужу ее, Луке Силычу, над ней издеваться — правда, стыдно! Ну, какая она л е п е х а: разве у лепех такие бывают сердца: вы поглядите только на глаза!

Но глаз-то своей благоверной и не видел Лука Силыч; видел иное все прочее; оттого и л е п е х о й звал, оттого-то все бабился он на стороне, а то, срам сказать, заводил шашни и в дому у себя с прислугой (благо детишки ихние — сын-студент и дочь-гимназистка — обучались на стороне и даже лето у знакомых гостили. Ихние дети с убеждениями были: оттого и гостили на стороне). И нельзя было сказать, взглянувши на Луку Силыча, будто он — бабник; из себя высокий, сухой, с тонкими сжатыми губами, с короткими в скобку остриженными сединами, с небольшою седою бородкой; ходил в длиннополом черном кафтане, опираясь на палку (страдал он подагрой), в скромном картузе; и строго карими он посвёркивал из-под очков очами: вот тут и догадайся, что эти сурово сжатые и уже мертвые губы могли так шутить; а глаза эти, солидно спрятанные в очках, ой-ой как умели подмигивать да посверкивать. Можно сказать, что скромный и благолепный образ Луки Силыча выражал прекрасную душу супруги своей, а неказистый вид Феклы Матвеевны был ничем иным, как смрадной душонкой своего богатого мужа: словом, ежели бы самого вывернуть наизнанку (душой наружу) — сам бы стал Феклой Матвеевной; а коли иначе — Фекла бы Матвеевна в Луку Силыча превратилась всенепременно; оба были единого лика расколовшимися половинами; но что сей лик был обо двух головах и о четырех был ногах, что каждая половина, с позволения сказать, зажила самостоятельной жизнью — та-

кое обстоятельство нарушало правильность приведенного сравненья.

Обе половины откололись давно друг от друга и теперь глядели вовсе в разные стороны: одна половина зорко следила за работой более чем десяти мельниц, разбросанных по уезду, занималась коневодством и не пропускала ни одной сколько-нибудь смазливой юбки, другая же половина замкнулась в себе: странно как-то замкнулась — с опаской, с испугом, с ожесточением; глаз своих давно не подымала уже на мужа, и, грех сказать, всем могло показаться, будто лепеха довольна беспрерывными отлучками мужа по мельницам, ярмаркам и в уездный город, хотя и сама знала прекрасно лепеха, что не казенные только подряды влекут мужа в город О в ч и н н и к о в, но что влекут его и певички. И всякий раз по возвращении мужа опускала лепеха глаза, — а глаза-то ясные, искристые, чистые у нее были и не ей бы, — не ей бы — их опускать; но случились же такие обстоятельства в жизни Феклы Матвеевны, что приходилось глаза опускать даже перед таким мужем, как Лука Силыч; странно было бы полагать, чтобы столь дородная купчиха (да еще в придачу л е п е х а и не просто л е п е х а, а л е п е х а с з е м л я н и ч к о й на губе) предавалась любострастным утехам, хотя бы и с кучером: нет — иные были причины, смущавшие Феклу Матвеевну; два уже года — нет, позвольте: когда горела коноваловская свинарня? Поди — три уж года, как свинарня сгорела... Так вот: три уже года как перешла Фекла Матвеевна в согласие Голубя, да так перешла, что стала его опорой и покровительством; она сестер и братьев снабжала деньгами, она их в странствия отправляла к святым местам да к начетчикам, ежели требовался братьям начетчик; более того: с ны-

нешнего года, с той поры, как в согласие перешел со всем своим домом Какуринский, бывший семинарист, купчиха весьма даже крупную отпустила сумму на обзаведение такой машины, которая могла бы печатать воззвания к б р а т ь я м-р о с с и я н а м; и воззвания те подстрекали народ на восстанья против попов, да заодно уж против властей; машину у себя поставил семинарист и от времени до времени что-то на ней выстукивал: пачки листов потом отправляли куда-то вдаль (еще боялись в нашем уезде пускать листы); а на листах был крест: словом — катай-валяй по всем пунктам — да-с. Ничего-то не понимала тут Фекла Матвеевна, но семинарист настоял, а сам голова согласия, Митрий Миронович Кудеяров, проживающий в Целебееве, молчаливо сие попустил, так что можно было думать — с согласия его те листы отпечатал Какуринский. Но как же произошло такое обращенье лиховской миллионерши в секту, содержание которой было столь неопределенно и странно, что понять ее смысл в целом было нельзя, а что и было понятно, то диким казалось и страшным? А произошло это весьма просто; года четыре тому назад в птичницы поступила к ним девушка, Аннушкой звали: молодая была девушка (у окрестных помещиков она служила), бледная-бледная, и некрасивая: но вот было же что-то в лице ее, потому что однажды на птичник пожаловал Лука Силыч, ну — и само собою понятно, что от этого произошло: горько плакала Аннушка-Голубятня (я забыл сказать, что Лука Силыч перед тем, как пожаловать к Аннушке, все шутливо дразнил ее голубятней на птичнике; а уж кого как сам окрестит: так до гроба за ним и пойдет прозвище самого), — ну: плакала она, плакала, пока к ней не пришла на птичник сама лепеха — утешать: лепеха взяла и утеши-

ла; с той поры они и подружились, а в скором времени лепехе открылась Аннушка, — в какое она перешла согласие: скучная жизнь, дивные речи Аннушки-Голубятни про целебеевского столяра и про то, как нестыдливо в согласии, сладко молиться, все это — сделало свое дело: под видом починки мебели столяр предстал пред лепехой, а уж как на кого глаз направит столяр, кончено, — не выйдет тот из-под власти его; словом, Фекла Матвеевна после только не мужнина жена — столяровская богомолица стала; книжечки у ней завелись: сама она некие переписала молитвы; потом, по ночам, ризы все вставала она вышивать, обзавелась и сосудами тоже — да вот, как бы не забыть: вскоре после того сменили ночного сторожа Еропегина, а на место его появился Иван, с красной бородой детинище, с красными веснушками и почти что с красными глазами: «н е ч е л о в е к, а — о г о н ь», сказал про него Лука Силыч, — ну и пошло прозвище за оболтусом: Иван Огонь. И оказалось, что Огонь тот Кудеяровым столяром послан: так, мало-помалу, прежние слуги перевелись, а заместо них появились сектанты из деревень подгородних; стал еропегинский дом — голубятник (к тому времени более двухсот г о л у б е й поразвел столяр, хоть и таился сам он от многих, а в Целебееве так вовсе не совратил Митрий никого, но таился, разве что рябая баба голубихой его слыла). Так занесли в Лихов новую веру, и она пошла гулять по Лихову, как моровое поветрие; знай, катает-валяет себе: оказались сектанты в Лихове — мало, правда, но все же число их росло: перешли некоторые семьи мещан, перешел Какуринский; «голуби» шептались, будто две барышни тоже по-ихнему принялись молиться; но какие такие барышни —

этого-то и не знали; ей-Богу, вы ахнете, и еще донесете, пожалуй, если признаться вам откровенно, что старушенция из приюта целиком зашамкала слова новых молитв, откололась от правой веры, затаскалась молиться к Фекле Матвеевне в банное помещение в дни, когда с а м уезжал в Овчинников — кутить; и всех принимала лепеха потаенно, передавая всем писульки от столяра, потому что вся дворня, если не считать Хведора, была с в о я, б р а т с к а я: а Хведор — разве мог что увидеть Хведор, кроме бутылки с водкой? Сам-то уедет — он за бутыль; ну, и не видел ничего Хведор; среди дворни оказались старые голубихи, бородатые голуби, ясноочитые, гулькующие голубки; только жутко вот становилось, как возвращался Лука Силыч; бывало, насупится он, а сама вся поникнет, обрюзгнет и — губы развесит: все боялась она, что дойдет до него слух — и, ух, как этого она боялась: но сам ничего не знал; правда, смекал подчас, будто дом его и вовсе переменился: те же, казалось, стены, а нет — не те; та же пузатая до нелепости, золоченая мебель; но и мебель не та: точно оскалится на него мебель; войдет невзначай в комнату, и комната та, как застигнутая врасплох купальщица, будто силится что-то она утаить от его хозяйского взора, как старалась давно утаить Фекла Матвеевна взор свой от мужнина взора: смекал подчас — жутко и холодно что-то станет ему, взглянет на стены — ничего себе стены, в богатых обоях, с портретами; а все же поморщится, на жену посмотрит — л е п е х а какая-то: что-то смекнет и уедет прочь. А л е п е х е только того и надо; стены ей милы, как мил ей весь дом, изо дня в день преображаемый ее молитвой. И если б Лука Силыч умел разговаривать с ней, да сказал бы, как по ночам в углах за-

велось стрекотанье, тетереканье, пшиканье, не поверила бы Фекла Матвеевна ничему, а сказала бы: «завелись тараканы».

В муже беспокоило ее не то: вот, что он все худел, да покашливать стал — это действительно взволновало ее не на шутку: зелий тайком подливала ему в чай, зелий, присланный столяром; но будто в насмешку над целебным зельем, в насмешку ей, Фекле Матвеевне, быстро стал худеть и худеть Еропегин; и все его что-то тянуло из дому: будто и вовсе не жил он теперь в Лихове; уедет — приедет здоровым; день, другой поживет — опять лицом сдал. Дивилась Фекла, что травушкой мужу она не могла оказать помощь.

ЛИХОВ

Ела, ела и съела-таки глаза прохожим сухая пыль, лиховская; а с утра Духова дня серое решето, наполненное водой, опустилось над городом; из решета протек дождь; скоро улицы Лихова превратились в кисель, и в нем таратайки, телеги, подводы, тройки, а еще пуще пешеходы забарахтались беспомощно; если еще в полях можно было койкак пробираться, то по улицам Лихова пробираться было нельзя никак; обитателям собрали точно назло всю грязь из окрестностей и эдак ее разварызгали по городу; но всего изумительнее, что эта грязь летом имела обыкновение просыхать всего в два часа; и вся, что ни есть, в пыль она обращалась; так обитатели богоспасаемого сего городка вели образ существования своего между двумя, так сказать, безднами: бездной пыли и бездной грязи; и все делились — на любителей грязи и любителей пыли — все без исклю-

чения; к первым принадлежали женатые люди, лавочники, мещане, производившие уйму кур, тряпок, детишек, соломы, банок, ящиков, опрокинутых вверх дном, выбрасывая свое, так сказать, производство на поверхность лиховской жизни, ибо как, спрошу я, вся эта уйма поместилась бы в одноэтажном домике о двух-трех окнах с забором на Ганшиной, Паншиной и Калошиной улицах? Куры рылись в городской пыли, или в городской соломе, а то и в городских лопухах и репьях, обильно произраставших под заборами и придававших оному городку, с позволения сказать, кокетливый вид; детишки, как бы это выразиться... Солома же ясно и просто, до очевидности просто, рассыпалась по городку, отчего в грязные, т. е. дождливые времена, некоторые части богоспасаемого города напоминали двор скотный (выражение б о г о с п а с а е м ы й применимо к городу Лихову, скорей, как риторическая форма для украшения; откровенно говоря, Лихов был город, неспасаемый, так сказать, никогда, никем и ничем: истребляемый, наоборот, желудочными болезнями, пожарами, пьянством, развратом и скукой). Остается сказать только о трех производствах грязной части лиховского населения: тряпках, банках и ящиках; ну, само собой разумеется, — первые покрывали заборы, приятно пестря взор; и можно было перебить вторые, входя на крыльцо любого домика, ибо они весьма докучливо преграждали вход; только перевернутые вверх дном ящики скромно ютились в лиховских садочках; ничему не споспешествовали перевернутые ящики. Таковы были жизненные продукты самой жизненной части городка — грязной; я говорю, ж и з н е н н о й ч а с т и, по весьма понятным причинам; эта часть градского народонаселения плодилась

весьма охотно, занималась торговлей, а то и сбытом хлеба, была жирнее прочей, т. е. пыльной, части; все красноречиво указывало на то, что именно отсюда выйдет спасение и укоренение во времени славного города Лихова.

Что же касается до прочей и весьма немногочисленной партии — пыльной, то ее составляли служащие правительственных учреждений (почты и телеграфа, Метелкинской железнодорожной ветви, сберегательной кассы), земцы, ветеринар, два агронома, две акушерки, врачи, агент земского страхования и еще кой-кто; эта часть народонаселения откровенно томилась и вздыхала; открывала летом она все настежь окна занимаемых помещений, отчего клубами в окна желтая врамывалась пыль и покрывала предметы первой и необходимой надобности (щетки, гребенки, зубочистки, книги) густым, легко стираемым, но еще легче возникаемым слоем песка; эту часть народонаселения откровенно покрыли пылью; оттого пыльной назвать можно было ее с успехом; еще и потому можно было ее назвать пыльной, что, выражаясь метафорически, вся она пылила табачным дымом, так что, если бы и стерла всю пыль в помещениях этой публики некая мудрая рука, помещения все же пылились бы дымом, а столы, полы и пуховики оказались бы в мятых окурках и в пятнах пепла; нечего добавлять, что грязная часть положением своим была и очень довольна, с надеждой взирая на будущее; часть же вторая причисляла себя к недовольным, к безвинно страдающим; но отделявшая их коренная черта все же была не та, а иная — а вот какая: храбрая, грязная часть доносила на пыльную; пыльная же не занималась доносами вовсе; в Лихове оттого состав ее быстро сменял-

ся; первая часть ко второй относилась, как зло к добру, и обратно; были такие, гордо и вольно которые возносились над всей жизнью Лихова и как бы по ту сторону стояли добра и зла, и, однако, здесь проживали и лето и зиму, но проживали они не на Ганшиной, Паншиной, не на Калошиных улицах, а на Дворянской и Царской, над грязной и пыльной возносясь частью двух-, а иногда и трехэтажными домами; к ним принадлежали немногие переселившиеся в Лихов помещики (для них в лиховской гостинице имелись всегда фрукты, французские вина, сыры и сласти), а также немногие миллионеры, вставшие к свету, из лиховской грязи восставшие; исключение составлял Еропегин, к свету хотя и восставший при миллионе и втором этаже своего деревянного флигелька, однако, в месте грязного своего оставшийся жития — на Ганшиной улице. Подобно тому, как мир души человеческой, невидимый в пространстве, громадное, как говорят, имеет стремленье отпечатлеться видимо при помощи знаков бренного своего естества, так точно вознесенное и преображенное сословие города Лихова отпечатлевалось на внешности оного города градским увеселительным садом, где хор трубачей усердно ревел марши в воскресный день, и отпечатывался также асфальтовым тротуаром с — ей-Богу! — с целыми с пятью электрическими фонарями; и тротуар, и фонари окаймляли громадное здание казенного винного завода, откуда тащились подводы с ящиками вина во все, как есть, села лиховского уезда. Сиявшая и преображавшая Лихов М о н о п о л ь я по вечерам собирала всю лиховскую аристократию; в то время, как пыльная часть в тихие, летние вечера в градской отправлялась сад, когда желтая заря издали в темь улыбалась от-

радно из-за пышных, пыльных груш, лучшие семьи грязной части высылали на асфальт казенного винного завода взрослых своих сынов и бледных дочерей в шелковых платочках, а то и в шляпках побродить в ликтрическом свете, поплевать на асфальт подсолнушками; сии два эдема отображали достойно преображение к свету славного русского городка.

В описываемый день трубачи одиноко в саду трубили свои марши, а вдоль казенного винного завода асфальт был совершенно пуст; никому не улыбалось приятно измокнуть под дождем, хотя бы в саду или даже на асфальте, да еще предварительно приклеиться калошами к липкой грязи, уйдя в нее до колен, и там, в грязи, свои оставить калоши. Все, кроме свиней да несчастных проезжих, сих прямо-таки страстотерпцев, сидели по домам; кто завалился по случаю праздника спать с четырех часов пополудни, а кто, сложив ручки на животе, садился к окну повертеть большим пальцем правой руки, вокруг большого же, но левой руки, пальца; сидел, вздыхал и поглядывал в мокрое, все точно грязными тряпками увешанное, небо, как оттуда барабанил по стеклам дождь, да как пролетала оттуда ворона, или, как свинья, уткнув морду в грязь, под окном замирала сладострастно, только вертелся хвостик ее, — чтоб потом вскинуть грязную свою морду, подышать и ее уткнуть снова в грязь. Многие так сидели под окнами, барабанили пальцами, молчали, икали, вздыхали, дремали, а все же сидели — сидели до бесконечности.

Не посидела на месте в тот день Фекла Матвеевна вовсе; орехи не щелкала она, не чесала спины особой, для такого случая заведенной, палкой; день-то был — Духов, а ее благоверный

вот два уж дня отлучился в уезд; и дел у нее потому было пропасть: во-первых, — надо было, чтоб Хведор напился (и Хведор уже напился); во-вторых, нужно, чтоб в помещении банном все приготовлено было к приему гостей; и провозились они с Аннушкой с Голубятней — утром сходили к обедне — это уж только для виду; из-под постели выдвинули потом тяжелый сундук; потаскали оттуда сосуды, длинные, до полу, из белого холста рубахи, кусок огромный голубого шелка, с на нем нашитым человечьим сердцем из красного бархата и с терзающим то сердце белым бисерным голубем (я с т р е б и н ы й у голубя вышел в том рукоделии клюв); тоже сосуды, два оловянных светильника, чашу, красный шелковый плат, лжицу и копие потаскали из сундука, в то время, как Иван Огонь наломал в еропегинском саду березовых прутьев и снес их в баню.

В барских комнатах возжигали лампады; только парадные комнаты одиноко скучали в стороне от всей хлопотни; скучал зал с пузатой золоченой зеленою мебелью и с пузатым зеркалом красного дерева, с ясным как зеркало паркетом; скучала гостиная, что в малиновый заткана шелк, что увешана и обложена мягкими коврами, на которых нагие юноши изображали охоту за вепрем; и столовая скучала тоже; пусто было здесь и уныло; только изредка раздавался шелковый шелест: и тогда проплывала здесь сама Фекла Матвеевна в шоколадном нескладном платье, выдаваясь вперед и животом, и грудями, и подбородком, и губой; быстро она по коврам прошамкивала платьем и пропшикивала по паркетным плитам со сложенными на животе руками, всплывая и уплывая в зеркале — плыла в свою половину, где, как раз наоборот, жизнь кипела ключом;

туфлями топотали, вавакали, бормотали там две ветхие днями приютские старушки с..., можно заметить, серого цвета лицами и с бледными, ушастыми чепчиками; и не слышно летала по коридору бледная — вся в белом — Аннушка-Голубятня бледно-белым летала бескровным нетопырем; летали белые ее босые ноги, и русая ее распущенная коса; еще в три часа дня от Паншиной улицы к Ганшиной, по буеракам, по лужам, по грязи, поплыли старухи и вдовы приюта и утопали в колдобинах: только серые над главами спины их колыхались, и плавали в лужах; только платки, крылья вороньи, трепались по ветру. Скоро стая старух оживленно захрякали у ворот еропегинского дома, угрожая зонтами и палками свинье, напиравшей на них своим пятачком из лужи; но ворота отворил рябой мужик, покрытый волосами, с до ужаса красными веснушками; воссипел он угрюмо, что, дескать, куда пожаловали они в такую рань; после чего ворота захлопнулись, и старушечья стая, преследуемая свиньей, недовольно запшамкала обратно: с улицы Ганшиной на улицу Паншину.

Ох, с чего это погнали старух — ей-Богу! Разве в самом в кабинете Луки Силыча не расселся Какуринский еще с двух часов дня: он да два мещанина; все трое закопались в принесенных листах, деловито пролаяли их голоса, зашептались страницы (а на листах черный был крест); чмокали чай и довольно-таки нагло погрохатывали смехом; козлиная бороденка семинариста плясала в воздухе, когда, согнувши в воздухе перст, он держал совет о ближайших целях согласия, а оба мещанина, башмачник и медник (чья вывеска без обозначения рода занятий, а прямо-таки «Сухоруков», красовалась над городским базаром, и все уже

знали, что Сухоруков лудит кастрюли), — а оба мещанина, закручивая цигарки, поддакивали Какуринскому: слова вертелись вокруг того, что примкнуть братьям-голубям к забастовщикам пора давно — пора с сицилистами идти рука об руку, не открываясь до сроку сицилистам, и даже наоборот: направляя, где нужно, самих сицилистов этих — да-с: потому что и сицилисты, хотя правду видят, да только под одним своим носом; а прочее все у сицилистов — дрянь. Так обсуждали лиховские мещане свою, можно сказать, лиховскую политическую платформу, собираясь лесть насластить и сицилистам, и столяру; в том же, что столяру все ведомо, хоть и прост он по виду, мещане не сомневались, как были уверены они и в том, что оба — «за с л а б о д у».

И уже смеркалось. В небольшой комнате, где стояла постель невероятных размеров, с еще более невероятных размеров перинами и пуховыми подушками, грузно склонилась Фекла Матвеевна на колени, с книжечкой в руках, под старинным ликом, озаренным лампадой; грузная потная купчиха шептала дивные слова новых молитв, что, как старые песни, хватают за сердце и несутся над раздольем русской земли. И не знаешь, откуда такие слова зародились, — ведь не Фокин же, не Алехин слагал те слова: сами слова завелись благоуханных тех молитв, от отрадных и хладных духа дыханий, от рыданий человечьего сердца, от увечий согбенной души — дыши, купчиха, молитвами теми! И всеми своими помыслами уплывешь ты куда-то: и Фекла Матвеевна дышала теми молитвами, и комната поплыла перед ней; еще пуще купчиха балдела и бормотала, грузно ударяясь лбом о пол среди перин и пуховиков.

Уже вовсе стемнело, а дождь бился о стены, о стекла, о забор еропегинского дома, и отчаянно рвалась у забора желтая стая курослепов, и отчаянно бился лопух о деревянные ступени еропегинского крыльца; там, в глубине Ганшиной улицы, будто сам собою зажегся фонарь; и — там — в грязь из окон жалкие пролились огни; мутнело, мрачнело, синело темью над заборами небо все больше и все грознее: спускалось, подкрадывалось к домам и лихо в лиховский наливалось оно воздух, и прилипало к окнам, срывая ставни.

Тогда, когда весь уже воздух отравила слезливая мгла, под крыльцом еропегинского дома стали два человека; промокшие, грязные, хмуро они рисовались во мгле: это и были Митрий с Абрамом; постояли еще немного, высморкались в руку, вздохнули, что-то пробормотали и, наконец, взошли на крыльцо.

В комнатах дверной колокольчик проклинькал тогда и жалобно, и едва слышно: но уже в доме засуетилось все как есть; по черным парадным комнатам пронеслась Аннушка со свечою в руке; в черных парадных комнатах скользнула она по поверхности зеркала — холодной, бесплодной — и утонула в прихожей.

ЛИК ГОЛУБИНИН

Аннушка глянула из-за цепи наружу: смотрит она — бесится там дождевая пыль: но в отсветах свечи ослепительным светом ударил в нее серебряный голубь, а над птицей мокрые свои кудри склонил человеческий лик; голос знакомый томным вошел в ее сердце, томным бархатом:

Девицы-красавицы —
Светел теремок!
Душеньки-подруженьки, —
Пейте пиво да медок!
Ждите гостя, ждите:
Гость тот не далек —
Из страны далекой
В терем ваш притек.

Из прихожей двери вели в зал да в Феклы Матвеевнины покои; из залы испуганно глянуло обвислое лицо с а м о й, со свечою в руке; из противоположной двери выставились две старухи (мещане же шептались за дверями); у всех вытянулись лица: дух Луки Силыча невидимо бился в изорванных свечами лоскутьях тьмы, угрожая бедою; но вот Аннушка приоткрыла дверь, тревожней заверещали старицы в темном провале двери; пуще шукнули за дверьми мещане, будто желтые листья, влекомые мглой, когда ветер сорвет их и затерзает в воздуха вздохах — там, за дверьми, их умиленные лица истаяли в улыбке; все склонились пред распахнувшейся дверью, когда нищий попрал порог, величаво пристукнув тяжелым посохом; прыснули темные кудри его из-под белой поганки; прыснули темные очи его из-под опухлых век; прыснула светом голубь-птица на пороге того дома: благодать снизошла в дом...

И когда Абрам протягивал братьям и сестрам заскорузлую свою, в тьме измокшую руку, радуясь, что покой и мир ожидает его после многих холодных верст, после многих бесплодных пространств, — там, за Абрамом, за птицей там голубем, — там, в безначальной тьме, еще ничего нельзя было разобрать, но уже что-то было: о н о топотало на ступеньках крыльца — как безначальная тьма, как безначальный покой; вот и о н о показа-

лось в прихожей: что-то хворое, жалкое повлеклось за нищим; хмуро вошло о н о, будто утаивая принесенную сладость в образе угрюмом — сам столяр строился из тьмы; он протянул свою хворую руку — бросилось его в упор лицо, но снилось им, что лица тут нет, а все только морщинки да смутные черточки; только из-за лица, как из бессмертных, зазвездных далей, не очи, — а теплый удар света вошел в их сладко вздыхающие груди...

Митрий Мироныч пожаловал в новых своих сапогах (это их-то он, кряхтя, натягивал на ноги: оттого и не сразу вошел вслед за нищим), обратился к ним общим поклоном; и жадно старухи увлекли его прочь ото всех, чтоб не рассеялся он, чтоб с молитвой он до вечера мог собраться — ревниво вели через сад, через хлюпающие лужи грязи: фонарь слепо мигнул на дворе, потом он мигнул из-за яблонь: огонек постоял вдалеке, в глубине — у бани; и огонек погас: во тьме провалился столяр со старухами. С приходом столяра все разошлись: пора было сосредоточиться; одиноко сперва помолиться молитвой, отмыть свою душу от вседневной суеты. И опять по парадным комнатам прошуршала купчиха, просияла свеча — все померкло, ослепло, оглохло: мир отошел прочь, и во мгле рассеялись стены.

И опять зезенькал звоночек; в темных моргала покоях свеча; строились, возникли в свете стены; тень Луки Силыча жалобно билась в углах; в прихожей стояли мещанки, мещане, градские мещаночки; простаивали в прихожей, пропадали, уведенные чьей-то рукой в чей-то покой. А уж с Паншиной улицы к Ганшиной снова подплыли старухи — и ломились, и стучали зонтиками в ворота...

В отдельном флигельке, недалеко от ворот, где помещалась дворницкая, и в самой дворницкой, —

кипел самовар; за самоваром, вымытый уже и распаренный, сидел нищий; он лукаво подмигивал на мглу, потягивая из блюдечка китайскую влагу, — и говорил Ивану Огню, который угрюмо колупал пред Абрамом большой свой нос и тревожно посапывал:

— Что, братец, будешь и нонече вкруг бани гудеть колотушкой — чертей выгонять да с драконом бороться, когда в бане мы на молитву все встанем, — можно сказать? — добавил он, неизвестно что разумея этим «можно сказать».

А колотушка лежала на лавке; над колотушкой клонился Иван Огонь своим волчьим, чего-то раз навсегда перепуганным лицом; всего неприятнее в этом лице было вовсе не то, что оно — волчье, но то, что волчье это лицо внизу кончалось до ужаса красным клоком волос, и кончалось оно сверху — до ужаса красным вихром; был он в белой рубахе с красной под мышкой заплатой; неизвестно чего, но чего-то раз навсегда испугался Огонь; всего вероятней, его напугал столяр, показавши однажды на мглу и на хохот во мгле злого ветра; с той поры и открылось Огню, что черт — есть; душу свою Иван отдал, чтоб истребить эту пакость, в чем бы она, пакость, ни означалась; аки огнь поедающий, свирепо расхаживал по белу свету Иван, ратоборствуя с геенной; и неспроста, видно, столяр пристроил его ночным сторожем здесь, в этом доме. Злую силу видел Огонь и во мгле; как завидит он что, колотушкой взмахнет, колотушка зальется — колотушки той больно боялись бесы; только недавно что-то сам к Ивану дракон припожаловал, как светать уже стало; бился с драконом, бился Иван — сам не помнит, что было: только едва не подпалил дворницкой; так Огонь чуть-чуть не обратил и дом Еропегина, и усадьбу, и службы в геенское пламя.

В последнее время — шепнул ли кто, сам ли дошел — крепко стал призадумываться сторож над тем, что есть строгий хозяин его, Лука Силыч: не драконово порождение ль? Попризадумался, но молчал и еще более супился и без того насупленным он лицом (видно, недаром тот, кто посмотрит на ужас геенский, сам легкий отсвет геенны на лице своем носит; такой отсвет почил на Иване).

Все в нем возбуждало только страх или злость; и когда братия молилась, сладкие возгласы когда раздавались из бани, и вздохи, и смех, полный блаженства, и раскидистый рев пророчащего столяра, — тогда Иван крепкою злостью вскипал на врага рода людского, и, точно на бой ад и мглу вызывая, трещала, плясала, захлебывалась клокотаньем деревянной трели, и рвалась из рук, и бросалась на мглу Иванова колотушка, и трещал ногой по кустам, плясал ногами, шепотом захлебывался, и бросался, и рвался во мглу сам Иван; братия почитала Ивана великим подвижником: иные шушукались, что Ивана поглотит геенское пламя, что провалится в пламя Иван, охраняя сестер и братий; не пускали Ивана в баню: кто без него разогнал бы шутов и бесов, слетавших в ночь, угрожавших моленью и бденью?

Нынче был Духов день, и уж Иван собирался на бой, и провидел он беса, и точно заранее подбирал он площадную ругань, сплевывая на пол, между тем, как нищий Абрам беспечно распивал чай и никакая сила, казалось, не могла оторвать его от житейского этого дела: одному лишь Абраму разрешалось до полуночной трапезы разговляться чайком, ибо был Абрам человек полевой и вся его стать, прямо сказать, иная была, не братьина.

И Абрам распивал чай, духом возвеселившись, меж тем, как Иван, озлившись, одел полушубок, да

во мглу и пошел; и во мгле плодового сада, отделявшего баню от служб, кустик похрустывал, веточка наклонялась; что-то угрюмо сопело у пня: это Иван, ночной сторож, бродил, караулил, но не стучал колотушкой; еще только издали шелестела вражья мгла крыльями: бесы еще не спускались на землю: бой еще предстоял впереди, — и какой бой!

В бане была тишина; в бане была прохлада; баню не топили; но вся она, с наглухо закрытыми ставнями изнутри, сияла, светила, плавала в свете; посреди ее стоял стол, покрытый, как небо, бирюзовым атласом с красным нашитым посреди бархатным сердцем, терзаемым бисерным голубем; посреди стола стояла пустая чаша, накрытая платом; на чаше — лжица и копие; фрукты, цветы, просфоры украшали тот стол; и березовые, зеленые прутья украшали сырые стены; пред столом уж мерцали оловянные светильники; над оловянными светильниками сиял водруженный, тяжелый, серебряный голубь (когда дух осенял сестер и братий, голубь срывался с древка и летал, ворковал, порхал крылом, играл в помещении банном); в соседней комнате, что поменьше, одиноко стоял аналой, ничем не убранный; на аналое том книга; в белом весь одеяньи, с босыми ногами и с восковой над книгой зажженной свечой теперь, когда еще пусто все было, усердно... — нет, не молился! — исступленно падал на землю столяр — падал и вновь с полу взлетал, взлетал и падал — с протянутыми руками, с белоогненным, с до ужаса восхищенным лицом — и разве лицо это было? Нет, не лицо: как бледный, утренний туман, что, как свинец, густо давит окрестность, и потом тонким уже в солнце вьется паром, чтоб совершенно исчезнуть в ослепительном утреннем блеске, так просквозило, как пар, истончилось и, наконец, исчезло его лицо: так

в хворых и жалких чертах просквозило сначала, потом прочертило, влилось и расплавило светом ветхие эти черты иное, живое солнце, иная, живая молитва, иной, еще в мир несошедший, но уже грядущий в мир Лик — Лик Духов. А эти глаза? — глаз не было: было что-то, на что невозможно взглянуть, и не поддаться, не ахнуть восторгом, не закричать в ужасе; свет, исходивший из глаз, растопил лик, пролился на белые одежды одинокого молитвенника, который то падал, а то взлетал, простирая свои исступленные руки за братий, за Россию, за то, чтобы тайная радость России сбылась, чтобы так воплощение духа в плоть человеков свершилось, как того не мир, а он, столяр, хочет; и стонет, и кличет, и просит он — того, одного: ничего ему больше не надо...

Невыразимо, невыносимо в пустой бане с ослепительным этим виденьем; но немного еще ему одному молиться; уже близ бани, средь яблонь, у дома по грязи хлюпают ноги — и там, где плывет во тьме фонарёк, да и там, где нет фонарька, хлюпают к бане ноги: это братья и сестры тянутся теперь на молитву; жутко тукнула в чуткой тьме колотушка: в жуткой и чуткой тьме ночной сторож оповестил: близок враг; и уже спешат — спешат на молитву.

Тихо входят в предбанник то один, то другая: в предбаннике разуваются, в белые облекаются там одежды. Глядишь — то тот, то другая в самой уже бане: молятся вокруг стола, а в соседнюю комнату, где за аналоем стоит столяр, — ни ногой; да и он уже не тот: не сверкает лик столяра: белое снова на нем лицо, белым облачком обозначилось снова — вот и длинное мочало бороды, и нос вот, и все прочее, столяровское, никакое

иное, только будто сквозное оно все — лицо; и глаза сомкнуты; стоит, читает молитвы.

Уже ввалилась и старушенция в баню; будто смертеныши, маленькие старицы, гаденькие, сутулые, бородавочные, — а тоже в белом во всем: по стенам стали, бормочут себе молитвы; уже и Какуринский тут, и Сухоруков медник, и иной мещанин, и мещаночки, и с а м а, и еще кой-какие: сперва и не разберешь, кто да кто: не узнаешь: так свечи им лицо зажгли, так белые их одежды преобразили: ничего себе, молятся — наполнилась баня; и вот заперта освещенная баня с народом, будто и вовсе от мира она отрезана: здесь — мир новый, и все здесь иное, свое, голубиное; в ярких светильниках высоко поднятый голубь распростер надо всем свои крылья яркого серебра; шелк голубой, дорогой да крученый, под ним расстилается, и отражаётся, будто, в шелку том голубь-птица.

Почитает столяр, почитает, да и повернется, руки прострет над прибранным столом, над атласом, цветами, плодами, просфорами; и над чашей прострет он руки: пустая чаша; она наполнится в тот день, когда родится царь-голубь — дитё светлое; а пока святости нет, нет и вина в пустой чаше. И над братьями прострет две свои руки столяр: клонятся люди, падают на пол; в тот день, как придет к ним радость, не упадут они, но ясно раскрытыми очами в ясно открытые очи друг друга воззрят с прекрасной улыбкой. И над березками две свои руки прострет столяр: неподвижны березки; они и не прошелестят, не преклонятся; не так будет в тот день, как слетит с древка своего голубь, на древке распластанный: он опустится пером серебрёным, гугукнет пером серебрёным и сядет на те березки. И бе-

лым стенам уже простирает усталые свои руки столяр: исполнится час, и белые стены белою станут далью без конца и без края; так раздвинутся в оный день оного града стены; широко и вольготно заживет в новом царстве, в серебряном государстве, под голубыми под воздухами народ. В том же царстве и серебряном том государстве кто да кто воссияет на царство? — Дух. В том же нёбушке, над голубыми над воздухами кто да кто пролетит? — Гигантская пролетит голубиная птица с клювом; клюнет она алое мира сердце, и пурпуро́вою кровушкой, что зарей, оно изойдет: сердце. И в потолок уже вовсе бессильно простирает ладони молитвенник — глядите: потолка вовсе нет: будто пошел потолок иконописью: синькою там намазано небо с сусалом проставленными звездами. Почто же оно высоко-высоко: да и вовсе то новое небо, и видит его — столяр; только братия не видит: строго-настрого заказал им столяр по сторонам озираться, и они не видят уже ни потолка, ни стен — точно и нет никакой бани; уже они кружатся, взявшись за руки, вокруг столяра хороводом; тихо, строго и чинно ходят: не пляшут, — им плясать не дозволено; бедствие может великое приключиться от пляса: не пляшут, а ходят, хоровод водят, тихую такую песенку заводят:

Светел, ой светел, воздух холубой,
В воздухе том светел дух дорогой.

Так себе — поют...

А лица? Силы небесные, что за лица! Никто, никогда, нигде таких лиц не видал: не лица, а солнца; еще за час до того безобразные, грязные, скотские у них были лица, но теперь эти лица на все струят чистую, как снег, и как солнце,

ясную свою прохладу: а глаза — глаза опущены; воздух же — не воздух, а просто радуга; не молитва, — а переливы радуги воздушной.

Так себе — поют, хоровод водят:

Светел, ой светел, воздух холубой!..
В воздухе том светел дух дорогой.

А между ними тихохонько в том, в золотом, в голубом в воздухе поворачивается с чашечкой масла молитвенник: два перста в масло опустит и начертание на лбу у кого-нибудь проведет; тот поднимет на него очи, та исподлобья взглянет — не теплом и не хладом, но силой и светом обольет и того и ту; уже вот тот, и уже та — и э т о, и э т о п р е с в е т л о е у ж е л и ц о — за столом; все теперь восседают за столом в радуге седмицветной, средь белой, райской земли, среди хвой и зеленого леса и под Фаворскими небесами; некий муж светлый, преломляя, раздает просфоры; и глотают из кубка (не из чаши вовсе) вино красное Каны галилейской; и нет будто вовсе времен и пространств, а вино, кровь, голубой воздух, да сладость; они не слышат, как там, за стенами, колотушка заливается трелью, и как огненный страж защищает дверь от дракона — для них нет того, что не с ними. С ними — блаженное успение и вечный покой. Серебряный голубок, оживший на древке, гулькает, ластится к ним, воркует: слетел с древка на стол: цапает коготками атлас и клюет изюминки . . . . .

. . . .

. . . . Измучился в борьбе, борода растрепалась, тукает колотушкой под дверью бани Иван, ночной сторож: страшно ему: «Пустите, ей — невмоготу мне борьба». Колотится в двери. И ему нет ответа: там, за дверьми, мертвая тишина;

разве не знает Иван, что уже и никого там нет? Если бы в сей час взломать дверь, да войти в баню, — грязные стены увидишь, да лавки, а еще, пожалуй, услышишь сверчка: а люди, свечи, цветы и светильники — вот скажи, где все это? Знать, вышли себе из бани каким потайным ходом, да и гуляют по небу, райский цвет собирают, беседуют с ангелом.

Посопел, посопел у бани Иван; и пошел он от бани прочь: пошел он спать в дворницкую...

Утром голубое все было, и небо, и воздух, и роса: как светало, поскрипывали ворота еропегинского дома; из ворот выходили зеленые, хмурые люди, безмолвно, безжизненно расходясь по домам; еще позднее алела над Лиховом зорька, отражаясь в утренних лужах, да на воле забытая свинья хрюкала и рылась в сыром бурьяне; да еще воротившийся Хведор, вдрызг пьяный, колотился под воротами, и потом покорно, спокойно, плавно улегся он в грязь. А когда и вовсе светло стало, так какая-то баба, с высоко задранной юпкой, смело шагала по колено в воде; и напротив еропегинского дома, где была вывеска «Портной Цизик-Айзик», в окне кривенького домика показалось еврейское, заспанное лицо.

ЛИХОВСКОЕ ЖИТЬЕ

Следующий день был день душный; потное пышно палило солнце; и пышные носились над Лиховом облака; и невылазная грязь, ничего себе: просыхала, с Божиею помощью; и городок уже, ничего себе: подсыхал; и отчаянный лиховец, заломив картуз набекрень, спешно бегал из лавки в лавку: покупал себе на базаре селедку,

банку, для чего-то тыкал перстом в прелый кочан кислой капусты и кому-то показывал грязный свой кукиш; и его затолкали бы на базаре иные прочие лиховцы и особенно лиховки, кабы сам он не норовил затолкать всякого до полусмерти; на базаре скрипели телеги; с подгородными крестьянками городские ругались мещанки; тут был, по народному выражению, и поп и клоп, то есть всякий тут был на базаре: и лиховец, и брюхатовец, и саратовец, и черномазый чмарец (черномазый народ проживал и в Чмари, и вокруг Чмари, хотя Чмарь была около семидесяти верст от Лихова — не более); черномазый чмарец расставлял колеса — колесо к колесу, — а целебеевский попик, о. Вукол, Бог весть для чего очутившийся в Лихове, те колеса щупал руками, торгуясь с чмарцем: но чмарец не уступал, и поп Вукол, подобрав свою рясу, уж пустился от чмарца в базарную толкотню, потея и вздыхая: «Ох, прости, Господи: вот уж подлинно ни стану, ни сану никакого тут уважения нет»... А чмарец, как ни в чем не бывало, ругался с брюхатовцем за свое колесо, и козлихинец на них едва не наехал телегой.

В лиховской гостинице земские пьянствовали с утра: еще вчера они понаехали из уезда свои промеж себя решать дела: приехали, да и запили с утра: там вон пьянствовали они, в двухэтажном доме, что огненными своими окнами уставился на базар, а сбоку, как раз над базаром и рядом с гостиницей, пылала красная вывеска с жирными, синими буквами: «Сухоруков»; и всё тут: большего и не ожидайте — чего же больше?

С лихорадочной быстротой сгорел этот день; с лихорадочной быстротой ночь напала на Лихов; ночью вернулся в свой дом Еропегин, Лука Си-

лыч; напился чаю в столовой; и опять почувствовал себя дурно: смотрит — не жена, а лепеха какая-то чашки перемывает там; выйдет в сад, — деревья шушукают: ой, недоброе что-то завелось в его доме; ходит за ним Фекла Матвеевна в страхе: ой, недоброе что-то под очками, в глазах, то есть, у мужа блеснуло: смотрит — не муж там: просто седой, сухой, чужой какой-то, и притом хворый, подагрик.

Скучно им, душно им, тяжко им вместе.

Скучная, душная, тяжкая ночь — ночь июньская; в садах стучат колотушки; с горизонтов помаргиванье да посверкиванье; изредка громыхает тележка, да раз там, где-то за небом, будто гири катали: гром, значит, был.

Красные, синие, серые, душные, грозные, ветряные над Лиховом совершаются дни, и исполняются вслед за ними воздушные, то слепые, а то грозного исполненные огня ночи; а столяр живет-поживет, не выходит из Лихова; то проберется тайком к Еропегихе, травушки принесет ей, то препирается насчет текстов с Сухоруковым с медником; то сберет мещан у Какуринских: бумаги какие-то там читают (да: раз на заборе повисло с утра объявленье с черным крестом о том, чтоб работы во имя духа бросал бы народ, господам бы не повиновался; снял урядник — прочел, да и в карман запрятал; так в народ не пошло объявленье); великие приближались события: и уже братия знала, что дух голубинин человечий приемлет лик, зарождается, то ись, от бабы... Уже давно не видать Абрама в Лихове; еще неделю тому назад он пошел по полям; а столяр все живет-поживет, — не выходит: наконец, собрался — пора: Матрена, небось, давно на «слаботе» молодчика окрутила. «Небось, ноче-

вать к ней молодчик ходит!» — думает про себя Кудеяров, усмехается в бороду: хитрый столяр: он нарочно ее там оставил, в Целебееве; работники постругают, да и уйдут: вечер Матрена одна; а под окнами — тот, Дарьяльский, что ли...

— Они, чай, давно принялись за дело: пора по домам.

Вот и Лихов за ним; обернись — только пыльная мгла на том месте, где Лихов; будто никакого такого не бывало Лихова.

— Вот тоже — Лихов! — усмехается столяр; он свертывает с шоссе, огибает хутор жирного человека: от бугра — к бугру, с овражка — на холмик; дальше — все дальше. И уже проходит Мертвый Верх.

Мертвый Верх пораспахали Фокины да Алехины; теперь — вокруг пашня; последний Алехин последнюю изъезживает полоску.

И уже за плечами последний Алехин. И там, в синей тьме, из ночного, из темного тока, с востока, над Целебеевым появилась темненькая фигурка, но, казалось, что она — далеко, что не скоро она дойдет до села.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВСПОМНИЛ ГУГОЛЕВО!

— Да, да, да! (в лунном луче перед ним ржавая блеснула вода)... Уже ночь, скорее в Гуголево... (он перепрыгнул канаву: день, утро, вечер отдавала там гнилью вода). Не ровен час... и вы меня не смущайте, темные мои, мои века проклятые мысли! (сзади глядел на него, не мигая, зеленый глаз: то светляк).

— На село не пойду, в Божий храм более не войду и в глаза встречных баб не буду заглядывать... (грозные его обступили с одного бока сосны: шуршался орешник с другого с боку — с левого)... Знаю, что только ты, Катя, моя жизнь, и «да воскреснет Бог»... (папоротники, сырые, злые, омочили колено)... Ты прогони беса: ты отжени беса (он зашагал над канавкой, то пропадая в тени, то в белом белея изорванном меж стволами дыме, светлом и месячном)... Катя, родная!

Так шептал Дарьяльский, а под ногами низкорослый куст отшептывался от тоскливого, от бешеного его дыханья... Была ночь, а парило, как в Троицыну ночь возвращался Дарьяльский из Целебеева по лесной тропе, вдоль канавы лесной.

— Опять мнé ты заглянула в душу, злая тайна! Опять глядишь ты на меня из темного про-

шлого... (кругом светляки, светляки проницали темь)... С детства за мной, с колыбели моей вы, шорохи, гонитесь... (лес дремучий, лес бесконечный подбирался к Целебееву, к самому, двумя охватывая крылами село; и далее он тянулся, далее)...

— Еще я пугался с первых мгновений жизни; мой упирался взор в темноту еще с первых дней детских; с первых еще детских дней сладкая песня, но и песня насмешливая, ты мне и на заре звучала, и во тьме... (будто просвет блеснул где в лесу — но нет — нет: Бог весть где кончался за Гуголевым лес: казенный был лес)...

— И все я ждал: и вот из тьмы обозначились люди; и все я ждал, что приблизится ко мне из тьмы страшный, но томный, вдаль зовущий...

Прохрустела ветка, прошла полянка: однажды, говорят, на пне целебеевцы видели, в лунном здесь луче, бритого каторжника мертвый лик: лес бывал верным приютом каторжан.

— Я ждал, я звал: но никто не приходил; я рос, мужал: и никто не приходил; я звал, я прислушивался — к шелесту деревьев: и понимал; но когда о том шелесте я говорил, то никто меня не понимал; а шелест, как и я кого-то, меня звал — и неведомым сладким плачем над моей кто-то изрыдался жизнью — о чем был плач, о чем? Сейчас в деревах — тот же плач: и, чу, будто дальние песни... (вдали где-то отозвалась унывающая песнь полуночных парней, в ночи утопающая)...

— Скорей в Гуголево: лес да лес: сколько раз подвывала в лесу волчиха... Катя, родная, — в теплой своей, Катя, постельке ты, обо мне вспомни... (сколько раз подвывала в лесу волчиха, а зимой вместе с морозом здесь медведь подступал к селу, задирал лошадей и отступал в чащу)...

И змеей подколодной невольный страх развился из груди Дарьяльского всеми происшествиями дня, теперь углубленными в ночи, будто сердце змеей жалил, и сердце теперь останавливалось в груди: сердце.

Подобно путнику, тьмой окруженному стволов, кустов, лесов, и лесных болот, обдувающих тумана ледяным вздохом, чтоб войти в грудь того путника и огневицей есть потом его кровь, так что тщетно потом, шатаясь, ищет ту он лесную тропу, с которой давно уже сбился, — подобно такому путнику жизнь, свет и души благородство отдал Кате, невесте своей, Дарьяльский, ибо жизни она его стала стезей; и уже вот эта стезя — не стезя: в день, в час, в краткое, душу целующее мгновенье жизненная его стезя стала туманов стезей, что вот там и вот здесь поднимают свою хладную, в высь летящую длань: день, взгляд, миг рябой бабы, — и свет, и путь, и его души благородство обратились в лес, в ночь, в топь и в гнилое болото.

— Стой!.. Заблудился я! — прошептал Дарьяльский; один остановился посреди леса; ни тропы, ни канавки: пни, мхи, стволы, чирканье птицы, бой целебеевской колокольни, далекий да круглый, падающий в кусты, месяц. И никого, и ничего. И будто — звон: и опять ничего; и будто сон: глухо, глухо отзывом дальним пролетел сквозь чащу полуночи звон. Видит Дарьяльский, что над проклятым местом стоит он: над тем над самым, где лес вознесся сосновой щетиной и где обрывается лес сырым, на гнили растущим кустарником; над тем над самым, где канула летась живая в болотном окне душа; и над тем над самым местом стоит Дарьяльский теперь — стоит и прислушивается: «Катя, родная: люблю тебя... — ах,

вспомнил!» Стоит, и уже ему иное лицо светится; и ударилось светом в него лицо из-за куста: той бабы лицо, рябой, да и вовсе не бабьино то лицо: глядит меж кустов большой, желтый, в кустах пропадающий месяц.

— Катя, родная: только тебя я, Катя, люблю — тебя!

Стало в душе его странное воспоминанье, ужасным светом озаряя его жизнь: помнит ночь; он сидит за столом, обложенный книгами; завтра — экзамен, а полна голова его детских воспоминаний, и сонно уже голова наклонилась над книгой (с кочки на кочку бежит через куст, сапогом в лужу, в еловые иглы, в моховой, мягкий муравейник — бежит); помнит: прочитано уже все, но ничто еще не проявилось в сознании; нет-нет — за перегородкой зазвякает ножницами старая его мать, или иглой поцарапает атлас, а заползают у него по спине мурашки и разложатся мысли: милая мать, бедная, — как, бывало, роптала она на его бессонные ночи, на табак; он на нее сердился подчас, что ему она мешает работать, или что не вовремя иглой она оцарапает атлас — так вот: помнит — в ту ночь... (в ветре рвутся деревья, в ветре пошел на него куст; куст да куст; и уже его заливает болото)...

Ту ночь, помнит он, часов тиканье, да щекочущий шелест атласа: помнит, как над столом поднял голову и еще, помнит он, затвердил фразу: «В о л к по-славянски в л ъ к ъ». Видел открытое окно, и лунное видел на полу пятно — и вдруг вспомнил... (выбрался на дорогу: Катя, спаси, — уже не далеко до Гуголева: побежал вдоль поляны, среди ржи)... Дарьяльскому припомнилось то роковое мгновенье роковой той ночи, когда, отрываясь от книги, он открытое увидел окно, — при-

помнилось ему, что то окно занавесил: и он подошел к окну; и высунулся в окно — и... и ничего не помнил в то роковое мгновенье... (уже и вот Гуголево: прошел в каменные ворота: над воротами — львы; железная не заперта решетка)...

А когда он очнулся, то увидел склоненную мать: дрожащей рукой подносила мать ему капли, шептала мать над ним, вздыхала: «Я с тобой, мой сыночек; я, сыночек, закрыла окно: Бог с тобой!» Бедная его мать: навсегда она теперь успокоилась в тихой могилке; игла ее не скрипит и не лязгают ее ножницы! В тот ужасный миг стояла над ним мать: и не помнит вовсе Дарьяльский, отчего нашла на него минута забвения, как подошел он к окну: помнит, что мать слышала дикий его, за сердце хватающий крик, помнит он, что уже после обморока ему показалось, будто там, за окном, стояла какая-то женщина: да, рябое у нее было лицо; и безбровое — да: все это было тогда: но рябое это лицо кривилось гадкой такою улыбкой, и такой порок искривил то лицо, глянувшее на него бесстыдно, и вместе неизгладимо звавшее его на бесстыдство!.. Но отчего и тайна его заключалась в этом лице: разве его души тайна заключала грязный, порочный смысл, когда душа улыбалась светлым светом зари? Да, заря и озаряла, и марала лицо, что почудилось ему за окном... (уже он в аллеях старого парка)...

Но теперь-то уж вспомнил Дарьяльский лицо призрака, потому что это и было лицо рябой бабы, что ему повстречалась в церкви... (Душа, не заглядывай в бездны; здесь, за железной решеткой ты — среди гуголевских дубов)...

И вот он вспомнил — не заперты ворота; вернулся и запер; задвигая засов, он думал, что сторожу следовало бы сделать внушенье, чтобы сто-

рож на ночь ворота запирал, а то всякий так заберется в ограду; ищи его потом по кустам; как раз заберется в дом, да тебя и придушит, обокрав в придачу баронессу.

— Вспомнил я — и прочь, сгинь, пропади наважденье! (Ноги хрустят по дорожке, задушенной зеленью; и уже светает)... Спи же спокойно, милая Катя: никогда душа моя, Катя, не забудет тебя (затуманился луг, забелели колонны дома)... Там — вон там твое окошко, твое, занавешенное кисеей; здесь я стану под твоими под окнами; я охраню тебя от бедствий, от наваждений!..

Круто свернул Дарьяльский, очутившись перед утопающим в цветах флигельком: колокольчики у ног его закачались — белые, розовые; ключ повернулся, и злой дневной спертый воздух охватил его в закупоренных стенах флигелька.

— Спи, Катя, спи: я тебя не отдам злому року.

И уже спит: снятся ему нежные девичьи поцелуи, и вздох, и серебряные слезы: будто это роса на могилке матери; и будто сама это мать: а то будто это сестра, друг, невеста...

Уже на дворе был слезливый день.

КАТЯ

Двухсветная зала блистала утренним светом; утренний свет был серый и пасмурный свет; толстые стебли качались в окне рициния под дождем; они обливались и хрусталем, и серебром; мутные струйки несли в окнах красный песок дорожек.

Так встретило Гуголево Духов хмурый день.

В двухсветной зале ходил и брюзжал лакей, накрывая на стол промеж двух белых колонн с отставшей штукатуркой; колонны разделяли залу

как бы на две комнаты: одна половина служила столовой; в ней не было ничего замечательного: вокруг стола стояли венские стулья; пришел лакей, Евсеич; чистую накрыл скатерть; ворча, расставил чайный прибор и, ворча, отворил дверь на обвитую хмелем террасу, образовавшую навес, из-под которого виднелась лужайка и клумба с безголовым нагим юношей, склоненным на камне и подымавшим свой желтый, поросший плесенью локоть.

В другой половине залы, в гостиной, стояла Катенька Гуголева, баронессина внучка, склонясь на рояль, и рассеянно оглядывала старую, кое-где с потемневшей позолотой мебель, обшитую красным сафьяном.

Здесь висели портреты; здесь года гарцевал генерал с треуголкой в руках на большом темном, кое-где треснувшем полотне; и года разрывалась у его ног бомба, и года изрыгала она вовсе уже не яркий огонь; но в пороховом дыму генерал улыбался года, и зеленый плюмаж треуголки плясал под ветром: бурно там совершалось сраженье под Лейпцигом и храбрый всадник, мчась на бой, улыбался, глядя на бомбу, изрыгавшую желтый огонь: так нельстивый художник в свободном творческом полете изобразил прадеда Кати — генерала Гуголева.

И иные здесь были портреты: екатерининская фрейлина с собачкой на подушке и с бриллиантовым шифром на плече, пейзаж с объясненьем в любви и с низко повисшей радугой, над которой Амур розовую пролил гирлянду; были и горы, каких нет в Гуголеве, и развалины замков, и прекрасно списанный ф р у к т — плоды творений какой-то голубоглазой персоны, кисейной, томной, чей обольстительный лик тут же грустил

со стены и чей нежный дневник сохранялся в шкапчике, на котором стояли амуры, пастушки, китайцы фарфоровые и франт; тут был и шкаф, резной, неизвестно откуда попавший; из пыльного стекла тускло мрачными — Флориан, Поп, Дидерот и отсыревшие корешки Эккартгаузена — «Ключ к объяснению тайн природы».

Катя стояла, склонясь над роялью с томиком Расина в руках; она воспитывалась на французских классиках.

Смотрите: над роялем там она запечатлелась в плотно охватывающем талью, синем, немного коротком платье, чуть вытянувшись вперед и едва сгорбившись — она будто маленькая, вовсе маленькая девочка! На ее лице утомленье; синие круги под глазами обозначились явственно; мысль ее — уже полетела к нему: он, он ее господин; и ему, ему отдала свое она детское сердце: ее детское сердце! Нет преступленья такого, которого бы нельзя было простить! Но как простить преступленье такое, которое ранит детское сердце? Детское сердце берегите — остановится детское сердце и ничто уже его не заставит биться, ничто. А оно едва бьется, Катино детское сердце; и уже черви давно подточили его: те черви — тоска тяжелая, вползшая в грудь незаметно; с той поры — все осталось по-старому с той поры, как полюбила она его; так же кормит она голубей, плутовато смеется ласточке; так же ее взор невинен и чист; глупенькой девочкой той же осталась Катенька; так же она не идет, а робко крадется — не то робко, не то шаловливо: но сядет вот за рояль — и волна какая грома проливается из-под ее восковых рук! Гром, грусть, страсть потрясали стены эти не раз, когда она за рояль садилась, с той поры,

как она — невеста: а ведь еще ребенок она; горе тому, кто нарушит ее покой!

Старая вчера изворчалась на милого бабка. Она милого побранила, попрекала и уличала, что милый не знатного роду, что напрасно с ним свою Катя связала судьбу; девочка, помнит, вскочила, бросила из-за стола бешеной пантерой салфетку, бабке пеняла, бабку ругала на удивленье Евсеичу; злой какой, ястребиный сумела метнуть на старушку глупая девочка взор; как сироткой потом просидела весь день в беседке, и сироткой как плакала она, не смеялась шалунье-ласточке и на гнездышко больше не любовалась, не улыбалась; спать ушла рано, а спала ли?

Синие нынче у нее под глазами круги; а поглядите вы на нее, и скажете, что только ленивую грацию да девичье только кокетство и показало ее движенье, с которым склонилась она на рояль; восковая рука разжалась, как воск, и томик Расина беззвучно скользнул на ковер.

Такая была Катя всегда: если глядит, то, как будто, и не глядит, а слышит — не слышит; а уж если она что знает, то вовсе как будто не знает она ничего: ровная — и всегда тихая, и с улыбкой: тихо с улыбкой по комнатам крадется, и точно свернется с улыбкой в кресле; бывала она за границей, много видела она людей: казалось, ей есть и о чем рассказать, и над чем пораздумать; но говорила ли Катя?

И трудно было решить, она думала ли когда-нибудь; подойдите же к ней, поговорите же с ней, и вы увидите, что у нее — тонкое в природу проникновенье, и что всякое искусство она и понимает, и любит; но попробуйте ей развивать свои мысли, или блистать дарованьем, или блистать знаньем и умом: уму не удивится — ум скользнет мимо

нее, а дарованье она примет, как должное, как подразумеваемое само собой, как то, без чего и жить невозможно; но на знанье ваше она только плечами пожмет, только над вами посмеется — и с кем же? С лакеем, с Евсеичем!

Умна ли Катя? Да, право, не знаю, — да нужно ли знать? Или она умней всех людей, или она дурочка вовсе? Много ли знает Катя наук? Ни одной. Она успевает ли в искусстве? Нимало. Так почему же не удостоивает вниманьем людей ученых и известных, но удостоила вниманьем Евсеича, ласточку или свою подругу глупую, Лёлю? Подите вот, разберите девичью душу!

Сегодня, ох, грозе быть! С утра бабушка сегодня нахмурится — бабушка нахмурится на все: на Евсеича, еще более она нахмурится на нее, на дрянную девчонку, а еще более она на ее нахмурится жениха; его не всегда чистые сапоги оглядывать будет брезгливо, на угловатые его поглядывать движенья она будет; он невзначай запоет своим и охрипшим, и громким голосом, который перепрыгивает у него через все верные ноты — ой, ой, ой, что начнется тогда! взором каким бабушка из лорнета уставится на Петра!

Слепой какой-то Петр, ничего Петр не замечает. А она, глупая девочка?.. Забьется, а потом остановится глупое ее сердечко, а потом вспыхнет она, а потом новую бабушке скажет едкость, обидность, колкость: все тут Петр поймет, все он тогда заметит: Петр, если весел, то не видит ничего, становится буйным и не совсем даже приличным; Петр, если весел, затвердит мудреную поэтическую фразу и на все только отвечает поэтической фразой, а при бабкиных понятьях о поэтических фразах и о приличиях молодых людей разве возможна такая небрежность?

Петр много думает — нет такого человека, который был бы умнее Петра; но ни с нею, ни с бабушкой об умных предметах не говорит Петр; только совсем непонятные вещи говорят они с другом, о жуке Аристофана и все о каком-то Вилламовице-Меллендорфе; прислушаешься, — будто сумасшедшие или какие заики: а они не сумасшедшие и не заики, а филологи и поэты: все говорят о Вилламовице-Меллендорфе и о каком-то Бругманне. Дрянная девчонка хорошо знает, что если бы кому объяснять каждое восклицанье о Вилламовице-Меллендорфе, которым обменивается Петр с другом, что оно, восклицанье, значит, — о Вилламовице вышла бы умная книга; хоть она, Катя, и совсем глупенькая, а, глупенькая, знает, что Петр умней всех людей, когда говорит о Вилламовице-Меллендорфе, и не им с бабушкой его понимать; а кто этот Вилламовиц, не знает Катя.

Так вот: как заметит Петр, что гордая бабка его всячески унижает — и его, и Вилламовица-Меллендорфа, на свое указывает богатство и знатность происхождения, или пускает намеки о корыстных видах Петра, о желанье его стать богатым и о том, что, кабы не он, попович, Катя была бы за князем Чиркизилари, Петр каблуком застучит, загрустит, замолчит, да и сподряд много дней прогрустит — окаменеет, стихнет; как выйдет у него что со старушкой — ей, Кате, приходится все выносить, — и мрачность Петра, и обидные бабкины намеки.

Вот и сегодня: сердце чует ее, — быть буре, быть; и какой буре! Как же Петр не поймет, что свои понятья у бабки о приличьи и что вся она, бабка, в отливающем от жизни прошлом и что князя Чиркизилари выше ставит она всех Вилламовицев и всех Бругманнов? Для чего же, чего не-

обдуманно ушел он с утра, для чего же, чего он весь день пропадал, никому ничего не сказав? А ведь два только дня с обрученья прошло их; хлопот сколько, и сколько невидимых уловок изобретала ее головка, чтоб состоялось обрученье; но вот и тут не подумал о ней Петр.

Много Петр о ней думал, но, видно, о Бругманне думал Петр еще больше; ну, сидел бы там с Бругманном у себя, а то в Целебеево ушел искать общества, и какого общества? С батюшкой ушел балагурить, ушел перешучиваться с попадьей; значит, у него поповская кровь? Нет, этого она не может думать, не хочет; нет, это все дурные мысли такие пришли, бабкины мысли: разве она не знает, что совсем особенный Петр? Нет, не подумает она вовсе, чтоб мог он и вино там, у батюшки, пить, знает хотя, наверное Катя знает, что Петр уже напивался не раз, как в роковой для нее вечер, в городе.

Проезжая в санях мимо трактира, видела она зимой однажды, как открылась дверь и пьяная компания художников с неприличными криками из освещенной высыпала передней; кто-то, ее увидев, погнался со смехом за ее санками и упал за санками в снег; но всего для нее ужасней, что (хотя всего на минуту) остановился на ней его, Петра, взгляд: он, Петр, тут был, и он, Петр, был пьян — воротник расстегнут и на затылке меховая шапка; он посмотрел на нее, но он ее не узнал: так был он пьян; сердце упало ее в ту минуту от страха, как бы не крикнул ей он что-нибудь такое, ужасно гадкое, что кричат нарумяненным женщинам с перьями на шляпах — ей, его Кате!

Но вовсе не на нее, молча смотрел он, когда смотрел на нее, а куда-то смотрел он в пространство, в метель он, в вой смотрел, в бурю; и уже

вот — в буре, в метели он утонул, но в душе у нее этот остался взгляд остеклевших, ужаснувшихся, но ужасно спокойных и совершенно пьяных его глаз. Она позабыла — как будто; но она, никогда она не забудет, что все мужчины — до одного — пьют; что даже он, Петр, ее Петр, пьет, как всякий иной, как последний развратник: о, детское сердце — глупое сердце: если пьет, как и все, другое все у него, как у тех, у всех, которые днем говорят умные вещи о Вилламовице-Меллендорфе, даже о Бругманне, а ночью сидят в ресторанах, пьют вино и потом все до одного отправляются в...

Тут Катя тряхнула головкой, и локоны густые ее перекинулись через плечо; но сдвинутая складка между тонких ее бровей, но на минуту сжавшийся, поцелуев просящий ротик, но высоко закинутая головка и точно выросший, легкий, строгий в легкости стан выразили какое-то странное, не детских лет упорство: так белоствольная березка, вдруг терзаемая порывом, неудержимо сорвется с тишины, и тонкие свои сети прострет умоляюще, и на миг расплачется, — но на миг: и чуть уже она трепещет, березка; не сказал бы никто, что бурный порыв прошел в ней и не бесследно замер: вон ее листики закрутились безудержно на дороге, а она? Зеленая, она будто вовсе теряла не их, бурей оборванных; лишь преждевременно засохшие те листья праздно будут шуршать под ногами случайного прохожего; и не узнает случайный прохожий, что тут была смерть, хотя бы одного только чувства, — но смерть; так и душа молодая; в чувствах, что в листьях, шумит душа молодая; тех чувств много, но и немало бурь; не топчите лист придорожный, никогда молодую душу не трогайте вы! Никогда, никогда не узнаете вы, где,

когда, почему совершается смерть в молодой душе!

На минуту вздрогнула Катя, и уже будто не она вздрогнула; склонилось в кудрях спокойно ее овальное, на лебединой шее лицо, сомкнулись ресницы, — и вот робко крадется к чайному она столу мимо фарфоровых пастушков, мимо фарфорового франта, мимо весело, несмотря на бомбу, гарцующего генерала, и уже просвещается вся она улыбкой, — но легкой ли улыбкой? — в сторону поглядывая баронессиной спальни, откуда явственно доносится плеск воды да запах туалетного уксуса; будто совсем уже весело следит она все же з е л е н ы м и т е п е р ь глазками, как одряхлевший, во всем в сером, лакей Евсеич свой беззубый прожевывает рот, расставляет чайное серебро, вспоминая коварство и хитрость экономки, которую все же перехитрил он; Евсеич бормочет ей, экономке, угрозы на случай, если б она, экономка, опять в барских появилась хоромах; а в окнах — сырость в окнах — дождь; и в окнах — Бог знает что и почему!

ЕВСЕИЧ

Евсеич!.. Где есть лакей, подобный ему: точь-в-точь лакей!

Вообразите себе лакея: времена уж не те; и лакей, можно сказать, с давних пор упраздняется вовсе; сошел лакей на нет; а если где еще он проживает, так, наверное, ему много лет; по теперешним временам одряхлел лакей, и коли придет вам охота настоящего завести лакея, так непременно ищите себе старика; всякий же, кто помоложе, тот, значит, уже не лакей, а вор, либо хам; если же

и не хам, то — знаете ли кто он? — он — независимый человек: усики там себе, либо бородку какую отпустит или по-американски усы обстрижет и величает себя «товарищем», а не то прямо «гражданином»; и, помяните мое слово, — году не проживет такой лакей: возьмет, да и сбежит служить в ресторан, либо в веселое питейное заведенье...

Что Евсеич не был ни хамом, ни вором, — всякий за это без риску мог поручиться; ну, а что касается его гражданства, то... «Евсеич, вы — гражданин?» — «Хе-хе-хе-с!» Вот и судите, какой это гражданин: ну, посмотрите же на этого гражданина, обсудите его гражданство: не гражданство, а подданство. Баронессин подданный он, и довольно об этом.

Гм, гм... Евсеичу много лет: давно перевалило за семьдесят; и подлинный он, весь подлинный: лакей лакеем. У подлинного у лакея серые бакены; пожалуй, и тут захотите перечить, указывая на совершенную бритость лакея (об усатых лакеях мы спорить не будем, потому что усатый лакей опять-таки не лакей); но совершенная бритость лакея уже лакейская вольность: бритый лакей — лакей второй сорт: подобает попу камилавка и генералу подобает так же эполет, как купцу — брюхо. Так же, а пожалуй, и более того, всего более, подобает бакен лакею, и вовсе не хочу я сказать, чтобы большой или густой, а так себе, скромный бакен: такой бакен у Евсеича был.

Еще подобает лакею бриться, — и не Бог весть как часто, носить не вовсе чистый галстук, но галстук белый; а всего более подобает ему носить белые вязаные перчатки, изрядно подернутые желтизной; как вам сказать, нюхательный табак, пожалуй, к лицу лакею, как ему к лицу грубое с экономкой обращение, а за отсутствием такой

персоны подобает в своей в лакейской лакею бренчать на струне, или с кучером играть в шашки. И Евсеич не часто брился; не вовсе чистый он носил галстук, перчатки его были всегда подернуты желтизной пыли и еще более желтизной нюхательного табаку; попеременно он выживал за экономкой экономку и успокоился только тогда, когда последняя экономка последнее потеряла терпенье и была переведена на птичий двор; тогда в лакейской с особенным Евсеич усердьем заиграл в шашки с почтенного вида кучером, пройдохой из пройдох.

Тоже насчет одежды: всякая у лакеев одежда — фрак черный, фрак синий; но только серая одежда лакея славит, равно отличая его и от хама, и от гражданина: Евсеич ходил во всем в сером.

Словом, ежели б всякий в воображенье своем вызвал лакея, перед воображеньем всякого предстал бы Евсеич с подносом или пуховой щеткой в руках.

Отличительною чертой Евсеича была чрезвычайная робость, которую он питал к баронессе; тут проявлялось скорее не рабское трепетанье, а чистое обожанье; это на него взглянет старушка, гордо взглянет, а уж вытянулся старик, оправляя бакен, беззубым жует ртом; отвернется старушка — он за табак: понюхает и стыдливо чихнет в рукав; когда же барышня заговорит с ним — о радостях, о печалях своих — все равно: со смеху помирает Евсеич... «Пфф... Пфф...» только и раздается; на всех же прочих лакей брюзжал: будь коновал или генерал — не миновать Евсеичиного брюзжанья: как докучная муха ходит Евсеич и брюзжит; брюзжит и за шашками: день отбрюзжит — придет ночь: и ночью не спит Евсеич; ворочается — бормочет.

Таков был Евсеич: таким прожил жизнь — таким и сошел в могилу: мир праху твоему, последний лакей!

— Бабушка еще не скоро, Евсеич, выйдет?

— Хе-хе-хе-с! — Евсеич не вытягивается перед Катей — теперь Евсеич он, не лакей: он замечает барышню, еще вовсе дитю, и смеется; по Евсеичиным понятьям совсем еще Катенька барское дитё, а, стало быть, к детскому лепету вовсе не след прислушиваться порядочному лакею: детский лепет, известное дело — птичий свист, не более того.

— Хе-хе-хе-с! Барышня...

— Да ты мне скажи, Евсеич, когда бабушка к чаю выйдет?..

— Хе-хе-хе-с! — опять не расслышал Евсеич: стоит ли слушать птичку-синичку, или дуду, или барскую дитю, вынул табакерку, понюхал сладкого табачку и себе прилично счихнул в рукав. Сам-то лукаво себе смеется — он без смеху Катеньки видеть не может, шутливо так на нее поглядывает, будто над нею он подтрунивает и ее поддразнивает; почему это так, Катенька знает, и игра откуда такая завелась между ними, она знает тоже; все это с прошлого лета у них пошло.

Прошлое лето, еще она тогда не была невестой, заигралась Катя с рыжим псом, с Барбосом, да и разошлась Катя: кошкой себя вообразила, на перила терраски взобралась, разгасилась, загорбилась — и ну шипеть: сидит на перилах с падающими на лицо волосами: кошку она изобразила так, что излаялся Барбос: оглянулась, и видит: в окошке-то Евсеич поглядывает, пофыркивает, надсаживается...

Евсеича тогда очень Катенька поразила — можно сказать, что поразила она его насмерть: во всю

свою жизнь ни разу он так не хохотал, как там, у окна; еще бы: барышня взрослая, барышня знатная — семнадцатилетняя барышня, а как это она перед Барбосом изводилась, изгорбилась да шипела и притом всерьез, совсем всерьез! Как только накрыла его барышня, законфузился Евсеич, будто пойманный приготовишка; для скромности быстро заковылял себе прочь, заворчал, загулял по коврам лакейской своей щеткой; все же, признаться, подумал Евсеич, что накрыл-то барышню — он, и накрыл за зазорным занятьем.

Прошел год, а он все так же лукаво подмигивал ей: знаю, мол, я тебя — хоть и барышня ты, а все же — дитёныш, как есть дитёныш. Так меж ними и завелась с той поры своя особая тайна эдакая; после, видите ли, как оставались они вдвоем, — Евсеич да Катя, — старый лакей всякое, ну там, давал ей понять, что и он, можно заметить, не прочь поиграть с барышней во все в смешное: дело у них пошло эдаким манером, что Евсеич дитяти, ей-Богу, изображал и козу, и пса, и даже раз забегал вокруг зайцем или из рук, не к худу будь сказано, на тени показывал ей свинью; но баронессе стоило только кашлянуть из дальней комнаты, как робко вытягивался Евсеич у стены с пуховою щеткой в руках; и пройди-ка тут кто: не увидел бы никакого Евсеича, — лакей лакеем!

Все это Катя знала, но в описываемое утро только в ней будили одну тревогу Евсеичевы смешки: до смешков ли ей было, когда в душе у нее закипала гроза; сдвигались ее бровки и кудрями встряхивала она досадливо; и, подавая самовар, Евсеич уже понимал, что нынче дитёнышу не до шуток и подтягивал губы во всем в своем в лакейском в достоинстве; но сам для себя неожиданно фыркнул, повернулся к Кате спиной и, как уличенный

в воровстве вор, быстро заковылял прочь подпрыгивающей походкой.

Нет, Катя ему не смеялась вслед, но и гневом тоже ему вослед ее лицо не блеснуло, а как-то вся она на стол упала в своей в цветной в шали да в пепельных в локонах; иссиня-темные глаза покрылись ресницами иссиня-черными, а розовый рот ее сжался тревожно и страстно; девочка в ней умерла: вся она теперь в этой позе будто принимала грозу, и казалась женщиной, жаждущей ласк.

ЧАЙ

Но это только казалось: застучала по комнатам палка; половица где-то скрипнула там под тяжелой поступью баронессы, и глухое сопенье старухи раздалось за стеной; дрогнула ветка в окне, задрожала половица, вздрогнула Катя, и, косясь, острым взором из-под ресниц она блеснула на дверь, длилось все это еще менее мгновенья.

И она уже вот — равнодушная, вялая девочка, любопытная чуть-чуть, — и такая, такая маленькая: заморгала глазами, встала со вздернутыми плечиками и по детской своей привычке навстречу пошла баронессе в не по летам коротком платье, походкой мягкой, походкой вкрадчивой, тогда как в двери, рукой на тяжковесную опираясь трость с граненым хрустальным набалдашником, крепко уже пыхтела приземистая старушка, вся в шелках и в цветных кружевах, и в седых с желтизной волосах.

Гордо, надменно, сурово полное лицо баронессы качалось, — неестественно белое от притира-

ний и пудры лицо; смолоду жгучей была баронесса брюнеткой, и теперь, как бы опаленные ее и сожженные, темные ее под глазами мешки, и проступавшая ее сквозь пудру смуглая кожа, полный пунцовый рот, и носик вздернутый ее, и на щеке ее родинка упрямство и дерзость выражали без слов, когда протянула Катишь она полную, мягкую, душную свою руку, отчего зашуршал шелк ее утреннего матинэ, обвисшего лионским тонким кружевом; Кате локонов дым прощекотал руку; полную, мягкую, душную руку поцеловала Катя: «Здравствуйте, бабушка»; с неизменным упорством, точно кидая вызов судьбе, ее, баронессы, не опустился взор к склоненной девочке, и уста ее не девочке улыбнулись, а как-то над девочкой странно сложились в воронку, отчего обозначились еще резче ее у губ углем обведенные морщины и над губами углем обведенные ее усики, между тем как замер беззвучно Евсеич, выростая из земли, как замирает беззвучно серая статуя восковая; во всем в сером, с вытянутым подносом в руках, он стоял, и такой же его взор, как и сам он, бесцветно-серый, созерцал муху, сонно замиравшую на стене; этот миг, казалось, растянулся в вечность, и тяжелый удар времени хрипло оповестил, что уже двенадцать часов.

Вызывая точно на бой судьбу и блистая крупным изумрудным перстнем, грузно прошла и быстро села баронесса у чайного столика — так же грузно и быстро, как гордая ее протекла жизнь; и уже сафьянное крепкое красное кресло заскрипело и застонало под грузной старушкой, а тяжеловесная трость упорно застучала по выцветшему ковру у ее бархатных туфель; ничему не удивляясь, со спокойной улыбкой наливала Катя кофе, в то время, как благоговейный Евсеич усадил в

кресло старуху, Кате подмигивал у нее за спиной и обнюхивал протабаченные свои перчатки.

Все это совершалось при полном молчании, и глубокое безмолвие каждодневного этого обряда настраивало на раздумье, извлекая в душе величавые, бесконечно грустные звуки.

Не так ли и ты, старая и умирающая Россия, гордая и в своем величьи застывшая, каждодневно, каждочасно в тысячах канцелярий, присутствий, дворцах и усадьбах совершаешь эти обряды, — обряды старины? Но, о вознесенная, — посмотри же вокруг и опусти взор: ты поймешь, что под ногами твоими развертывается бездна: посмотришь ты, и обрушишься в бездну!..

— Вам кофе, бабушка, или чаю?

Молчание; рука протянутая старухи забарабанила пальцами по скатерти и такой черный ее взор устремился в чашку, будто ее она взором задумала расколоть на тысячу кусков...

— Эээ... смею заметить-с... бабинька-с... вчера и позавчера-с изволили чай... Э-э-э-э... кушать... э-э-э-э... — неожиданно вставляет Евсеич, но, внезапно оробев, вдруг умирает, распластанный на стене со страху, и его косой, умоляющий взгляд быстро слетает с Кати и останавливается на баронессе, плавает в потолке и упирается в собственный носок; но барабанит бабкина протянутая рука; отбарабанит едва, и уже вновь рука барабанит; в другой руке бабкина палка прыгает судорожно, судорожно стучит по ковру.

— Вам кофе, бабушка, или чаю?

Молчание.

— Ну, я налью вам чаю.

Молчание.

— Э-э-э... да-с... э-э-э-э — э-э-э!.. Ее-с сиятство... с позволения-с вашего-с... гээгээ... изво-

лит-с... нда... изволит-с... э-э-э... чай-с... чего-с, ваше-ство?

Молчание.

— Ну, вот вам, бабушка, чай, — со сливками или без сливок?..

Молчание.

— Без сливок?

Молчание.

— Передайте, Евсеич, бабушке чаю.

Дрожащий Евсеич, как с бумаги сведенное калькомани, отлипается от стены, выхватывает чашку и, споткнувшись о белую бабкину болонку, притворно взвизгнувшую, проливает чай на ковер, обжигая руку, но душеные мягкие пухлые пальцы старухи с негодованьем отвергают таким способом переданный чай; и Евсеич, не угадавший баронессиных вкусов, спешит поправиться:

— Э-э-э... Кофею-с, кофею-с, Катерина Васильевна... Как же-с! Завсегда их превосходительство изволит... э-э-э... кофей кушать...

Но едва это он произносит, как раздается грудной густой бабкин голос:

— Дурак! Давай чашку.

Пухлые пальцы старухи принимают чашку, и сконфуженный Евсеич со срамом удаляется в темный угол, откуда раздается его облегченный зевок.

Молчание.

— Вам, может быть, бабушка, неудобно сидеть?..

— Хотите, я вам подложу подушку?.. Право, вам с подушкой удобней!..

— Мими, Мими, беленькая Мими! Дай я тебе дам кусочек сахарцу; бабушка, у Мими скривился бант... Мимка, Мимка, я тебе поправлю бантик...

— Рррр — гам, гам! — раздается из-под баронессиной юбки и оттуда высовывает нос маленькое существо — не собака, конечно.

— Ах ты, дрянная собачонка: бабушка, она опять меня укусила за палец!

— Ррр—гам, гам! — раздается из-под баронессиной юбки.

— Мими!

— Ррр—гам, гам!

. . . .

— Не сердитесь на меня, бабушка...

— Мне больно, когда вы совершенно напрасно говорите дурные вещи про Петра...

— Я больше, бабушка, не буду...

. . . .

— Надо бы кучера, бабушка, послать в город: кучер говорит, что у нас не хватает олеонафту; я думаю, что вам, бабушка, не хватит и одеколона...

— Сегодня дурная погода, а вчера, бабушка, было солнце...

— Бабушка, летом солнца больше, а зимой его, бабушка, меньше: но я люблю и лето, и зиму, бабушка...

— Леля тоже любит и зиму, и лето, а князь Чиркизилари так он вот не любит, бабушка, ни зимы, ни лета. Зиму и лето он живет в Биаррице.

— Вам еще чаю?

Молчание... Все это говорит одна Катя: и молчание отвечает каждому ее восклицанью; ей бабушка мстит за вчерашнюю выходку, хотя и крепится не заговорить: так бабушка всегда: но Кате это нестрашно, трясется от страху один Евсеич; уже весь истощила она запас слов: говорит Катя вот уж так мало, так мало — мысли ведь у глупых девочек не складываются в слова; помня,

что больше всего старушка боится отсутствия одеколона, Катя пускается на хитрость, хотя и знает, что одеколону хватит; но все те уловки провинившейся девочки давно разучила старушка, и старушка не отвечает; наконец, упоминает Катя заветное имя Чиркизилари, чтобы вырвать у бабушки хотя бы ворчанье о том, что не чета князь Чиркизилари ее Петру; но и тут старушка молчит; если уж молчание не пробито князем Чиркизилари, то что же пробьет это молчание!

— Князь, бабушка, Чиркизилари!..

Молчание: пухлые пальцы старухи тянутся нежно к своей к Мимочке, к болоночке, и как-то влюбленно останавливаются на поганой собачонке, а Катя сердится — сдвинулись гневные бровки; из-под ресниц ревниво бабушку жалит злой изумруд, хотя Катя делает вид, что ей нипочем бабушкин маневр: сама же гневается — вот, вот сгорбится и на бабушку прыгнет — фу, фу, фу: болонка, дрянная собачонка! Мимка! А с ней, с внучкой, ни слова!..

— Эээ... как же-с... эээ... молодой-с князек-с, Чиркизилари... ээ... его сиятельство... знал еще воо каким-с... Чиркизилари-с... молодой князек, — снова вмешивается Евсеич, но, получив дурака, прискорбно тупится в угле...

Как же — еще бы не помнить Чиркизилари Катеньке: она горбится — фу, фу, фу: плешивый, картавит, и волочится нога, и изо рта пахнет. Дрянная Мимка, дурак Чиркизилари, глупый день — и все дураки!.. Вот, она, — Катенька, всем задаст!

А бабушка искоса поглядывает на внучку и уже собирается ей протянуть свои пухлые пальцы, чтоб поцеловать этот лобик, эти глазки, эти волосики; и — дон: половина первого.

Так в глубоком безмолвии совершается каждодневный, но великий обряд этой уже отходящей в прошлое жизни, тогда как с открытой террасы новые несутся звуки новой России и горланится песнь далеко проходящих парней, и золотой поет визг тигриной гармоники: «За ваа-мии-ии-деет... свее-жиих раа-аа-тникаав строй». Потом все замирает в отдаленье.

Но сидящие здесь новой России не знают, ни песен новой России, ни этих за липами потрясающих душу слов; и парни, и песни, и слова песни — ведь звучат те слова, и те песни далеко, далеко поют парни; и никогда тем словам и тем песням не долететь до тихого этого пристанища, парням никогда не попасть в этот сад; но то обман: и слова, и сама песнь — здесь, и парни — здесь: давно отравляет песнь этот, старыми полный звуками, воздух, расширяя ужасом черные баронессины глаза; все уже давно баронесса узнала; и себя, и Россию обрекает она на гибель и роковой борьбы жертву; но и немой она представляется, и глухой: будто ничего она не знает от новых тех песен; но знает Петр.

И Петр входит.

Вот он — в шелковой, красной рубахе: молодцевато поскрипывают его сапоги и вьется пепельная шапка его волос: закручивая ус, Дарьяльский с веселым схватывает с хохотом белую болонку, подбрасывает ее на воздух, и потом, почтительно опустив, идет смело к баронессиной ручке, точно на штурм крепости: «Здравствуйте, m a m a n, здравствуйте... Здравствуй, Катя: простите — я опоздал»...

Странное дело: после тоски и безумий души больной, не испытывали вы никогда разве покоя блаженного, легкости странной и какого-то буйного

молодечества? Гибель вашей души и ужас вам грозящих опасностей вдруг покажется не более как детской шуткой, или более того: совершившимся не с вами, но вам рассказанным; вам покажется тогда, что где-то вы слышали душу смутившую хаóса песнь, но где — этого вы не скажете никогда; сон жизни вас обоймет и отымется память; и будете вы легко носиться по волнам жизни, срывая одни лишь цветы удовольствий — благие дары бытия; и нет, нет — не удержится ваша с вами радость: прошлое, что грозило и что не перестало быть, — тогда встанет во мгновение ока; и вы проклянете час вашей легкости — тот час, когда, глядя на резвящийся на лугу хоровод, или на девушки взор любимый, вы сказали себе: нет, мне пригрезились беды, нет, ничего мне и не грозит... Так знайте же: будет поздно.

— Уже поздно, — протянула в нос старушка, надменно трясясь, благосклонно, над склоненной головой Дарьяльского, и все же касаясь губами пепельных его волос, когда он ей целовал руку.

— Да, уже поздно, — блеснула на него и Катя изумрудным испуганным укоризненным взором, и безжизненно продрожал ее голос.

— Хе-хе-хе-с! — отозвался Евсеич из темного своего угла.

Ни смешка, ни укора, ни даже роковой благосклонности семидесятилетней бабки тогда не заметил Дарьяльский, как не осенила его то, что странно как-то сменила старушка свой каждодневный на него утренний гнев ничем не объяснимой благосклонностью: так обреченные и на казнь минуты последние жизни на себе испытывают благосклонность тех, которые их через миг поведут на смерть. Все же было странно, что на Дарьяльского роптавшая и Катину Дарьяльским

загрызающая жизнь старушка в глубине души глухой уже крепко и цепко успела пожалеть неприглядного на ее взгляд внучкина жениха.

Странное дело: видела Катя, что никакой уже бури не будет, что пустой каприз или внезапная перемена барометра растопили бабкино сердце, но она не радовалась: рассеялась навеянная тревога и хлынула на нее теперь ее собственная тревога; и она жалобно поглядывала на жениха: «Может быть, и он, как другие... ездит к...»

Но этого ничего Дарьяльский не замечал: струной, дрожащей чуть-чуть, стояла в воздухе Катина жалоба; ведь же любит она его — ну, посердится и часок, и другой: велика важность!

Знает ли он, как тревожно ее билось сердце, когда с ней утром и вовсе не повидавшись он ушел в Целебеево; с радостью какою поджидала его она, когда возвестил ей далекий звон, что окончена служба; как вчера глядела она на дорогу, выставив из зеленых акаций свое в локонах купавшееся лицо; уже вдали красные бросались рубахи и гуголевских девок золотые, синие и зеленые уже примелькались баски, и запели в воздухе, и горели яркие красные платки в воздухе, и стояли в воздухе звонкие песни.

А не было его.

Знает ли он, какие в золотом рыдали воздухе струны — струи ее души?

Подали уже завтрак, а его не было; как вцепилась острым она в бабушку словом, уколола ее колкость точно розовым шипом любви; а вот он сидит тут — ее не замечает, ее цветенья не видит; у нее, принцессы Кати, прощенья не просит; Катя сидит, обсыпается лепестками

любви; лепестки ветер кружит, ветер их сушит; обсыпается бедная Катя...

Есть ли в нем или нет, хоть одно человеческое чувство?

А он? Что-то уж очень он разошелся; легкость под сердцем была чрезвычайная, и ах, как он хохотал над нелепыми происшествиями вчерашнего дня! Жар, духота, мухи, да усиленное занятие классиками вопреки всему — обрученью и Катиным поцелуям — произвели, конечно, такое странное в его душе движенье, что от одного он взгляда да наглой усмешечки бабы гулящей разволновался, обеспокоился, взрыл нелепо душевную свою глубину, и нелепая полезла на него душевная глубина; но он не даст ей, нелепой своей глубине, развиться — он уже ее, глубину, задавит; и вот громко смеется, крикливо радуется, легкость под сердцем и сердечное трепетанье...

— Некоторые филологи, m a m a n, говорят, что седьмая эклога Феокрита есть «regina eclogarum», что значит — «ц а р и ц а э к л о г». А другие говорят, что она слаще меда — седьмая эклога. По такому случаю я выпью сегодня семь чашек чаю...

— Хе-хе-хе-с! — раздалось из угла...

— «Regina eclogarum».

А Катя думает: «вчера пил вино — может быть, напился, может быть, он, как и все; и до нее, царевны Кати, у него бывали поездки к бесстыдным женщинам».

— Однажды прочел я у Феокрита, невеста, что н е к о е г о заперли в кедровый ящик и по этому поводу у филологов идет спор; когда я женюсь на тебе, то и тебя, невеста, я запру под замок.

— Хе-хе-хе-с! — раздалось из угла...

— И еще говорит Феокрит, что Пана высекли крапивой, а он потом лежал в канаве и чесался; одни филологи утверждают, будто чесался он оттого, что лежал в крапиве; другое же филологическое теченье объясняет сеченьем чесотку Пана... Обо всем этом говорится в седьмой эклоге, которая есть «regina eclogarum»...

— Ах, да оставь же! — Катенька встала, и глаза даже ее наполнились слезами.

— Хорошо-с... кхе-с — кхе-с, что бабинька-с изволили встать и уйти-с... а то бы оне даже вовсе не были — кхе-с — кхе-с — кхе-с — довольны, — укоризненно замечает Евсеич, но его Дарьяльский уже и не видит, как не видел он, что к себе ушла баронесса, дубовой палкой простучав по коврам; он обернулся — и с восторгом смотрел на Катеньку, как она там стояла, пока Евсеич копошился у стола, сладкий свой нюхал табачок и поварчивал: «Высекли луком... Какого-то пана... Как же... нешто луком секут?.. да еще барина... Вестимо, крапивой...»

...Как она там стояла, его, его, — еще вчера от него улетавшая и уже опять к нему возвратившаяся, его невеста — как там она стояла, овеянная зеленым хмелем и в опадающих каплях дождя!

О, пиршеством исполненное мгновенье!

ДВЕ

Катя! Есть на свете только одна Катя; объездите свет, вы ее не встретите больше: вы пройдете поля и пространства широкой родины нашей, и далее: в странах заморских будете вы в

плену чернооких красавиц, но то не Кати; вы пойдете на запад от Гуголева — прямо, все прямо; и вы вернетесь в Гуголево с востока, из степей азиатских: только тогда увидите вы Катю. Вот какая она — посмотрите же на нее: стоит себе, опустив изогнутые иссиня-темные и как шелк мягкие свои ресницы; из-под ресниц светятся светы ее далеких глаз, не то серых, не то зеленых, подчас бархатных, подчас синих; что взор ее исполнен значенья, и что взором она говорит вам то, чего сказать словами нельзя — это вы подумаете; но вы увидите, что то — обман, когда поднимет она на вас взор; ничего она не скажет глазами; глаза как глаза; ощупайте взором их — и ваш взор оттолкнется от просто красивого стеклянного ее взгляда, не проникнув в девичью душу; истолкуете вы блеск этих глаз, — обманетесь: и вы поймете, что в каждой усадьбе, подобной Гуголеву, такие найдутся глаза; но повернулась и будто невзначай покосилась она на вас, и чуть-чуть зажмурилась, и чуть-чуть покраснела и улыбнулась: вы, назло очевидности, поверите глубине ее исполненного значенья взгляда; и опять повернулась, и заговорила: заговорила — так себе, пустяки; повернулась — так себе, глаза, яркие, большие, удлиненные, как миндаль; и ничего больше.

А розовый ее, бледно-розовый, как распустившийся лепесток, чуть полуоткрытый рот, — бледно-розовые, созданные для поцелуев губы; улыбнитесь им улыбкой, тайного полной значенья, — уста не дрогнут, удивленно полуоткроются, или с досадой сожмутся; и как чародейски улыбаются эти уста вовсе пустым словам, цветам, ценным псам и более всего детям; удлиненное, бледное ее, немного худое лицо чуть-чуть порозовеет, как розовеет яблочный лепесток, когда провизжит

ей ласточка, черными крыльями расстригая воздух; быстро Катя повернет к ней это, как яблочный лепесток, порозовевшее лицо; и пепельный локон в синий взлетает воздух; овальное ее, матовое ее лицо в густых, в сквозных, в пепельных локонах; локоны падают ей на грудь — и исходит она смехом над уловками черной ласточки: она знает, что гуголевские ласточки заюлили неспроста вокруг нее; замечтайся Катя, и ласточка, пролетая мимо, вырвет ее шелковый волос и его унесет детенышам на гнездо; знает Катя, и плутовато щурит глазки, и потряхивает она головкой; но ласточка пролетит; и густые, быть может, слишком густые локоны упадут ей на плечи, ей лебединую омоют шею и чуть-чуть, пухом своим полуоткрытую защекочут Катину грудь: и тогда снова побелеет ее лицо — и вот смотрите: протянутая эта шея и это приподнятое лицо в пепельных локонах, ветром волнуемых, с бледно-розовым, чуть открытым, как венчик, ртом и со спокойными, удлиненными, нестерпимого блеска очами — все, все выразит утомленье не то ребенка, не то уже многое пережившей девушки.

Но вот слышит Дарьяльский топот босых на террасе ног, и как луч певучий, сладкий он слышит голос:

— Барышня миленькая, ландышей вам, не надать? Сами для вас сбирали в лесу...

Вышел он на террасу — смотрит: в зеленом в хмелю, в золотом в воздушном, в, точно сон, певучем луче вчерашняя его стоит баба рябая, поглядывает баба рябая на Катю, с барышней нежничает, с красными ее ветерок с волосами заигрывает — ветерок перелетный; пошел на небе просвет; озлащенные вдоль отошли дожди, и от дождей — радуга седмицветная.

— Эге-ге! — усмехается в ус, приосанивается Дарьяльский. «Не пошла гора к Магомету, так пошел сам к горе Магомет!» — и разглядывает, щуря глаза, бабу рябую: баба рябая ничего себе — есть чем утешиться: ядрёная баба: из-под баски красной полные бабьины заходили груди; загорелые ноги, здоровые, в грязи — и ишь как они, ноги, наследили на террасе, нос — тупонос, лицо бледное, в крупных в рябинах — в огненных: лицо некрасивое, но приятное, вот только потное; Кате протягивает букет. «Только-то всего, а я-то — я-то, — думает Дарьяльский: — баба молодец, но оно верно, что распутничает — складочка эдакая у губ», — старается в чем-то себя он уверить, заговорить, заглушить, затоптать на миг всколыхнувшееся чувство; все же легко у него на сердце: «Нет, то приснилось».

— Ах, какие белые, сладкие ландыши! — прижимает цветы к лицу чуть-чуть уже порозовевшая Катя.

— Как звать-то? — грубовато и строго заговаривает с бабой Дарьяльский.

— Матреной, мы — тутошние, — и синий, синий по нем пробегает ее взгляд: в ту минуту проносится крик и жгучий, и близкий: задевает его кто-то черным крылом: ласточка, как нетопырь, крыльями расстригает террасу и туда, и сюда, бьется она и тут, и там, и вот уже там она: улетела.

— Вовсе это не ласточка, а стриж, — удивляется Катя.

— Наш, целебеевский; так купите же, барышня, для вас сбирала...

Тупоносая Кате баба улыбается, усмехается: и, как ангел невинный, подает ей двугривенный глупая девочка.

— Барышня милая, прибавьте еще пятачок!

Но Петр обвивает Катю рукой; пусть весь видит мир, что она, Катя, его невеста; баба, продолжая следить ногами, сходит с террасы, когда появившийся в дверях Евсеич прошамкивает бабе вслед: «Господи, Боже мой, и с чего вы, ироды, в барский шляетесь сад, и чего это садовник смотрит?.. Ну, Матренка, смотри ты у меня!..»

— Чаво? — оборачивается Матрена не то на Евсеича, а не то на Дарьяльского, и в зелени красная ее пропадает баска.

Ах, ты, солнечный луч золотой, ах, перелетный ты ветер: цветы цветут, и веселая зелень танцует в лучах, и смеется в лучах, чему-то обрадовавшись, Дарьяльский; Катю нежно увлекает с террасы, и вдруг, в порыве веселья, вдруг начинает скорее кричать, чем петь.

Но на мгновенье сдвинулись Катины брови, когда, освобождаясь от объятья, стройным изгибом шеи сметнула с своего плеча волос сквозных пепельный дым, закуривший ей спину, между тем, как и дрожала закушенная губка, и усмехалась, а широкие розовые ноздри тонкого ее носика раздулись от нетерпенья и от сдерживаемой тревоги; все это длилось мгновенье, и все это видел Дарьяльский. Допивая чай, он продолжал в припадке радостного сердцебиения:

— А еще вот странно у Феокрита сказано про пчел: как ни переводи, все выйдет — тупоносые пчелы; ну, когда же тупоносыми пчелы бывают?

Когда бывал в духе Дарьяльский, то он не любил вести разговоров о предметах глубоких; предметы глубокие, с каким бы он чувством их ни касался, муку в нем вызывали столь сложных, безымянных, всегда по последствиям своим ги-

бельных переживаний, что он набрасывал на переживания эти тяжеловесные груды греческих словарей; в душе у него была вечная тяжесть, и оттого-то солнечный быт давно минувших лет блаженной Греции с войнами, играми, искристыми мыслями и всегда опасной любовью так же, как быт простонародный, русский вызывал на поверхности его души картины блаженной жизни райской, кущ тенистых, и медвяных лугов легковейных с играми на них и плясками хоровыми, что вовсе не понимала дрянная его девчонка, которая вот сидит и чего-то насупилась там в уголке — щиплет скатерть, осыпается лепестками.

Ах, эти песни, и — ах! — эти пляски! Занавешиваете ли вы или вы обнажаете еще больше бездны его души? Верно, серные эти бездны, выпускающие злую саранчу, чтоб пронзилось сердце саранчиным жалом и потом, чтоб оно кровью облилось: он с темными своими боролся недрами, как некогда с гидрой Геракл, уснащая речь магией и медом собранных слов, чего не понимали люди, как вот Катенька, тоскливо заостренная в эту минуту, как розовый шипок. Или у него стал такой вид, какого она не могла никак, бедное дитя, вынести?

КТО ЖЕ ДАРЬЯЛЬСКИЙ?

Речью, смехом, ухватками, ухарством — всем, кроме мерцающего из глаз то огня, то льда, проницающих темь, не ученого напоминал мой герой, не поэта, а любого прохожего молодца. Оттого он и странную создал, или, верней, пережил, а еще верней, что жизнью своею сложил

правду; она была высоко нелепа, высоко невероятна: она заключалась вот в чем: снилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу родная и еще жизненно не пережитая старинная старина — древняя Греция.

Новый он видел свет, свет еще и в свершении в жизни обрядов греко-российской церкви. В православии, и в отсталых именно понятьях православного (т. е., по его мнению, язычествующего) мужичка видел он новый светоч в мир грядущего Грека.

Но если взаправду признаться вам, то, пожалуй, ни перемигиванье с сельскими попиками, ни кровью красная, хотя и шелковая, но зато ухарская рубаха, ни пребывание в ночных городских, чайных трактирах и полпивных и еще черт знает где с всегда над душой стоящим Феокритом, нимало не украшали наружность героя моего; начиная с покрякиванья смазных сапог да простонародных крепких словечек и кончая вдруг обнаруженным знаньем с явной склонностью иногда рассуждать всерьез и мудрено — все, все от Дарьяльского откидывало людей, как и его откидывало все окружающее, отталкивало; для многих Дарьяльский был помесью запахов сивухи, мускуса и крови... с ни более, ни менее, как нежной лилеей, а эти многие напоминали ему ни для чего негодную ветошь.

— Ах, шельма эдакая! — сказала однажды про него утонувшая в кружеве барыня, готовая с кем угодно что угодно проделать в любой час ночи и дня. Начнем со слов: слова Дарьяльского в людских отдавались ушах что ни на есть ненужным ломаньем, рисовкой, а, главное, ломаньем вовсе неумным и особенно выводил из себя смешок моего героя — еще более чем выламы-

ванье из себя п р о с т а к а, потому что п р о с т а к в нем уживался с уму непостижимой простотою, глухотою и слепотою к что ни на есть всему; от всякого желания прислушаться к составленному о себе мнению Дарьяльского передергивало, как передергивало других его поведенье. Выходило — он ломался для себя и только для себя: для кого же иного мог Дарьяльский ломаться?

Но, видит Бог, не ломался он: он думал, что работает над собой; в нем жестокая совершалась борьба излишней оглядки слабосилья с предвкушением еще не найденной жизни поведенья, совершалась борьба ветхого звериного образа с новой, подобной звериной, уже нечеловеческой здравостью; и он знал, что, раз вступив на этой борьбы стезю, ему не идти обратно, что, стало быть, в борьбе этой за будущий лик жизни ему позволено все и нет над ним ничего, никого, никогда; ему и страшно бывало, и весело; в колебаниях чувств, опередивших современников, быть может, не на одно поколенье, он бывал то беспомощней их, то бывал он бесконечно сильней; все дряхлое их наследство уже в нем разложилось: но мерзость разложения не перегорела в уже добрую землю: оттого-то слабые будущего семена как-то в нем еще дрябло прозябли; и оттого-то он к народной земле так припал и к молитвам народа о земле так припал; но себя самого он считал будущностью народа: в навоз, в хаóс, в безобразие жизни народа кинул он тайный призыв — и по-волчьему в лесную дебрь народа отошел тот призыв: воем из лесу что-то ему откликнулось.

Он еще ждал, еще он медлил: а уже чувствовал он, как грязная, мягкая земля прилипает к нему и за ним тянется: знал он, что и в народе

новые народились души, что плоды налились и пора смоковницу отряхнуть; там, в гуще, вдали и все-таки на глазах, строилась, собиралась Русь, чтоб разразиться громкими громами.

Завладевая душою Дарьяльского, борьба вызвала из души земляной глубины рать скрытых сил, чтобы злое око, око, Россию ненавидящее, не поразило его, как святынь некую ограду, и он потаенно воздвигал духа ограду — странной своей судьбы здание: но здание то стояло в лесах, и кто понимал ослепительность замысла этой постройки — построения крови и плоти своей? Видели груды мусора и в них небрежно закинутый изразец Византии великолепной; видели греческих обломки статуй, опрокинутых безобразно в родную пыль; а уже тайный враг не дремал: он проник в сердце народа — и оттуда, из народного бедного сердца, погрозил Дарьяльскому; потому-то, к народу идя, от него ограждался любовью Дарьяльский, и любовью этой, благословляющей на брань, стала для него Катенька. Необъяснимое ему говорило предчувствие, что, ну вот, полюби он крестьянку — и погиб; тайный его тогда одолеет враг; и уже вот он ждал из тьмы стрелы вражеской — стрелы из народа: и, как мог, оборонялся.

Катя чутьем поняла Дарьяльского; что-то большое и незнаемое вовсе пылко учуяла она в нем детским свойм, вещим сердцем — и вся к его как бы прильнула груди, защищая от ударов: что удар будет, Дарьяльский знал; смутно предчувствовал, что и Катя падет вместе с ним.

Дикой красой звучали его стихи, тьму непонятным заклинающие заклятьем в напоре бурь, битв, восторгов. И, сковывая эти бури, битвы, восторги, — он насильно обламывал их ухарством — и

далее: побеждал ложное, но неизбежно отламываемое ухарство византийством и запахом мускуса: но — о, о: запах крови дымился над запахом мускуса.

И этот путь для него был России путем — России, в которой великое началось преображенье мира или мира погибель, и Дарьяльский...

Но, черт с ним, с Дарьяльским: да пропади пропадом он: он уже вот перед нами: не дивитесь его поступкам: их понять до конца ведь нельзя — все равно: ну и черт с ним!

Надвигаются страсти: будем описывать их — не его: вы слышите, что уже где-то гремит гром.

СВАРА

Старуха сидела в очках у себя, у окна; старуха нахмурилась, преклонясь к пяльцам и будто на них нападая иглой, от которой тянулась малиновая нить шелка; она вышивала крону зеленых листьев; а теперь на зеленой кроне она дошивала вишню; в окне пробежал порыв; псы издали пролаяли и поднялся гам; галдели с гумна, и голоса приближались.

В темном коридоре торопливо прошел босых ног топот; еще, и еще прошел босых ног топот; на приближавшийся гам отозвались топотом и шушуканьем из кухни; раскрывалась тяжелая с блоком дверь; то там топотали, то здесь босые ноги по коридору; то и дело бабье из кухни заглядывало лицо; «взз-взз-взз» — повизгивала открытая дверь и — «бац» — падал тяжелый блок; а уже гам, визг, лай и пьяные выкрики поднялись на дворе: розовая с визгом свинья в окне пересекла двор от конторы.

Встала она; воткнула иглу в крону шелковых листьев, и малиновый клубок покатился с ее колен; сняла наперсток, спокойно опрыскала кружева из одеколонной склянки; к шуму, однако, чутко она прислушивалась.

Евсеичево лицо появилось испуганно в двери; прошептало, еле слышно:

— Вассиятство! Там бунтуют-с крестьяне.

— Что?

— Кхе-кхе-кхе...

— Что за вздор?

— Не могу знать-с... Озорники... Машка, надысь, кривая, сказывала... А все, вассиятств, насчет управляющего... Економические квитки задержал, будто бы там закосил у Ефрема, девку испортил... Будто с того... — вдруг его голос дрогнул.

— С кольями, матушка-барыня, там они... И-и-и что, позволю себе заметить.

Сочные губы старухи надулись и тревожно зажевали пустоту.

— Палашка, мантилью!

. . . . ♦ . . . .

Катя с Дарьяльским стояли уже у окна; вид открывался оттуда на двор; двор был зеленый, большой, обставленный службами; службы образовали четырехугольник: были тут и конюшни, тесовые, с красной железной крышей, и на выбеленном фундаменте был соломой крытый, от сырости проплесневевший ледник, и изба, служившая баней и тонувшая в коноплянике, где весь день раздавалось веселое — «чи-чи-чи», и ледник, и полуотстроенный птичник, и белая для чего-то мазанка; задумались там и амбары, как тучные старики, зерном распертые и подпертые кольями, прикрытые кленом и осыпанные шиповника

розовым цветом; был тут и гордый полк малиновых мальв; и там рылись куры; и экономическая контора была; в одной половине ютилась экономка; другую же половину занимал сам «кровопивец», Евстигнеев Яков, с пухлой супругой, дававшей приплод чуть ли не два раза в год, и с белобрысыми детишками, *кровопивчиками*, свежесть, младость и кровь которых, откровенно говоря, принадлежали скромным гробикам, необитым глазетом, вывозимым из Гуголева на целебеевский погост: недаром же Евстигнеев Яков пять уже лет тут у нас присосался, как пиявка, к народу — пил запекшимися устами его кровь и прослыл колдуном; он был хоть и пьяница, а распорядительный пьяница: как своим, чужим распоряжался добром.

В кожаной куртке и в больших охотничьих сапогах он стоял на крылечке, зажимая ржавый в руке свой «*бульдог*», зычным голосом перекрикивая рев коричневых, со всех сторон на него напиравших зипунов, и пренахально потрясая над ними белесоватой, будто растрепанная пакля, бородкой; зипуны обступили; зипуны карабкались на перила крыльца; зипуны перли да перли на экономию; иные из них были с кольями; иные же просто поплевывали в кулаки: орали же все.

Вдруг на хмелем увитом крыльце стала баронесса; ее седые с желтизной волос пряди развились в ветер, в дождь, в толпу зипунов; и рука ее повелительно махнула; и дреколье щетинилось уже на нее, когда ватага отлила от конторы, пролилась на двор, приливала к барскому дому: мужики повалили.

— Вассиятств! Изволю вам доложить-с: увольте! — обогнал «кровопивец» галдевшую стаю и уже стоял перед баронессой, опустив голубые, злые

глаза. — Благородному человеку невозможно служить-с с ахальниками: будто бы я закосил у Ефрема... Да я...

— Врешь, бес твою мать! — так и полез на него с преогромной дубиной преогромный детина и при этом поднес к самому к носу кровопивца свой преогромный кукиш, отчего нос кровопивца неприятно поморщился...

— Он, барыня, у тебя вор: ему бы на поле, а он к попу: в фофаны проиграет.

— Он у тебя вор; бес твою мать, за каки таки дела обворовыват нас?

— Девок портит: Малашку испортил, Агашку испортил, Степаниду мою испортил! — отсчитывал по пальцам болезненный мужичонка с слезящимися глазами и почти добродушным видом.

— А откелева у тебя завелось барское колесо?

— А аттелева!

— Аттелева, аттелева! Как, значит, матушка-барыня, бес твою мать, от тебя на новых колесах поедет, возвращатся на никудышных.

— Одно слово — химик: и нас притеснят, и вас! — загудело вокруг. — Вор он у тебя, брехович! — поднялись носы, в нечесаные бороды запускались пятерни, преогромные в воздухе записали кулаки, отхаркивались, отсмаркивались: вдруг дурной такой пошел, тяжелый от мужиков воздух.

— Шапки долой: дубьё! — видишь, — барыня! — отрубил кровопивец; и странно: головы обнажились покорно, угрюмо; рыжие, черные, черно-серые под дождем мокли космы и улыбалась лысина; только в сторонке пять молодых парней, лущивших подсолнышки, загыгыкали и картузов вовсе не сняли.

— Чего там снимать: скоро и так все будет наше!

— Слушайте, мужики: молчи, Евстигнеич.

Внимательно свои протянули бороды передние мужики; собирались обмозговать, что и как; старик с всклокоченной бородой из-за плеч просунул ухо; слушал с полуоткрытым ртом; а семидесятилетний, немного хитрый, скошенный глаз лукаво подмаргивал баронессе; и пока она говорила о том, что все рассудит по-Божьему, белая вошь поползла по щеке старика: это и был Ефрем, у которого закосили малую толику; он был, будто бы, и бунтарь, и смутьян, и сицилист — так ли? Глядя на его внимательное лицо, в котором отпечаталось само вековечное время, можно было прочесть одну покорность, одно благодушье; кто-то икнул; кто-то почесывался; а кто, переходя от соседа к соседу, тихим голосом обсуждал слова баронессы, раскорячив под носом пальцы.

Все слушало.

Всхлипнули вдруг в глубоком безмолвии бубенцы; из-за ив вороная вылетела тройка; кучер в бархатной безрукавке взмахнул поводьями, и замотались по воздуху его лимонно-желтые, промокшие от дождя рукава; под ивами пронеслась его с павлиньими перьями шапочка; и весело так бубенцы задилинькали на усадьбу; кто-то, сидевший в тройке, издали сперва помахал красной дворянской фуражкой, а потом замахал и платком.

— Ну, все это потом: ставлю вам, мужики, четверть, и по домам! — заторопилась баронесса, неприязненно вглядываясь с крыльца вдаль над толпой чумазых мужиков: кто такие незваные эти гости?

— Покорно благодарим, вассиятство! Поладим — как не поладить!.. Вестимо, так... — загу-

дело со всех сторон. Только седой Ефрем, напихавший в нос табачку, сердито почесывал затылок и поварчивал-таки не весьма дружелюбно:

— Выпить-то оно мы выпьем, а только... сенцо-то мое... пропало, малую толику...

— Опять-таки сказать: Малашку испортил, Агашку испортил, Степаниду мою испортил, — а для ча? Так себе портил...

Так говорили отступавшие вдаль мужики; но ни к селу, ни к городу к крыльцу выскочил пакостный мужичонка, отставил палец и весь осклабился:

— Таперича, ошшо рассуди, если, скажем, нам хорошо, и вам, скажем, хорошо; потому — вы наши, а мы — ваши... А ты мне дай на плетень десяток лозиночек — тоооненьких...

— Ну, хорошо, хорошо — ступай...

Тройка, будто черный, большой, бубенцами цветущий, куст, бешено выметнулась из лозин, пронеслась на дворе, замерла у крыльца.

— А я так гад, так гад — сабигайся, едва сабгайся! — вскричал генерал Чижиков, выскакивая из тройки.

ГЕНЕРАЛ ЧИЖИКОВ

В наших местах уже пять с половиною лет появился генерал Чижиков; появился он с треском, с барабанным боем, со сплетней; и победоносный скандал шествовал за ним по пятам; но в течение пяти лет генерал Чижиков, с позволения сказать, перепёр через все скандалы, окруженный деньгами, вином, женщинами и славой.

Генерал Чижиков, говорят, проживал по подложному паспорту; несомненно же было одно:

генерал Чижиков был, разумеется, генерал и притом в самых в важных чинах; он же был Чижиков. Что приятная сия персона состояла в почтенном генеральском звании и имела красную ленту, в том удостоверяли те, кои имели обычай проживать в столичном граде Санкт-Петербурге; у особ великосветских, особ сановных встречали они Чижикова, а кто же помимо господ генералов, да княжеских сынков бонтонные такие посещает места, где и господа генералы-то в струнку вытягиваются без всякой шикозности, и где пошучивает фамильярно разве что его высокопревосходительство, министр? Там-то, бывало, имел генерал Чижиков круг своего вращения, но потом перестал бывать: разрадикальничался донельзя и чуть ли не понес в провинцию проповедь красного террора; говорят, будто сыскное отделение тогда горевало ужасно; как бы то ни было, генерал Чижиков появился в наших местах, круговращаясь по уезду: от помещика к купцу, от купца к попу, от попа к врачу, от врача к студенту, от студента к городовому — и так далее, и так далее.

А что подлинный он Чижиков — в этом не сомневайтесь: уж в участке разберут, кто подлинный и кто подложный! Не ради чего иного — скромности ради под плебейскою сею фамилией родовитейший граф, знатнейшая некая ото всех фамилия приутаивалась до сроку — да, да: это был граф Гуди-Гудай-Затрубинский! И Гуди-Гудай-Затрубинский на всякий фасон, можно сказать, из генерала выглядывал — эдакая шельма! Приедет: Чижиковым с вами не посидит получаса; а потом как попрет, как попрет на вас аристократ, так даже душно станет от аристократизма: белую кость всяким манером свою вам покажет —

вынет платок, а от платка в нос вам кёр-де-жанет, убиган или даже сами парижские флёр-ки-мёр! Преканальскую выкажет «сан-фасон», черт подери, гостинного тона, хотя бы уже одной своей картавней (генерал не выговаривал ни «р», ни «л»); и широкая проявится во всем барскость, шарманство с барыньками; всякие «м е р с и, м а д а м» так и виснут в воздухе — и, я вам доложу, кончики пальцев расцелуете-с: не генерал, а душка, кремваниль-с (не смотрите, что лет ему будет за пятьдесят, что зубков генерал лишился, а что бачки у него не совсем приятного цвета — плевательного). С графом он граф, с писарем — писарь: в трактире напьется и еще селедочный хвостик обсосет; ничего не следует и из того, что битых пять лет генерал бил баклуши, проповедовал красный террор, проживая на хлебах у лиховских богатеев. Ну, что же из этого следует? Да ровно ничего! «И н к о г н и т о» — ха, ха! Надо же что-нибудь делать; вот и комиссионерствует генерал для купцов в отплату за выпитый полк белоголовых бутылок! Уже вы и поморщились! Ну, так знайте: к белой, Гуди-Гудай-Затрубинской кости грязь все равно не пристанет.

Всякое, всякое за генералом водилось: вольное довольно с деньгой обращение, неприятные ситуации с жадно амурничающими барыньками, с гимназистками вертоплясы, с мордашечкой горничной неприличный анекдотик — и прощали, потому что кто же не без греха; знали все, что и мот, и амурник; а словам генерала вот уж не удивлялись! Трижды уже генерал собирался предать наш уезд огню и мечу; да пока еще все щадил. Что говорить! Мужики, — и те генерала знавали! Недаром, видно, пустили в народ, будто белый генерал, Михайло Дмитрич, не умирал никогда,

а тайно у нас проживает в уезде под видом разбойника Чуркина. Лишь одни железнодорожные служащие болтали болду, что сыскное отделение способствует весьма бравой деятельности штатского генерала, городя о нем небылицу на небылице; что будто ни Скобелев он, ни разбойник Чуркин, ни даже граф Гуди-Гудай-Затрубинский, а просто — Матвей Чижов, агент третьего отделения.

ГОСТИ

— Всюдю в акгестности агьяйные беспогядки: бьягопоючно ги у вас? — осведомлялся генерал Чижиков, целуя полную баронессину ручку и распростроняя от бак благовоние туберозы, которой только что в тройке опрыскал баки... — А мы с Укой Сиычем к вам, багонесса, по деу, — продолжал чаровник, плутовски указывая красной, дворянской фуражкой по направлению к тройке; с достоинством молча оттуда поднялся высокий, сухой, исхудалый мужчина с небольшою седою бородкой, приподымая скромный картуз над остриженной в скобку сединой; это и был миллионер Еропегин; тут поняла баронесса, что тройка, лошадь, кучер, да и вся упряжь — не чижиковская (Чижиков ничего такого при себе не имел), а еропегинская.

Взором, Бог весть отчего, в купца впилась баронесса, и, Бог весть, был вопрос почему в ее взгляде невольный; невольные по лицу пробежали досада и страх; будто даже со злобой она подумала: «Исхудал-то как, исхудал: одни живые мощи остались...» Еропегин же застенчиво на нее поглядел чрез очки и глаза его не выразили ничего ровно; одно степенное в них отразилось достоин-

ство; все же чувствовалось, что степенное это достоинство всегда и везде сознает свою силу: да, да, да — пришло то желанное времечко, когда в три погибели должна согнуться белая, благородная, баронская кость пред его, еропегинским, упорством: «согнись-ка, согнись-ка, — думал он, — да еще в ноги мне поклонись: захочу — потоплю; захочу — половина баронских угодий останется при тебе». Но эти мысли не отразились никак, когда он прикладывал свои мертвые губы к пухлой ручке старухи; как смерть белая, с белым от притираний и пудры лицом, с белыми от времени волосами, в меховой белой тальме она ему напомнила призрак.

Грянула где-то там рыдающая гамма звуков: это в доме Катя села за рояль; звуки кидались менуэтом в мгновеньях, что неслись за мгновеньями; и время наполнилось звуком; и казалось, что и нет ничего, что не звук; и встали тут аккордами старухины прожитые годы, ручьи золотые, молочные реки и свора жадных, гадких, до ласк падких мужчин; и среди них — этот вот купчик гулящий; но его отстранили тогда от нее гусарские шпоры.

И вот он опять перед ней с глубоко затаенной своей думой: «За все теперь пришел час моей мести: и за то, что мои ты некогда взволновала мечты, когда я, молодой купчик, твою полюбил уже дряхлеющую красу; а ты?.. Ты из Парижей да Лондонов сюда надо мной наезжала глумиться, мою мучить младость».

Эти мысли пронеслись мгновенье, окрыленные звуками; он еще поклонился; она приглашала его жестом, полным величия, в дом.

А уже легендарный генерал давно провольтижировал в переднюю и там пренебрежительно швырнул в руки Евсеичу — ей, ей, — потрепан-

ную крылатку, из-под которой так и обдала своим благовонием тубероза-лубэн; оказавшись в клетчатой, яичного цвета визитке и сохраняя на левой руке еще более яичного цвета перчатку, генерал, гордо выпятив грудь, ступил в залу, и тотчас же принялся за поиски плевательницы; наконец, нашел и плюнул. Так ознаменовалось первое предприятие в доме этой великолепной особы.

Генерала встретил Дарьяльский.

— Действительный статский советник Чижиков.

Обменялись рукопожатием.

— А-а-а, могодой чеовек! Да вы кто, есь-ей, есь-дек? Пгедгагаю вам гешить агьяйный вопгос — тьфу (это он сплюнул в угол); мы, несущие кьясный тегог, понимаем пгекгасно, что пгавительству сьедует ввести пгогьесивный наог, чтобы остаться у вьясти, но докажите-ка агьяиям, что такое мегопгиятие... — увидя в зал входящую баронессу, родовитое инкогнито присмирело, оборвало свои кровавого цвета речи и замурлыкало себе под нос, подмаргивая Дарьяльскому: — Та-га-га... Та-га-га... А у меня есть для вас пгекгасные ньюфандьенды, щенята: собаку моего дгуга судили, и пгекгасные ньюфандьенды! — разорвался, как бомба, генерал, — уай-уай... годиись... уай-уай... в окгужном суде... (генерал испускал звуки восторга, что-то среднее между «у» и «а»).

— Благодарю вас, генерал, — сухо, но вежливо процедила старуха, но в глазах у нее закипали смутное недоверие и боязнь; вежливо указала она генералу на кресло; и генерал тотчас сел и принялся за шипучку из смородинного листа, которую, по давно заведенным обычаям летнего времени, разносил всем гостям Евсеич, хотя лил дождь и жары не было.

Еропегин, которого, будто забыв, не пригласила сесть баронесса, переминался в довольно неловкой позе, и его сухие, цепкие пальцы суетливо забегали по длинной поле черного сюртука; наконец, не дожидаясь приглашения, он сам придвинул себе кресло и спокойно уселся, не произнося ни слова.

Все замолчали; грянула где-то там волна изрыдавшихся звуков: точно кто-то быстро перебежал снизу вверх; это время чью-то перебежало жизнь; и мукомол вздрогнул: полна жизнь еропегинская, — вот в его кулаке весь уезд; сожми он кулак, закряхтят баре: таковы дни его жизни. А ночи? Ночи летят — и в ночах седеет иконописная его голова... вино, фрукты, женские всякого сорта тела — все летит, как и звуки летят: а куда все слетит? Пролетит и он, Еропегин, в свою пустоту со своей полнотой жизни, а у певичек его, как вот у этой старухи, зубы выпадут и заморщится кожа.

Так сидели они и смотрели друг на друга — старик смотрел на старуху; сожженными казались оба трупами собственных жизней; одна проваливалась уже в мрак; перед другим теперь многих лет мечта исполнялась; но души обоих равно были от жизни далеки.

«Пора начинать», — Еропегин подумал и молча подал старухе запечатанный конверт, наслаждаясь, как ее трясущаяся рука судорожно разрывала обертку; старуха, надевши очки, простучала палкой к письменному столу. И пока из пакета на стол рассыпались бумаги, Лука Силыч, пощипывая бородку, холодно безделушки разглядывал из фарфора, расставленные на полочке Катиной бережною рукою; две танагрские статуэтки, види-

мо, привлекали его внимание; мысленно он прикидывал им цену.

Тою порой генерал Чижиков, не усидевший на месте, уже прижимал Дарьяльского к противоположному углу комнаты; надувши губу, он на животе теребил свой тяжелый брелок и продолжал разрываться словами:

— А стганная, стганная, могодой чеовек, в наших местах появиась секта... Гоуби появиись, гоуби, — наставительно поднял он палец и высокоприподнятые брови генерала выразили снисходительный комизм. — Секта гоубей: испгавник мне говоий, будто секта эта мистическая и вместе с тем гевойюционная — гоуби! Па-па-па, что вы об этом скажете, батенька?

— Что же это за секта? — минуту спустя переспросил Дарьяльский, мысли которого были в другом: он равнодушно смотрел через плечо генерала, как показался в дверях Евсеич с подносом в руках; но увидевши, что никто, кроме генерала, не коснулся шипучки, Евсеич скрылся.

— А вот-с, по секгету, — генерал вынул бумагу, на которой был отпечатан крест: — Позьвогьте пгачесть пьякьямацию... — и генерал зачитал: — «Бгатия, испойниось сьово Писания, ибо вгемена бьизки: звегство Антихвистово наожио печать на земью Божью; осени себя кгестом, нагод пгавасьявный, ибо вгемена бьизки: подними меч на сьюг вейзевуовых; от них же двогяне пегвые суть: огнем попаяющим пгойди по земье гусской; газумей и могись: гождается Дух Свят: жги усадьбы отчадия бесовского, ибо земья твоя, как и Дух твой...»

— Читать дайше? — торжествующе поглядел генерал Чижиков, но Дарьяльский молчал; он смотрел в противоположный конец комнаты, где

стоял Еропегин над баронессой, как седой, сухой труп; за письменным столом дрожала, пыхтела и таращила в ужасе черные очи свои из-под темных, опухлых мешков баронесса, перебирая пальцами горсти бумаг, квитанций, расписок; а то она растерянно туловищем прикрывала бумаги, и горбатая, набок свернутая спина, белая, как и она вся, беспокойно ёрзала над ее опененной кружевом головой; старуха как бы собралась лечь своей грудью на жалкие эти остатки когда-то ценных, процентных бумаг, а между тем как стрелы ее еще прочных, но тьмой упоенных и каких-то детских глаз записали дуги по шкапчикам, коврикам, занавескам, минуя Луку Силыча.

И наоборот: тихо, степенно, скромно застыл перед ней иконописный, будто с иконы сошедший, старец, свое партикулярное одергивая платье; сухими перстами взял, и сухими перстами перебирал какую-то книгу; только стекла его очков леденили жестоким старуху блеском, — совершенно разыгранным они жгли безразличием; вот он положил книгу, ласково взялся за свой картуз, оправил длинную полу черного своего сюртука и зажевал губами:

— Ндас, баронесса: по счету к первому июлю, стало быть, вы мне уплатите двадцать пять тыщ, а по скупленным мной векселям протчие полтораста — к августу. Ну, а с миллионами, очень даже мне это жалко, а придется вам распроститься... Акции Метелкинской ветви, сами видите, как упали-с, — потому война; акции Вараксинских рудников, после того как банк лопнул, тоже ломаного гроша не стоят-с... Забастовки и все протчее-с... Очень мне это даже обидно за вас и жалко, а... Ну, так как же-с? Я пришлю, стало быть, своего управлющего за двадцатью за пятью:

пообдержался, деньги, сами знаете, нужны: и потом — економический кризис нашей страны...

Все это он проговорил тихо, едва слышно; и тихо, степенно, скромно сел в кресло; а под старухой скрипело, ходило сафьянное, крепкое, красное кресло; только едва видная усмешечка сухих, мертвых, иконописных Луки Силычиных губ да дрожанье бородки выдавало очевидное удовольствие при виде самой баронессы Тодрабе-Граабеной, которая, пальцами ухватясь за ручки кресел, привстала; блеснул ее изумруд, треснула набалдашником на пол упавшая палка; и уродливая тень на стене выметнулась из угла.

— Да вы с ума сошли, батюшка? Ведь у меня эдаких денег наличными нет...

— Ну, а коли наличными нет, значит, худо, очень даже худо для вас, — так же все ласково продолжал Еропегин... — Двадцать пять тыщ мне нужны сейчас, а за протчими...

Молчание.

— Лука Силыч, пощадите вы меня! — вырвалось у старухи.

Молчание.

— Так как же-с? Значит, к первому я пришлю...

Он не казался исполненным величья; но все же упился теперь своим мертвым достоинством.

— Так, значит?..

Молчание.

Он думал: «Ежели бы поклонилась мне в ноги, все бы так я и простил». — Но старуха не кланялась; и ласковый Лука Силыч оставался неумолим.

В противоположном углу комнаты генерал Чижиков продолжал заливаться, что твой заправский соловей:

— А, каково? Я всегда говоий, что ггубое сектанство не совместимо с гевоюцией; я вообще стою за пготестантизм: а то вот что погождает пгавосьявная Цегковь: говоят, что будто мы пьем кьёвь Бога и едим Его пготь: газве мы едим того, кого юбим? И потому... уай, уай, ггаф Тайстой... Та-га-га... Та-га-га, гоуби, а — гоуби?!. — и сплюнул в плевальницу.

«Вот оно, — думал Дарьяльский, — разложение началось...» — Он себе на свою отвечал мысль: только что в его душе угомонился бушевавший вчера хаос, и в нем совершилась победа над гибельным, с пути его сбивающим чувством, — и бесы из его вышли души, — как уже вновь они зароились вокруг него и приняли нелепые, но вполне реальные образы: уж подлинно — не из туманной ли мрази, упавшей на окрестность, зародилась эта тройка, да и сам генерал: просто осела тройка в тумане и чья-то ее бросила на усадьбу мстительная рука. Бог весть из каких мест людей этих принесла тройка; не для того ли, чтоб вожделений тайное безобразие снова обстало его окружающей стаей?

Как бы отвечая на его мысль, чьи-то с террасы раздавались шаги; Петр поглядел в окно; и там, в окне, стояло теперь нелепое существо в серой фетровой шляпе — и начало маленькой своей, будто сверху приплюснутой на непомерно длинном и тощем туловище головкой; «этого только недоставало», — едва успел подумать Дарьяльский, как нелепое существо, в окне его увидав, радостно бросилось по ступенькам террасы, а с непромокаемого плаща потекла на ступеньки дорожка воды; нелепое существо улыбалось; оно оказалось молодым человеком с совиным носиком и в подвернутых штанишках; вот оно споткну-

лось о ступеньки террасы, точно подпрыгнуло на своих комариных ногах; вот и еще преткнулись его ноги и покатился в сторону серенький узелок; что-то было до крайности жалкое и смешное во всей фигуре новоприбывшего, и генерал Чижиков, приложив свой лорнет, удивленно его разглядывал; но, преодолев все препятствия, а их было немало, молодой нелепый человек, приятно краснея, как робкая девушка, с очевидным восторгом заключил Петра в свои сырые объятья, отчего фигура нелепого человека изобразила явный вопросительный знак и дрябло сломились ноги; но каково же было изумление генерала, когда нелепое существо запищало тоненькой фистулой:

— Высокоуважаемый Петр Петрович... Я, то ись, не я... и по очень простой причине, что... наведался, так сказать, полюбоваться на ваше, сверх ожидания, счастливое и приятное положение, вызванное неуклонным желаньем сочетаться законным браком с ангелоподобным существом...

Петр, освобождаясь от объятий и подавив досаду, старался изменить бестактный ход мыслей нелепого существа:

— Добро пожаловать, Семен... я рад тебя видеть... Ты, собственно, откуда и куда?

— Идучи пехтурой в Дондюков, где у меня проживает родительница, — и наоборот: задумал я на пути навестить однокашника, друга... и поэта, а, кстати, поздравить этого друга с высокоторжественным фактом отыскания спутницы жизни... и в столь уютной обстановке! — тут молодой человек, выпятив плечо и закручивая усик, вдруг расхрабрился и подлетел к баронессе, чтобы прилично отшаркаться. Но Дарьяльский опять отвлек его.

Баронесса и Еропегин, занятые друг другом, не обратили, казалось, никакого вниманья на новоприбывшего; но генерал Чижиков так почему-то и запылал интересом, почуя скандальчик; порывисто он пожелал быть представленным, в знак чего протянул два свои пальца нелепому существу.

— Чухолка, Семен Андронович, студент Императорского Казанского университета.

— Ничего, ничего, — процедил снисходительно генерал Чижиков, — маядежи свойственно увьекаться: есь-ей, есь-дек? — вопросительно поглядел он на Чухолку.

— Вовсе нет, — запищало нелепое существо, — ни эс-эр, ни эс-дек, а мистический анархист и по очень простой причине, чтó...

СОН НАЯВУ

Дарьяльский и Чухолка стояли во флигельке; в окне бился праздный комар. На Петра взглянет Чухолка — Петр богатырь: стоит, напрягает мускулы.

— Ну что, брат Семен?

— Да так оно все, то есть, никак, собственно; и наоборот, а, впрочем: читаю Дю-Преля, пишу кандидатское сочинение об ортокислотах бензойного ряда.

— Эге!

— Материальные нужды одолевают, так сказать, а коловратная судьба препятствует правильному развитию ментальной моей скорлупы...

— Ну, да ты брось теософию... Денег надо?

— Да, то есть, — нет, нет, — запетушился, заерошился Чухолка. — Я, собственно говоря, — хм: позволишь на «ты»? Да; так вот; я, собственно,

ни зачем — так: навестить однокашника и поэта в месте поэтических увлечений — что я! в месте амурных его похождений — совсем не то! — вовсе запутался Чухолка, наткнувшись на стол, — в месте злачном, и в круге наблюдений над русским народом в момент, так сказать, напряжения его духовных сил в борьбе за право, и по очень простой причине, что́...

— Эге! — отмолчался Дарьяльский, чтобы остановить вовремя этот бессвязный поток, могущий в любую минуту превратиться в совершеннейший океан слов, в которых имена мировых открытий перемешаны с именами всех мировых светил; теософия тут мешалась с юриспруденцией, революция с химией; в довершение безобразия химия переходила в кабаллистику, Лавуазье, Менделеев и Крукс объяснялись при помощи Маймонида, а вывод был неизменно один: русский народ отстоит свое право; это право вменялось Чухолкой в такой модернической форме, что по отдельным отрывкам его речи можно было подумать, что имеешь дело с декадентом, каких и не видывал сам Маллармэ; на самом же деле Чухолка был студент-химик, правда — химик, занимавшийся оккультизмом, бесповоротно расстроившим бедные его нервы; и вот казанский студент являлся бессильным проводником всяких астральных нечистот; и отчего это, будучи добрым и честным малым, неглупым и трудолюбивым весьма, Чухолка пропускал сквозь себя всякую гадость, которая лезла из него на собеседника? Всякая путаница вырастала в его присутствии, как растут из щепотки порошка фараоновы змеи; низкое же происхожденье, тонкая фистула голоса, расплющенная головка и совиный нос — довершали остальное; Чухолкой тяготились, Чухолку гнали из всех мест,

где имел он несчастие появиться: всюду своим приходом вносил он вибрион безобразий.

Вводя в свой флигелек студента, Дарьяльский не мог не поморщиться: этот день он хотел провести с одной только Катей; должен же он был, наконец, объяснить ей свой вчерашний уход? Но еще более Дарьяльский морщился оттого, что появление Чухолки на его горизонте бывало всегда для него недобрым предвестием — насмешкой, что ли, невидимых врагов: так, однажды, поймав Дарьяльского, Чухолка его поставил на сквозняк; и простудил; другой раз он заставил Дарьяльского перепутать все сроки; в третий раз появился в день смерти матери; с той поры Чухолка пропадал; и вот он опять появился. У Дарьяльского было особое даже желудочное ощущение (тошнота и тоска под ложечкой) после бесед с казанским студентом. «Черт его знает, — подумал наш герой, — опять пришел этот Чухолка: опять на меня из него всякая попрет гадость».

А бедный Чухолка уже в комнате его свой раскладывал узелок, и Дарьяльский дивился, как все там было в порядке уложено, перевернуто: пакетики в белой бумаге перевязаны розовой ленточкой, несколько новеньких книжек в новеньких переплетах; зубочистки, гребенки, щетки в исправной чистоте; была одна всего смена белья, две ситцевых рубахи и один поясок; но зато имелась склянка с одеколоном, пудра, бритва и даже пресловутый парикмахерский камень всегда таинственного происхождения; но всего более удивил Дарьяльского свежий кулек, из которого торчала большая испанская луковица.

— А это что у тебя?

— А это я матушке: проживая в деревне за неимением избытков материальной жизни — да:

матушка лишена удобств, и вот я везу ей в дар испанскую луковицу и по очень простой причине, что́... Ежели б та аристократическая старушка пленилась луком, я бы ее улучил — совсем наоборот: поднес ей этот скромный дар.

— Оставь...

Дарьяльский вышел из флигелька: Чухолка его положительно раздражал; больше ни минуты не мог он оставаться наедине с этим бредом.

Дождь прекратился: опять на минуту блеснуло солнце; Гуголево предстало пред ним, развернулось, в цветущие свои оно его заключило объятья — и вот оно глядит на него, Гуголево: озером светлоструйным своим теперь оно глядит, Гуголево; но баюкает еще своим голубым поющее серебром озеро; и все еще бегущее озеро к берегам, к берегам оно струей своей тянется — не дотянется до берегов: и шепчется с осокой, — и там, в озере, Гуголево; будто все как есть оно встало из-за дерев, с улыбкой потом загляделось на воду — и убежало в воду; и уже в воде оно — там, там.

Глядите вы — обращенный, легко в глубине танцующий теперь дом заструился легко; и белыми теперь змеями странно пляшут колонны, проницая светлость вод, а под ними — там, там: опрокинутый странно купол, и странно там пляшет проницающий глубину светлый шпиц, а на шпице — лапами вверх опрокинулась птица; как все теперь вверх опрокинулось для него! И он смотрит на птицу; теперь лапами она оторвалась, и вся как есть для него она в глубину уходит.

— Куда ушла от меня, ты, моя глубина?

А там-то, там-то! О, Господи, — плещется она вся, звенящая быстрина: вот что такое теперь в душе у Дарьяльского.

«Там, душа моя, — глубоко: там — студено́, студено́; и все у меня там мне неведомое. Неужели же не со мной, а как птица, что снялась в глубине с танцующего шпица и улетела, неужели же так снялась с тела и улетела моя душа? там, заронясь в воду, текут облака — и подводная то неизмеримость, но то — вод поверхность; так почему же поверхность эта мне показала свою глубину, как и годы мои, что протекали на поверхности — так и годы мои не здесь протекали, а там, в зеркальном отражении... Слушай струй лепет: гляди в светло зыблемое отраженье, более прекрасное еще, чем жизнь: зовут струи — туда зовут, и там, там стрижи вьются, кружатся, стригут крыльями воздух подводный; и моя душа — расстригающий глубину стриж. Куда она летит, моя душа — куда? Она летит на зов; как не лететь ей, когда бездна ее призывает?»

«Эге! А куда же, в самом деле, моя девалась душа?» — подумал Дарьяльский; сладкая сладость и легкость в теле во всем его разливалась пением нежным и далеким зовом души.

И он понял, что давно где-то затеряна его душа, и что нет ее в Гуголеве, как нет никакого Гуголева в глубине отливающих блеском вод; там вон и дом, и цветы, и птицы, а кинься: болотная слизь тебя обсосет и в грудь твою черная вопьется пиявка. Где же она, его душа, коли вовсе нет ее в бренном теле? Как пернатый орел, ниспавший на птицу, цепко в лапах своих ее держит, и кружится с ней в небе, где нет ничего, кроме воздуха токов, и в небе, в воздуха токах, страшное происходит сраженье, и летит пух, и брызжет кровь, — так давно еще кто-то на душу его напал, в воздуха токах, и летели дни, и брызгали молнии его кем-то внушенных мыслей — кто-то на

душу его напал в то роковое мгновенье, когда она, душа, совершала полет свой вдали от земного своего образа; давно уж кругом с опасеньем взирал земной его образ, оглядывался на людей, на пустые углы, на цветы, на кусты — что́ мог он заметить в кустах, кроме птичьего щебета? А борьба шла: так мать похищенного орлом дитяти, в воздух свои заломившая руки, в воздух глядит — и уже нет никого в воздухе: ни орла, ни ребенка; и уже далеко-далеко и орел, и навеки для нее утраченное дитя.

Вот и он: Гуголево уставилось на него из воды, — ну, скажите: разве то Гуголево? Легкая по воде пробежала рябь, и там уже нет ничего: только белые пузырьки, будто кто-то по воде прошелся стеклярусом, да старушечий шепот осоки, да, пожалуй, еще кто-то: вон тянется из воды его рука, могуче простертая, старческая.

Дарьяльский проснулся с тяжестью в голове, тщетно силясь припомнить, что такое ему во сне померещилось: и ничего не помнил. Гуголево снова предстало пред ним, развернулось, в цветущие свои оно его заключило объятья; озером светлоструйным своим теперь оно глядит, Гуголево. И какая-то сладкая песня подымается в его душе. Тихо над ним из осоки наклоняется розовый детский лик, и дитя улыбается, и склоняется, поднимает руку с розовым цветиком, — ах: из-за его спины на поверхность пруда упал иван-чай. Петр обернулся.

Катя стояла перед ним: она наклонила бледное свое личико в розовых иван-чаях; искоса она глядела на него; будто она невзначай здесь, у воды, накрыла Петра; и она молчала.

НЕРУШИМОЕ

— Бедная Катя, бедная моя невеста! Не достоин тебя твой Петр; знай же это и подумай, какая тебя ожидает участь.

Но Катя его и не слышит; у, какой у него могучий вид, какая красная у него грудь, будто пурпур треплется в ветре холодном и лапы крапивы как бьются у него на груди; у, какой у него ус, шапка какая волос, будто пепел горячий свивается с головы этой, где очи, зеленым огнем теперь блеснувшие, — уголья, прожигающие душу дотла!

— Бедная ты, какого теперь возьмешь себе мужа, а на довольство ли, а на радость ли сменишь девичью жизнь? На женскую твою долю тяжело и грубо опустится моя рука...

У, как шумят деревья, треплется Катина синяя юбка, разлетелись волосы; у, как посвистывает, как ходит сырая вокруг трава; закачались ветви, прутья, вершины, и ярко-розовые иван-чаи расходились, что Катин души молодой размах: песнь пелась и проповедь начиналась — и везде шум... А вот он, нежный цвет ее души молодой; а вокруг ветра вдали свистели волынки и древесные разбивались тимпаны, а столетний с бугра дуб, как пророк, лесному народу протягивал руки.

Вот он, цвет души ее молодой; ах, как вся она протянулась к нему, — обвить бы его руками и заснуть бы на груди, но крапива бьется на этой груди; пусть же ей обожжет щечку крапива; пусть же ее разобьет он жизнь.

И тихую она на раскаленной его груди положила головку: и кудри ее с его кудрями слились — кудри слились в один прядающий в ветре дым, что отлетает с красного пламени: какой костер зажгли в том месте? Жадные жадно раскрылись

их уста; стальные руки, ломающие тонкий стан, в порыве протянулись, раскаленная лава дыханья в ее грудь пролилась; вот уж с устами уста ее слились в длительном, и тягучем, и влажном дыханье; синее ее платье, что синее ее небо, в красном, что заря, пламени его одежд: и над этой зарей двух жизней, теперь слиянных, пепел воздушный, разуверений облако; растанцевались вокруг иван-чаев розовые кисти.

— Петр, довольно: потише! — бьется невеста Катя в его руках. — Петр, нас могут увидеть...

Но Петр себя потерял; в полузакрытые он ее заглянул очи, а теперь влажными пьет эти очи губами, и ее темные защекотали ресницы уста: голову он откинет, и взором этот пьет взор — не взором: пьет души своей порыв, теперь слетевший к нему голубкой: крылышками голубка забила в пустой его, пустой груди: тук-тук-тук.

— Петр, довольно: как забилось твое сердце!

Прилетела голубка, затрепетала крылышками, крылышком горло сжимает, и Катины слезы, что прозрачные из глубины души прозябшие зерна, голубка теперь поклюет — наклюется: жадная голубка; все поклюет и чужую опустошит душу: тогда выбьется из души и улетит в небеса. Пусть же теперь удлиненные, синие очи с очами сливаются, а заломленные руки стальная ломает рука; взоры пьяные открываются взорам пьяным; души встречаются и летят, — а куда?

— Петр, довольно: у тебя сердцебиение!

Стыдливо она от него отодвинулась; выглянуло солнце и ударило ей в лицо: в глазах у нее павлиньи перья, а на ней забегала сетка ясненьких зайчиков; но скрылось солнце.

— Слушай, Петр, — покраснела глупая девочка, — правда ли, что мужчины... что мужчина, —

она покраснела густо, густо — так густо, что даже руками закрыла лицо, — что мужчины любят совсем посторонних женщин... так, просто: ну, когда вовсе они не любят!

— Правда, краса моя: есть такие мужчины!

— И они так же тогда целуются, как ты сейчас меня целовал? — а сама думает Катя, что вот у мужчин какие колючие щеки; так и горит ее лицо от прикосновений этих колючих щек.

— Любишь ли ты меня, Петр?

— Как же мне, краса моя, тебя не любить!

— Значит, я — первая в твоей жизни?

«Да!» — чуть ли не выговорил Петр и запнулся, а Катя на него смотрит испуганно, прижимая руки к груди, и ее малиновый теперь ротик полуоткрылся... «Да!» — чуть ли не выговорил он, но вспомнилось ему вчерашнее его безумство, и он запнулся: ему вспомнилась т а о д н а, которую он никогда не встречал, не встретил и в Кате. Катю он любит, но Катя — не та заря: да и встретить нельзя ту зарю в образе женском.

— Ну, ну? — так и впилась в него Катя глазами и пальцы ее невольно сломали ярко-розовый цветка султан; а он — нахмурился он и снова щетина нависла у глаз, и зеленые уголья глаз на луг перед ней рассыпали молньи: ту можно встретить; но лик ее обезобразит земля; вдруг перед ним уже стоял образ вчерашней бабы: т а, пожалуй, была бы е г о з а р е й; так, подземным пылая пламенем, он стоял, скрестив руки, и говорил:

— Слушай меня, моя тихая Катя! Если не примешь ты меня, каким родила меня мать, я уйду от тебя далеко, а вдали от тебя я паду низко, потому что огненна моя страстная кровь; и кровь меня отравляет. Катя, невеста моя, за кого ты идешь? Если б ты знала!..

— Я знаю, я знаю! — тихим стоном пронеслось близ него; Катя все поняла: да — он такой же, как все; и, такой же, как все, он имел до нее с женщиной позорную связь; у, как он там стоит, точно красный, в нежных цветах, ее покой смущающий апостол; и что-то на нее звериное глядит из него. А кругом — шум: кучки деревьев, — осин, дубов, вязов, — закипают попеременно; и стоит вдалеке беспеременный шум, прошлому говорящий «прости». Точно шла проповедь красных апостолов о том, чего нет, но что вскоре случится; а сблизи дерева замирали, поджидая к ним летевшую, непетую песнь: песнь души ее пелась и страшная проповедь начиналась, чтобы далече, далече по селам, лачугам и звериным тропам разнести Катин души размах; и зверье откликалось; может быть, там — на звериной тропе одичавшая выползала собака, чтобы, поджав уши, уткнуть морду вверх и вторить порыву; и, может быть, — человечьи у ней были глаза; а она, собака, человечьими своими глазами глядела теперь на прохожего; он же крестился и пуще нахлестывал трусившую по грязи лошаденку, и за ним среди бела дня гнался оборотень; что же страшного тут, коли оборотнем оказался и ее Петр!

Он стоит и молчит, и глядит на нее горящими угольями: но Катя перемогла себя: во мгновение ока пережила она бурную его жизнь; внутренним оком его она провидела паденье; но она провидела и кару, нависшую над ним: ей показалось, что его голова излучает невидимое, мозг сжигающее, пламя; но она не знала, что адское это пламя — его завтрашний день. Она пережила все и все простила.

— Принимаю тебя всяким...

Он опустился на колени в сырую траву, в крапиву, а она горестно поцеловала его в его пламенный лоб.

Вот уже поднялся с земли, опоясанный силой ее любви для будущей битвы.

БЕЗОБРАЗНИКИ

Палашка, барынина прачка, на прудике полоскала белье: она была мягкая, белая, полная, розовощекая; желтенькие на щечках ее цвели веснушки, а белые полные ножки наполовину в воде были подоткнуты до белых ее колен; растрепались волосики.

Когда глянуло солнце, так и забегали по ней его солнечные зайчики: забегали и по голым рукам, и по голым ногам, и по розовой юбке; а в тонких, тонких ветвях, вся в лучах, вся в цветах она была — просто прелесть какая! Так и забегал вокруг генерал Чижиков: «Ишь, старый», — подумала Палашка и усмехнулась.

Генерал Чижиков не удержался: из цветов, из ветвей он напал на нее: «Гозанчик, гозанчик, поцелуй меня!» — и, сделав из рук рожки, граф Гуди-Гудай-Затрубинский белую пощекотал Палашкину грудь, и полез руками за рубашку; запыхтели они и забились, пока вырвавшаяся Палашка, огрызаясь, не хлестанула его по лицу мокрым бельем: «Ишь ты, пристал — вот ужо пожалуюсь барыне!»

Но генерал Чижиков, обтираясь платком, ей послал поцелуй: «Мягкая какая... Безешки не хочешь?»

Тут налетел он на Чухолку, которому надоело сидеть во флигельке; увидев испанскую луковицу,

торчавшую из его кармана, генерал Чижиков тотчас же забыл неприятный для себя инцидент.

— А, что? У вас ук, испанский ук? Какая пгейесть! Э, да не бомба ли это?.. Давайте-ка уковицу! — и он выхватил луковицу из кармана казанского студента...

— Великий химик Лавуазье делал опыты; колба лопнула, и кусочек глаза попал в стекло, то есть, наоборот: и кусочек стекла попал в глаз, — попробовал сострить Чухолка.

Генерал испугался, торопливо сунул Чухолке луковицу в карман и быстро ретировался.

— Подозгитейно, очень подозгитейно, — зашептал он и вынул записную книжечку.

Через два часа гости уехали.

— Барышня, будете в Лихове, милости просим к нам; лучше у нас, чем в гостинице, — говорил Кате на прощанье Лука Силыч, сладострастно оглядывая ее похорошевшее, соблазнительное лицо.

Кучер взмахнул лимонными рукавами; звякнули бубенцы и дворянская красная фуражка еще долго качалась из-за дерев.

Генерал Чижиков весело пофыркивал в проплеванные свои бачки: «А, о, огого, бгат Ука! Эдакая девчоночка! Да ее бы», — он наклонился к Еропегину и зашептал непристойность.

СКАНДАЛ

— Пора бы и кушать: поди, чай, девятый час! — так решил Евсеич и вышел из комнаты: резкий зов кричащего гонга оглушил окрестность; крякнула вышедшая старуха и тучи черней она уселась за стол.

Она заперлась с самого с отъезда гостей: но она не плакала; сухое горе давило ее, и старуха переносила на окружающее свое недовольство: где они все? Что за порядки? Как водворился этот попович, так пошли всякие опозданья, шептанья в углах, в кустах любовные шашни.

Она теперь была бедна; ее выгонят из этого дома; чем ей теперь уплатить долги: минула любовь, минула младость; все, все отходило в хаос довременный; деревья в окне порывались, и хаос довременный зашумел в их лапчатых ветвях: там, в окне, теперь уползало ненастье; темная, томная, белоглавая уползала к Лихову туча; ее осиянные купола, распустив ввысь плащи, опадали над лесом. Старуха наклонилась к болоночке и жалобно воркотала: «Мимочка, болоночка ты моя, одна ты у меня, собачоночка глупенькая»...

Вдруг перед старой выросло нелепое лицо, до ужаса безобразное, и совиный носик над ней закачался, и над ней помаргивали гадкие, сладкие, как ей показалось, щелки глаз, а длинная с испанской луковицей рука протянулась к самому ее носу; в это время белая болонка вылетела из-под юбки ее ожесточенно и тотчас же полетела обратно под юбку, когда о пушистый белый болонкин хвост жалобно преткнулась тонкая чухолкина нога:

— Ах-с, пардон, мерси-с — виноват: я оскорбил почтенное существо, бессмертную, так сказать, монаду в собачьем возрасте, то есть, — нет: в собачьем облике, и по очень простой причине, что... перевоплощение земнородных существ в их коловратном вращенье...

— А ты кто такой, батюшка? — в негодовании вскипела старушка, поднимаясь с кресла и сжимая палку в руке.

— Я... я... я, — законфузилось нелепое существо, — я — Чухолка...

— Какая такая?

— Извините, не будучи вам представлен, являю вам образ лучшего друга и однокашника вашего избранника — наоборот: избранника вашей дочери... тут у вас гулял в благорастворении воздуха...

— Нет, откуда ты, батюшка мой, сюда попал? — в совершенном свирепстве продолжала наступать на него старуха.

— Из... из Казани, — пятился Чухолка, умоляюще ей протягивая лук.

— Ну, так ступай же в свою Казань! — и повелительным жестом она ему указала на дверь.

Но уже в дверях показались Дарьяльский и Катя; Катя первая сообразила опасность, грозящую Чухолке; она кинулась было вперед; но Дарьяльский, побледнев, схватил ее за руку и отбросил назад; все в нем кипело гневом, видя оскорбление, наносимое человеческому существу; но он перемог себя, скрестил руки и, тяжело дыша, молча наблюдал разыгравшееся безобразие.

И действительно, было от чего прийти вне себя: растерявшийся Чухолка праздно качался перед взбесившейся баронессой, которая, наконец, нашла исход как весь день душившему ее беспокойству, так и буре, поднятой в ней еропегинскими словами; но чем более наступала старуха, тем беспомощней улыбался ей Чухолка: все координации нервных центров расстроились в нем, и автоматические движенья длинных рук получили господство над движениями сознательного «я»... многие «я» теперь вихрем неслись в его представлениях, и когда он заговорил, то казалось, что десять плаксивых бесенков, пере-

бивая друг друга, выкрикивали из него свою чепуху.

— Тем не менее, однако же... пользуясь вашим гостеприимством для поднесения к столу вот этой вот луковицы...

— Вон! — не закричала, заклокотала старуха.

— Как, меня? — только теперь сообразил Чухолка ужас своего положения и лицо его налилось кровью. — Как, меня?.. благородного человека, и наоборот: да я... я... я вас взорву! — бессильно выпалил он и залился слезами.

Как пущенная из лука стрела, сорвался Дарьяльский: он не мог вынести этих чухолкиных слез: казалось, рой бесенят в оскорбленной этой сидевших, как в Пандорином ящике, оболочке, вылетел наружу, закружился невидимо и вошел в его грудь; и, не помня себя от бешенства, он оттолкнул наступавшую на студента старуху, сжал ее руки, вырвал у нее палку и отшвырнул.

— Возьмите ваши слова обратно, или я... я... — задыхаясь, шептал он.

Все замерло: ветви кидались в окна, а за окнами стоял шум: там по высям шел ветер; дали роптали клокотаньем неумолкавшим; точно пересыпали зерно, то густою струей, а то струей тощей; пересыпали зерно там и здесь: то там, а то здесь. Но то был ветер.

Старуха взглянула на Дарьяльского своими большими и детскими теперь глазами; из отвислых губ ее потянулась слюна...

— Меня, меня?!!

Машинально, даже как будто спокойно, как бы совершая неизбежное, ее разжалась поднятая рука у Петра на щеке: пощечина звонко щелкнула в воздухе; пять белых пальцев медленно загорались на бледной коже Петра: бесы теперь, разорвав-

шие самосознанье Чухолки, пронищая тела этих обезоруженных гневом людей, такой подняли вихрь, что, казалось, будто между этими людьми провалилась земля и все бросились в зазиявшую бездну.

В глубоком затишье захрипели часы — и дон: половина девятого.

Этот звон им вернул память о происшедшем: бездна захлопнулась, бесы пропали, люди стояли друг перед другом; равно ужасаясь случившемуся: раздался Катин крик; вихрем пронеслось в сознаньи Дарьяльского: он теперь оскорблен; есть математика поступков; и, как дважды два четыре, должен он представиться оскорбленным, хотя бы он понимал, что от беспомощности только бедная его ударила, заревевшая теперь старуха, в неописанном ужасе павшая в кресло и простиравшая Кате свою бессильную руку...

— Деточка моя, внучка моя, Катенька, — не покидай ты меня, старуху... Ааа-ааа-ааа! — разливалась она в три ручья.

Вихрем прошло в сознании его и то, что теперь вот, сию минуту, он себя сочтет оскорбленным и уйдет навсегда из Гуголева, и что ночевать ему придется в Целебееве: и пока он так думал, он уже оскорблялся и видел, что его присутствие здесь невозможно: обернувшись, быстро он простучал каблуками в дверь; мстительный враг его совершил над ним казнь: судьба возвращала его в те места, откуда он еще только вчера бежал...

— Деточка моя, бедненькая моя, — вся как-то смякла старуха, изливаясь слезами: — Бедные мы... скорооо-ро наа-с на улицу вышвырнут... — В опухлые эти щеки бил из окна яркий светоч отходящего дня; а само солнце, что блестящая

феникс-птица, кроясь в тонких сетях раскачавшихся ветвей, прощально свой золотой простирало хвост, благословляя приход отдохновительного сна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Он обернулся, он теперь прощался с местом любимым; уже никогда, никогда здесь не ступит его нога: вон где, из зари показало себя Гуголево: недавно оно было от него направо, налево; туда и сюда распростерлось оно: там блистало водой, там раскидалось избенками, службами, лаем звучало и маячило дымком; и все оно теперь собралось, как есть в одном только месте; собралось, и вдали в купах дубов зеленых утонуло оно; нет милей места!

И вон уже оно где — Гуголево.

Оно запевало приближающейся теперь песней: там, должно быть, проходили гуголевцы; весь озарен и высок, что сверкающий светом красавец, в ясные облеченный доспехи, и светлел, и сверкал на холме среди бурного моря зеленых листьев старинный дом; он из самых из волн возносил розовые от зари колонны, что высокие мачты корабль, уплывающий в море; от колонн тех высеребренный купол раздувался, что парус: дом уплывал от Петра к горизонту по зеленому морю дубовых крон; на корабле отплывала от жизни его принцесса Катя.

Из невозвратного прошлого прямо Дарьяльскому в очи били окна каскадами рубинного огня средь мимобегущих в ветре дубовых вершин; а гребни лесные обрушивались на Гуголево: вон тронется сосна; вон ее порыв из нее изойдет; пе-

редастся окрестным деревьям; вон за ней тронется и другая — сердито вскипит на Гуголево; и пойдет ходить вокруг кипенье да пенье: сердито вскипит старый парк, разбросаются дубовые кроны, гневно встанут, гневно пойдут на зарю.

Неподвижен в заре и прекрасен тот на кронах плывущий корабль-дом; крепкую думает думу; красными очами издалека он уставится прямо в душу Дарьяльского из мимобегущих в ветре древесных вершин: «Я ли дни твои не покоил, неверный; я ли грудью своей, как щитом, тебя не защищал; я, как щит, протянулся меж тобою и небом»... Так говорит с Дарьяльским убегающий от него старый дом; прямо в зелень и бледное и прозрачное небо ушел золотой над домом шпиц.

Сердце Дарьяльского бьется: Гуголеву говорит он: «Прости»... И бежит...

. . . .

«Зачем ты, биизуумная, гуубишь таво, кто увлекся табой?.. Ужели мииняя ты не любишь?.. Ни лююбиишь...»

«Таак Бох же с таабой»... Приближается навстречу Чухолка, увязавший наскоро свой узелок, нагоняет Дарьяльского; в вечереющий мрак несутся его возгласы:

— Весьма опечален, что злоключение произошло через меня; не по козням, а по очень простой причине, что́... испанская луковица остановила колесо фортуны твоей...

— А, да отстань! — вырвалось у Дарьяльского. — О, прости, Семен, оставь меня одного... Прощай!

Чухолка, приподняв шляпу, недоуменно остается посреди дороги, вздыхает, платком отирает пот: ему некуда, вот уж некуда деваться; до Дондюкова же остается верст двадцать пять.

Вскинул он узелок и направился в Дондюков: не ночевать же в лесу...

Пьяная орава показалась из кустов:

«Зачеем ты мииняя завлиикала, зачем заставляяла любить? Должнооо быть, таагдаа-аа ты ни знааала...»

«Каак тяшка любви измиинить...»

Красная Петра рубашка быстро пересекла им путь.

— Ай да барин? Чаво иетта иён?

— Ишь тоже — приживальщик! — сплюнул кто-то.

И ватага гаркнула Дарьяльскому вслед.

«Миняя нии палюбит друугааяя... я буудуу мичтать ааб аадной...»

«Пааверь же, маа-яя дараагаа-аа-яя, наавек я увлекся таабоой».

Окрестность в ветре взметнула дерев плащи, пуская с дерев плащей краи; листья, ветви, сухие прутья теперь отрывались в тусклую мглу востока.

— Туда — на восток, в мрак, в беспутство: Катя, Катя, куда мне от тебя идти?

А вдали замирало:

«У церквии стаа-яя-лаа каареета; там пышнаая сватьба быыла...»

«Все гости рааскошнаа аадее-ее-ты, — на лицах их раа-даасть цвиила...»

— Вот тебе и у церкви карета, — попробовал усмехнуться Дарьяльский, но сердце его больно забилось.

Соломенный ворох, снятый ветром с дороги, записал по воздуху высокие праздные дуги, бессильно опустился на дорогу, снова тронулся — и побежал как-то вбок.

Песня еще звучала, но слов нельзя было разо-

брать. «А-а-а-е... аа-рилии» — и явственный такой в сыром в воздухе одиноко возвысился голос: «жии-ниих ни-приятный каа-кой... наапраснаа дивиицуу сгубии-иилии» — окончательно замерло за перелеском...

. . . .

Уже темнеет; в сумраке заскрипели колеса; кто-то, как гаркнет там лошади: «Тпру!»

— Откуда? — рассеянно бросает Дарьяльский в стволистую тьму.

— Да аттелева: из ентава самаго места, — раздается из тьмы.

— А что у вас там?

— А у нас там степа...

Колеса опять заскрипели; Дарьяльский идет в синеющую тьму.

УСПОКОЕНИЕ

Завечерело; а все еще она стояла на балконе и смотрела туда, где красная полчаса назад на дороге мелькала рубашка Петра вплоть до того места, откуда он прощался с любимым прошлым; и уже он давно попрощался с прошлым, а еще она все стояла, все глядела туда, где прощался он с прошлым; и оттуда, из-за лесу, Целебеево ей подало голос жалобной песней и стоном гармоники: «Ниивеста была в беелаам платьи; букет был приколат из рос... Ана на свитое Распятья тасклива глядела сквозь слес...»

Кате хотелось плакать; она вспоминала и милого, и успокоенную теперь бабку: бабка только что досыта у нее выплакалась на груди и тихо, бессильно заснула, как обиженный ребенок, выпросивший прощенье: и Катя ей все простила,

забыв оскорбленье: и за себя, и за Петра. Тихо обнявшись, они сидели сейчас, сонная бабка и тихая Катя; завтра и Катя, и бабка напишут другу Петра, проживающему в Целебееве: ссора уладится.

Перед ней расстилался пруд; заря воздушно легла на сырые дорожки; и едва багрянели дорожки; и едва багрянел высокотравный луг; отцветали любки в сырых жемчугах росы; тяжко и страстно цветки издышались на все великолепным своим благовоньем; вдали поднялся хриплый и робкий звук, и от него чем-то повеяло родным, пережитым в лучшие времена жизни; пережитым, забытым повеяло: это хрипел бекас; белое море тумана медленно разлилось по низинам. Далеко был теперь ее Петр; но к нему Катя вернется; будет жизнь ее, будет; и жизнь эта будет вольна и свободна; будут в краях иноземных, заморских они с Петром — в тех краях, где дурная людская молва будет гнаться за ними, и не угонится: ни дурная молва, ни бессильные бабкины воркотанья; будет день: счастливые супруги, они вылетят на волю из старого гнезда; и это время уже приходит...

. . . .

Катя сидела в светлице, прислушиваясь к порывам бунтовавшего ветра: «Где-то, должно быть, выпал град».

Тук-тук-тук, — раздалось в ее дверь: кто бы там был? Жутко теперь, когда уже в окна смотрится ночь, открывать девицам девичьи двери: за дверьми коридор, переходы, своды, да и сам чердак.

Тук-тук-тук, — раздалось в ее дверь.

— Кто там, Евсеич?

— Я-с, барышня...

— Чего тебе?

Дверь отворилась; серая Евсеичева выглянула голова, попрыскивая смехом, — а Евсеичева тень так черно прошмыгнула на выбеленную известкой печку.

— Ну, чего?

— Хе-хе-хе-с! Забавно-с...

Посмеивается, попрыскивает, пофыркивает Евсеич: он доволен теперь: матушка-барыня изволит теперь почивать, — а старику не спится: он пришел позабавить дитю.

— Хе-хе-хе-с! А я, барышня, еще по-новому на печи свинку слагаю-с. Вот-с: безымянный-то пальчик изволите подогнуть-с, большим пальцем — так... Хе-хе-хе! — заливается Евсеич, а черная, теневая свинка уже поплясывает на стене... И Катя рада.

— Ну, довольно, довольно, старик: пора спать...

Евсеич уходит; и Катя смотрит ему вслед: там темно в коридорах, там страшно; и там, у чердака, шорох над лестницей: там похахатывает старик, заливаемый тьмой.

У, как шумят деревья!

НОЧЬ

Ночью опять привалили тучи; Целебеево погрузилось в сон; узкая, зловещая полоска горела на западе.

В поповском садике трынкала нынче гитара весь день; после, вовсе уж ночью, село пересекал пьяный голос дьячка: «Отроцы семинарстии посреде кабака стояху, взывающе: сивуха, бо, матерь преблагословенна! Вниди в нас твое благоутробие». И голос замер.

Когда ревмя взревет черная ночь и ежеминутно зажигается небо, упадая на землю душными глыбами облаков, а мраморный гром поварчивает тут, среди нас, будто на самой земле, без дождя, и в стойле успокоенно не фыркнет лошадь, — лишь горластый петух не в урочный час распоется на насесте, и никто не вторит ему, — в Целебееве душно так, страшно так. Редкая изба издали поморгает на тебя огнем; а войди в ее пролитой свет, — обступившая кругом тьма еще почернеет; нет, не заглядывай к тому к сельчанину в окошко, который рано не тушит огня в эту ночь: странен и страшен тот, кто в этот час не боится падающих в окно молний.

Бесприютно прослоняешься ты в Целебееве; под ударами молний ночлега себе не найдешь, а еще, пожалуй, ослепнешь, как красная баба Маланья из тучи на тебя поглядит, и ты ее на мгновенье увидишь, как попрыгивает по тучам она; и ты на мгновенье увидишь всю даль — красной.

А потом, во тьме подкрадется к тебе раскоряка и защемит, задушит в сухоруких руках, и найдут тебя поутру повешенным на кусте; только одни богохульники бражничают в ночи такие, воровские свои решают дела, как вот сейчас в чайной, где собрался всякий сброд, Бог знает кто и Бог знает откуда, дул водку и горланил, поглядывая то в черные, а то в красные от молнии окна:

Маланья моя,
Лупоглазая моя!
Ты в деревне жила,
У дьячка служила.
Так поживши мало,
Горничною стала,
Лихо зафрантила,
Пыль в глаза пустила...

На голову они там себе поют, парни: в такие ночи сухие кусты ползают по деревне, обступают село воющей стаей; красная баба Маланья летает по воздуху, а за ней вдогонку кидается гром.

Кто же, кто, безумец, всю ночь тут ходил по селу, обнимался с кустом да, зайдя в чайную лавку, со всяким сбродом прображничал и не час, и не два? Пьяный, — кто потом провалялся в канаве? Чья это красная рубашка залегла под утро у пологого лога, у избы Кудеярова столяра? Чей посвист там был, и кто из избы на посвист тот отворял оконце и долго-долго вглядывался во тьму?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАВАЖДЕНИЕ

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

— Дай, — скажет сожитель Матрены Семеновны, столяр, — дай, — скажет, бывало, — пройдемся по местности земли: погулям... — Так скажет, бывало, в праздничный день и с красного своего угла закряхтит, опрокидывая чашку с росписью розовых розанов, на которую всенепременно положит огрызок колотого сухарку, уже усеянный мухами: скажет, — и Матрена Семеновна ковровым заколется платком: пошли... Так и ходили вместе по нашей улице, поплевывали дынными семечками.

Это он, столяр, напялит поверх красной рубахи зипун на одно на свое плечо; тоже это с кряхтеньем натянет скрипучие свои сапоги, просушенные на печи: и очень даже достойно знатный поставит супротив себя нос — зашагает; а за ним Матрена в полуботинках да в канареечного цвета баске и с аграмантовым украшеньем (подарком богатой свойственницы). Так и гуляли — муж да жена! Щелкали семечками; достойные, совершенно достойные люди; будто бы и не крестьяне они, а к сословию приписанные мещанскому; пройдет ли тут кто, сейчас это картуз долой да им быстрый поклон, так что вихры подпрыгнут: — «Здрасте,

Митрий Мироныч... С праздником, Матрена Семеновна!» — пройдет ли дьячок, тоже это сейчас: — «Столяру Кудеярову!» — кланяется.

А вокруг белые избы, красные избы, зеленые, с масляной краскою выбеленными окошечками, изукрашенными резьбою и с третьим чердашным под крышей окном, бьющим тебя по глазам солнечным отраженьем; а вокруг же благорастворения сладостные а р о м а т ы: то у ног прохладно озерце синим поплескивает студенцом, аером манит, и в него по скату стекают будто из живой слюды желтые гремучки-струйки, а рыболов у самой воды остановит полет и с рыбкой в когтях бьется на одном месте белоснежным, острым крылом! а то это будто из самого синя неба красный свесит свой дерево блекнущий лист, а в том листе синичья, осенняя сладкая пискотня: так по осени, по прошествии всех уже трех Спасов, пара гуляла — из года в год: столяриха да столяр; до лесу доходила та пара и поворачивала обратно: уходящие в высокую голубизну там стояли острые гребни нежно-розового цвета и всяких отливов и рыжие трепетали живо березки ржавчиной и парчою, точно в первопрестольный праздник облаченное духовенство; белочки из орешника красная протягивалась мордашка; и среди такого всего выдавался, ежели стать сбоку, Митрия Мироновича, суздальский лик иконописный.

Погляди-ка ты, погляди-ка на столяра — да с лица: там ничего нет, и есть все же что-то, какое-то такое достоинство, а с чего бы? Субъект незначащий, вещество самого мелкого качества; и явный факт: хоть неказиста собой Матрена, а краля; оно будто бы так по-писаному выходило, и в жизни крестьянской, паршивой столярихи побаивался столяр, долу клонился, закашливался,

и не то выходило, чтобы, значит, прибрала к рукам столяра столяриха, а выходило, значит, то, что кой-почему и очень даже в бабе своей была у нашего столяра нужда; а ту его она, выходило, нужду к себе и запримечала: ну, и само собой разумеется — факт явный...

Но ежели б ты, скажем, смекнул, что оно — т о г о, ну и вышло бы, милый человек, все иное: то-то вот — не т о г о: а сама столяриха до последнего души иждивения с Кудеяровым жизнью, значит, сплелась, так что и не расплести их вовек: где кончался столяр, где начиналась Матрена Семеновна, понять тут у нас никто не мог; так и махнули рукой — да: в те, то ись, дни как работников отошлют, да отведают лучку, тюрьки или еще кой-чего, ложки оближут, посудины приберут, рядышком станут — покланяются вместе иконам; а потом покланяются они и друг дружке с особыми со словами; Матрена ему: «Государь мой», а он ей: «Духиня ты у меня», будто г р а ф и н я или даже г у с ы н я у него это выходит: лепота! А то сядут за стол на закате; желтый солнечный луч из окна густо пересыпается пылью; посиживает столяр у окошка да книжку читает; у самого-то очки на носу.

Почитает книжку столяр, на сторону отложит, да руку положит Матрене Семеновне на грудь, а от руки невидимо, будто и видимо, колкие, жуткие в грудь проливаются струи, и нити от пальцев райским теплом и лаской переливаются в ее груди и подкатываются к горлу; и глаза ее после того еще а г р а м а д н е й; без тех положений рук на себя жить она не могла.

И выходило: те положения рук, а не плотское соитие крепко их переплетали друг с дружкой; силу свою в нее столяр изливал, а и после сам той

своей перелитой силой питался, будто в «банку» положенным капиталом; и оттого-то вокруг столярихи Матрены Семеновны (даром, что собой пренеказиста) всякое сладостное и такое приятное разливалось волненье и щемилось, щемилось сердце; и оттого-то — войди в столярову избу: всякая тебя там встретит дрянь: лавки, посудины, тряпки; но и эту ты дрянь на примете удержишь, ей-ей; кочерга, — и та уставится тебе в душу, и, пожалуй, возмнишь, что темный иконы лик из злаченых риз на тебя уставлялся неспроста, и неспроста темнотою перст на тебя иконный подымался из-за лампад; и неспроста кипел самовар, и невесть почему тут забегал света ясненький зайчик по красным скатерти петушкам, если праздничный день и хозяева чайничали; будто бы ничего такого у других хозяев и нет, да будто бы и сами хозяева вовсе не те и не то у них тут убранство.

А какое такое у них убранство? Все как есть на своем месте: войди-ка на двор — ноги твои зачмокают на соломе, кое-где из-под ног навозная на тебя побрызгает жижа, лошадь фыркнет, и в помоями-то облитом углу будет рыться щетинистый хряк, и с сеновала-то все то же шуршанье да стрекотанье, что и у всякого, обзаведенного хозяйством; а войдешь в избу — наверняка грянешься со всего размаху лбом о косяк и только после такого вступленья очутишься ты в горнице рабочей со столами да лавками; и тут ты увидишь двух босоногих работников (космача да безноску) среди деревянных обрубков, досок, долот, пилочек, пил и стамесок; на обрубках увидишь ты сверла, напилки, рубанки, огромных размеров фуганок, нескладывающийся аршин, да ватерпас среди стружек, древесных опилок, щепок, будет тут баночка с лаком, кисти, в ведерце разведенный столярный клей и

около синего цвета тряпица; у стены же увидишь ты оконные рамы, наставленные друг окол дружки, сиденья без ножек и без плетенья, далее увидишь уже оплетенные сиденья без ножек и о двух ножках; кресельные задки, опять-таки с ножками, самые ножки — многих фасонов ножки и медные колесики; космач и не посмотрит на тебя, а веселый безноска заведет охрипшие с тобой речи, и ты увидишь, что от него разит вином; а надо всем в углу — Спасов лик, благословляющий хлебы. А ступи-ка ты за порог этой горницы — опять-таки стукнешься лбом до искр: ты увидишь опрятную, чисто выметенную, горницу с перегородкой, и даже оклеенную хотя жалкого цвета, но все же обоями; а в этой горнице, к изумлению, увидишь ты даже на окнах гардины, даже венские стулья и прочий комфорт; тут же будут и лавки, и образница со многими прицепленными лампадами; будет и русская печь, и на деревянных козлах постель с одеялом из ситцевых лоскутов; а если сюда войдешь ночью, ты услышишь еще беспокоющий шелест, и усы прусаков будут тебе угрожать изо всех щелей, и из-за хромолитографий, развешанных вдоль стены и изображающих то парчевой лик Богоматери «Райский Цвет», то лик суровый св. Григория Богослова, стоящего за мозаичным ободком в митре, с крестом, в омофоре, в голубой ризе и с как снег блещущей белой бородою; среди этих хромолитографий отметишь ты фотографический портрет, изображающий сгруппированных соблазнительного вида девиц — подарок богатой свойственницы, давно содержащей публичный дом в городе Овчинникове для молодых человеков.

Все это ты увидишь, но где ты этого не видал?

Все то, виданное тобою не раз, поразит тебя снова, и долго будешь ты думать про столяровское житье-бытье: и вздохнешь.

ИВАН СТЕПАНОВ И СТЕПАН ИВАНОВ

Ну и что же?

Да ничего: как есть ничего более. Был себе в Гуголеве Дарьяльский, — и на вот: полюбуйтесь, добрые люди: оказался он в нашем селе. Славное наше село: есть здесь где разгуляться, закатиться запоем да и пропить с себя все: деньгу, сапоги, душу; не пить — так не пить: вольному воля; ну, а пить — так уж пить; ну и пропивали: сначала деньгу, потом пропивали одежду; пропивали сбрую, избенку, жену; а потом пропивали и самую душу; а уж как душу пропьешь, иди себе на все на четыре стороны: без души человек, что порожняя склянка; шваркнешь о камень — дзынь, и нет ничего.

Ну, а Дарьяльский?

Да ничего: спросонья вскочил он на сеновале: его замутило и от душного запаха сена, и оттого, что муха ему попала в рот, и оттого, как навозом чавкал под ним порося; голова с перепоя кружилась, трещала, сеновал прямо-таки под ним заходил колесом, а распухший язык сухо так поворачивался, в точно кислотой ободранном рту: — «Лимончику бы!» — вздохнул он и заснул...

«Где я?» — подумал он, просыпаясь снова, но должно быть, подумал вслух, и, должно быть, солнце стояло уже высоко, потому что из сена над ним опустилась чумазая голова Степки, лавочникина парнишки, чумазая голова, опустилась и дохнула пьяным перегаром:

— Эвона, не помните, барин, как давеча малость повыпивали? Еще я вам признавался, чтобы не сумлевались вы, что я за народное дело и насчет того, что стихосложением занимаюсь, и прочее насчет ж е н ш ш и н.

— Ну и что ж?

— А насчет Матренки-с... Тогда же вас свел, к избе-то ихней... А вы посвистывали в окошечко; ну, бабенка, иетта, из окошка высовывалась, на вас поглядывала, посмеивалась... Да пьяны вы были, и запужалась... Я и увел вас на сеновал... Али не помните?.. Только батьке ни слова: он у меня стервец.

Всего этого Дарьяльский не помнил: он помнил одно оскорбление и схватился за щеку; встала пред ним его Катя жалобой тихой да укоризною, но головная тупая боль не давала развиться воспоминанью; да что вспоминать: не сама ли судьба привела его в Целебеево? Ну, а там будь что будет!

Вышли они на улицу; проезжая телега скрипела медленно; целебеевские лужи еще медленнее подсыхали в лучах солнца; медленнее всего супротив них целебеевский старик, сидя на пне, чинил старую свою шлею; медленно свивался и развивался лоскут из разбитого окна покосившейся избы, дырявая крыша которой обнажала коряги, да палки, а хозяин которой уже с год пропал без вести.

Дарьяльский тупо окинул Целебеево; на щеке его красовался лиловый синяк, рубаха была замарана Бог знает чем, волосы спутались. — «Лимончику бы!» — сказал он.

— Ну, пойдем, барин, в папанькину лавку, — потянул его за рукав Степан. — В едаком виде вам, небось, совестно возвращаться; куда ни шло, просидите у нас.

Но Дарьяльский вовсе не думал о возвращении; он уже решил переехать к своему другу, Шмидту, каждое лето снимавшему избу в Целебееве; только сейчас, с перепою, другу ему не хотелось на глаза попадаться; было, правда, еще одно обстоятельство, почему... — ну, да что там!

— Степа, голубчик, а нельзя ли свести знакомство с той бабой-то — а?

— Вы, иетта, про Матренку?.. Ээх! — Степа жалобно тряхнул волосами.

— Расскажи про нее, что знаешь.

— Что знаю? Ничего не знаю, и рассказывать нечего... А только вы, иетта, насчет баловства? — И строго покачал головой. — Не балуется баба, чудная баба: водку пить — пьет; иной раз случится и загуляет (со мной гуляла), особливо, ежели в отлучке столяр; гуляет — да так оно только: для видимости; а чтобы еще что-нибудь — ни, ни: не дается!

— Ээх! — крякнул Степан после продолжительного молчанья. — Хотите, свожу вас (столяр-то в отлучке)?.. Ладно?

Степан Иванов был буйного нрава; наоборот: родитель его, Иван Степанов, был нрава крутого; на восток и на запад от Целебеева он палил, и гноил, и поганил разором наши места: так себе — деньгу сколачивал; Степан же Иванов просаживал ту деньгу, бабился и все прочее; Иван Степанов с левого с крылоса церкви подтягивал дьячку; Степан же Иванов в церкви громко икал и попу грубиянил. Ивана Степанова богомазы, как расписывали храм, изобразили некоторым образом в омофоре; Степана же Иванова обработали они ловко под с и ц и л и з м: вольнодумцем стал Степан Иванов. Бывало, по вечерам Иван Степанов как защелкает, как защелкает на обгрызанных своих

счетах! Степан же Иванов по вечерам если не бабится, не пьет, то сочинительствует. Иван Степанов выезжал из села разве что в Лихов; Степан Иванов и в Москве побывал; из Москвы он прибыл пехтурою, без картуза, без сапог и часов, с одною только обтрепанной книжицей, купленной на Толкучке; книжица оказалась стихотворным творением господина Г е й н и; и Степан Иванов полюбил «Г е й н ю»...

— Едакая голова: поди — и по-русски, и по-немецки одинаково стихом режет! — говорил он, принимаясь угощать дьячка собственным творчеством; более других дьячок полюбил Степана Иванова стишки «П е т я г р у с т и т»; стишки

Осень. Сердце ноет —
Все-то заньвает:
Само не откроет —
Меня вынуждает.
Все-то я в бедности,
Все-то я в тоске!
Скрылся б сам в бездности,
В земле и песке...

Была у Степана Иванова еще и баллада «Ненила»: хорошо писал — сочинителем вышел; отец не его ли в младые годы таскал за вихры, таскал? Это правда, что волосы на голове у Степана Иванова потеряли не один клок; в голове же Степана Иванова все осталось по-прежнему — дурь опочила на нем и пребыла; так и махнул отец на сына рукой; молчал (сын огрызался): только выручку прятал.

Входя в лавку, столкнулись они с Евстигнеевым Яковом, с кровопивцем; тот сухо рукою тронул картуз и отвязывать принялся лошадь; сел в дрожки, да и был таков. В лавочке была духота; за прилавком Иван Степанов, с очками на носу,

пощелкивал на счетах; примостившись к прилавку, дьячок да урядник похлебывали с блюдечка чай и дулись в засаленные картишки; при входе Дарьяльского дьячок поклонился, но фыркнул, урядник же, не глядя ни на кого, многозначительно протянул в нос: «Нде-с!.. Так как же? Виннового моего валета вы да хрестями?»

— А хрести — козыри! — фыркнул опять, ни к селу ни к городу, дьячок; Дарьяльский понял, что только что перед тем речь шла о злополучной пощечине, что Евстигнеев Яков уже все рассказал: пойдет теперь гулять по селу пощечина; назло еще вот синяк вскочил; густо, густо он покраснел: они примостились к окну, и Степа нажаривал теперь ему в ухо, потягивая из бутылочки:

Увы, скучно, увы, грустно,
Увы, радости нигде!
Куда взор мой не мчится,
Вижу слезы везде.

Дарьяльский решил претерпеть все, чтобы Степа свел его к той, к рябой бабе: голова у него трещала и сосало под ложечкой; он думал: «лимончика бы теперь».

— Нде, бубе — козыри! — раздавалось сбоку, и опять фырканье, шепот, промеж себя восклицанья: поделом... Не мути народ! А Степа в уши зажаривал:

По полу катался,
По дивану ёрзал,
По печи метался,
По постели ползал...

— Существуют ли козыри сами по себе? — глубокомысленно провздыхал дьячок, сдерживая

зевоту; Иван Степанов продолжал щелкать на счетах; в окне жужжал шмель.

В лесу меж древ охотник отдыхает,
А мысль его блуждает вдалеке, —

запузыривал Степа, опоражнивая бутылочку.

Вошли три мужика: ражий, рыжий и с сипотцою (с сипотцой, впрочем, все трое); когда ражий издал звук, напоминающий «кха», рыжий — «тьфу» и с сипотцою «хрплю», тогда ражий просипел: «гвоздочков»; рыжий просипел: «табачку»; просипел и третий мужик — «сахарку бы!» — «Гвозди, сахар, табак...» — отщелкал на счетах Иван Степанов.

Собирая гвозди, почесался ражий: «Столяр-то в городе». «Аграмадные, батя, у него дела!» — почесался рыжий, забирая табак; а третий, почесываясь, просипел: «Сехтанты, вот оно что!» — и схватился за мешок сахарного песку.

— Кха! Тьфу! Хрплю! — и мужики вышли.

Дарьяльский взглянул в окно: в коноплю была протоптана тропочка. Увлекая Степу из лавки, он умолял: «Степа, сейчас бы да к ней»... В голове его делалось Бог знает что; с перепоя оба шатались из стороны в сторону.

— Нельзя, милый человек, — заверял его Степа, совершенно пьяный: — Да ты што? Да я што? Опохмелиться бы...

Ну? Да ничего; опохмелялись до вечера: а Катя, а Феокрит, а душевная его глубина? Какая там Катя, и какой Феокрит, когда голову ломит, и там, в голове, когда заработали, по крайней мере, двадцать вербных трещоток!

Как вышел из чайной, так и засел в коноплю; проходила тут попадьиха:

— Что это вы, Петр Петрович, не в Гуголеве? — плутовато она посмотрела на него. — Заходили бы к нам; мой поп нынче с утра в Лихове... Ай, ай, ай, что это у вас на щеке — синячок?.. До свадьбы заживет! — И пошла.

И он не помнил, как на небо взошел месяц; и то не месяц: спьяну казалось ему, что это там кусочек лимона какой-то.

Ангелочки, резные оконца и крыши домов уже серебряным отливали блеском, и отливали блеском лужи, и густая роса уже налилась в коноплянике; с ведрами красная баба издали проходила на пруд, черпала воду и уже шла обратно, когда с ведрами ей навстречу проходила синяя баба; черпала воду и уже шла обратно, когда ей навстречу пошла с коромыслом желтая девка с засученной юбкой; но ту нельзя уже было во тьме никак различать; будто канула в пруд; только прибрежные кустики долго еще качались потом и оттуда по росе раздавался и смех, и звонкие поцелуи.

О ТОМ, ЧТО ГОВОРИЛИ ЛЮДИ, И О ТОМ, КТО ЕЗДИЛ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

О том, как героя моего изгнали из Гуголева, долго еще покалякали в Целебееве, а он будто в воду канул; правда, что вокруг села вился да вился след его болотных сапог; правда и то, что вещи его тут же Игнат перетащил из Гуголева на буренке к Шмидтиной избе, да у самого барина Шмидта носу Петр не показывал, а расположился себе, как восвояси, в деревне К о б ы л ь я Л у ж а, где у него довольно-таки паршивое завелось кумовство и где к нему таскалась всякая шваль. Только вот уж доброю молвью теперь мой герой не блистал на целебеевской улице.

За днями сменялись дни, что ни день, — на селе толки; в день голубой, июньский, над далеким ельником дымный выкидывался столб: то пожар; в этот день под самым под Дондюковом обшаривали окрестность; арестовали студента; все у него поразрыли, да только всего и нашли, что кулечек испанского лука, редкостного в наших местах; лук съели, студента же засадили на хлеб и воду; и в этот же памятный день Евсеич, нахлобучив картузик, поплелся из усадьбы в наше село — с письмом; здесь у нас все кого-то искал, да так и ушел ни с чем; с Шмидтиным барином все перешушукивался: ну, и за ним дозирали: тот, другой, третий приваливал к лавочке; потому — как же, лавочка у нас, можно заметить, — что к л у п: кто же, зайдя в Целебеево, хотя бы всего на мгновение, не забежит в лавочку? В лавочке, где Степа только что запрятал между товара пук полученных прокламаций, хрыч посидел, пожевал колбаски и, снявши картузик, покрякивал, что вот, мол, то-то у них и так-то, а барышня убивается, плачет; и всего час уже спустя говорили все, что вот, мол, в Гуголеве то-то и так-то, а барышня-де убивается, плачет; попадья же решила, что в Гуголеве не была она давно, и что сию же минуту туда поедет: «Брось ты это, голубка», — урезонивал ее поп.

Вот что произошло в голубой день июньский.

Потом был облачный день — громный, пятнистый; в этот день опять замелькал между изб картузик Евсеича; в этот день Степа бегал в К о б ы л ь ю Л у ж у со странными снюхиваться людьми, и они ему расписывали про то, что «аслабаждение» народа приходит через Дух Свят, и что есть-де люди такие, которые тайно того ожидают пришествия Духа на землю; чрез

то же лицо он узнал, что уже вся, что ни есть округа судачит про то, что в Гуголеве происходило то-то и так-то, а барышня-де себя сама чуть было не порешила, да добрые люди еще пока что отсоветывают ей такой шаг.

Что твоя раскаленная печь, — и такой выдался день: в этот день попадьиха, во всем в розовом, с нацепленной шляпкой, с продетыми сквозь уши сережками зашуршала юбкою в Гуголево, да ее, знать, не приняли там; в пику же ей в тот же самый день туда заходила учительша и будто бы ее приняли: захлебываясь, рассказывала по возвращении, как всякими ее там угощали сластями, Катерина же Васильевна как плакала у нее на груди, потому-де извергу человеческого рода она свою вверяла судьбу; в этот день на учительшу попик с досады плевался и чесал нос, да что: только доносик бы ее поприжал, потому что — факт явный: учительша и вралиха, и вредный субъект.

Что твоя раскаленная печь, — был еще такой день: в этот день ахнуло Целебеево, да так, что, когда уже вызвездилось небо, все стояли и тарабарили кучки: о том, что у Граабеной баронессы похищены «приллианты», но что следствия не возбуждают, потому — явный факт: похититель Дарьяльский; другие же крестились на том, что все, что ни есть происшествий, — тайный имеет смысл — и вот какой: Чижиков-де генерал шутки изволит шутить; но и в этот день Евсеич таскался по селу, мотал головой, все кого-то выслеживал: так и убрался с шишом.

Зеленый же луг той порой отжелтел курослепом; выкинулась, забагрянилась липкая на лугу гвоздика, забелела ромашка и из овсов на дорогу просунулся розовый куколь...

Вот и все, что было памятного в эти дни — да: что ж это я про самое главное приключение ни слова? Пардон-с: запамятовал! Это, конечно, про велосипед: ах, что бы это значило, чтобы такое случилось с попом? Но прежде всего про велосипед (это у попа был велосипед); не у этого попа, а у того, который — ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь, а велосипед, я вам доложу, прекрасный: молодец поп, что у него есть такая машина: игрушечка-велосипед — новенький, аккуратный, с тормозом, отличнейшая резина и весьма успешный руль-с! Выскочил поп из-под навеса без шапки, в одном подряснике — прыг: да и был таков: только пыль столбом на дороге: маленький-маленький попик, будто сморчок! Очки это съехали на самый носа кончик-с (очки золотые), шапка черных волос копной, крест на сторону, черная борода почитай на самый легла руль, а спинка — дугой... Ну-ну!.. Смотрят люди, как зажаривает себе поп на велосипеде по проезжей дороге с рулем и в ветрилом надутой рясе, из-под которой взлетают рыжие голенищи болтающихся с подвернутыми полосатого цвета штиблетами ног на забаву прохожим: только попыхивает пыль в их разинутые от удивленья рты, а верстовые столбы да деревни мимо попа, мимо — так и летят: сама большая дорога тронулась с места и понеслась под велосипед, как будто она была большой белой лентой, быстро разматываемой на одной стороне горизонта и сматываемой на другой. Так-то промчался поп на велосипеде к Целебееву к самому, с трезвоном, срамом и перцем; соскочил у домика отца Вукола, да прямо к нему.

Нечего пояснять, что то был грачихинский отец Николай из академистов, почему-то свив-

ший в Грачихе свое гнездо и безвыездно два уже года в этом гнезде сидевший; сидел там — и о нем ни слуху, ни духу: сами грачихинцы, как в стороне от большой проживали дороги, так о них не было слуха, и как они были малы, не славны, то есть, да темны, так вот Бог наградил их маленьким темным попом: жгучим брюнетом был отец Николай. Прежде о нем не было ни слуху, ни духу: а в самое последнее время темный про него прошел слух, и темный от его от проповедей исходил дух: как бы то ни было, в один прекрасный день взял да примчался к нам сюда на велосипеде. В самое угодил к попу поп неурочное время: отец Вукол сидел в одном исподнем платьишке и ловил мух, а попадьиха, как она в те дни отпускала работницу, в высоко поднятой заварызганной юбке топотала босыми ногами по их гостиной, гремела лоханью и шаркала грязным мочалом; но отец Николай тут же перед ней заскрипел сапожищами, ораторствуя без удержу и соря папиросой, причем его добрые глазки наполнялись слезами, а голос дрожал, несмотря на то, что застигнутая врасплох попадьиха от него бежала переодеться, а рассудительный о. Вукол все больше следил, как бы грачихинский попик не задел сапожищем свернутого холста, как бы не опрокинул плетеную он корзинку с чахоточной пальмой, или красного ломберного столика на трех ногах, на вязаной скатерти которого лежала четвертая ножка; видя отца Николая, разорались ревом попята. А отец Вукол на все волнение грачихинского попа — молчок: рассудительный был отец Вукол; он думал, глядя на черного попика: «не ходи на митинги к крестьянам да не знайся со сволочью, — живи как другие живут, и не будешь ты плакаться на

то, что будешь ты скоро и расстригой, и арестантом».

Уже поданы были самовар, постный сахар и мед, уже мухи, нажравшись меду, по краям липли тарелки, барахтаясь ножками и напоминая золотистые и искристые камушки, а все еще плакался да пугался вслух отец Николай, не слушая увещеваний, так и уехал, не облегчив душу.

ДУПЛО

Обо всех происшествиях Степа передавал моему герою: и герой мой дивился толкам, и слухам, и наезду грачихинского попа. Ежели звезда этого героя закатилась в Гуголеве и Целебееве, то она безгеройственно осветила ему его дни в Луже: так-таки к нему и шли с речами об аслабажденье: уже от тех он речей себе ободрал язык, а к нему перли, все перли окрестные вольнодумцы: проезжая, наведывался к нему земский врач; старый николаевский солдат приковылял к нему на деревяшке с четырьмя Георгиями на груди: это был «араратор» митинго́вых зеленых дач: там, на зеленых дачах лесных, он стучал на пне деревяшкой, призывая к восстанью: старый солдат нюхал свой табачок у моего героя и показывал ему четыре георгиевских креста; наконец, студент, проживающий в Лихове, его честную собирался пожать руку.

Чего же более!

Однажды забежал Степа и сообщил, что он уже не сицилист, а важная птица, что свел он знакомство с семейкой голубей, и что он тоже — голубь; слухи о голубях пересекали теперь все пути моего героя и к слухам этим при-

слушивался он жадно; но как же был он удивлен, когда Степа ему зашептал в ухо, что голуби о герое моем осведомлены весьма, и что его нынче они призывают к дуба дуплу на солнечном на закате, и что после уже, глухою ночью, с ним повстречается там добрый один человек.

— Тут не без Матренки-с, смею уверить вас! — подмигивал Степа, но когда посторонние вошли в избу, он тряхнул волосами и заорал вовсе неведомую для тех ушей песнь:

Ах ты слон, слон, слон —
Хоботарь, хоботарь:
Клыка Клыкович —
Тромба Тромбович
Трембове-еель-ский...

И уже герой мой вот — у старого дуба: сердце его замирает; тут он соображает, что перепутались его и ночи, и дни; но уже вспять нет возврата; и уже ему сладко жить в лихорадочном сне; лучше о Кате не вспоминать: ведь то прошлое умерло; крепко задумался он у опушки лесной; вдруг захотелось еловую сорвать ветвь, завязать концы, да надеть на себя вместо шапки; так и сделал; и, увенчанный этим зеленым колючим венцом, с вставшим лапчатым рогом над лбом, с протянувшимся вдоль спины зеленым пером, он имел дикий, гордый и себе самому чуждый вид; так и полез в дупло; долго ли, мало ли ждал — не помнит; и не знает, чего он ждал.

Смотрит, — а она, Матрена Семеновна, и выходит с пустым лукошком да с цветами из лесу; тут понял он, что сама она его через Степу звала; собрался с духом, прыг из дупла перед ней на дорогу; будто даже ее напугал углем ис-

пачканным лицом (видно, в дупле пастухи разводили огонь).

— Ох, испужали!

Она — рябая, пренеказистая из себя: с большим животом; не понимает он, что это все его тянет, потягивает к ней; а она и не вспыхнет румянцем: уставилась в ноги; под ногами кочка, желтеющая перепеченным листом; под листом ползающий мурашик.

— Вы — по грибы? Вы звали меня?

— Я-то? Ох, чтой-то: кака така у нас натапность в табе?

— Значит, цветы собирали; а вы цветы любите?

— Абнакнавенна, любим...

— Дайте же мне цветок!..

— На, бери, выбирай кветы...

И прошлась по нем взглядом, да каким! Синие в ее глазах из-за рябого лица заходили моря; пучина вырвалась в ее взгляде, и уж он в холодном водовороте страсти.

— Позволите с вами, Матрена Семеновна, пройтись?

— Иди, коли ндравится: праселак опчий...

А сама себе улыбается, — глазами посверкивает, а глаза-то — косые: один — на тебя, другой — в сторону; и так-то она улепетывает к деревне; только мелькают пятки; а изъезженная дорога вся из тончайшей пыли; из-под пяток своих в нос ему Матрена закидывает пыль; он же думает про то, что она косая, и как это хорошо.

— Я давно искал случая с вами поговорить.

— Ну, и сыскал случай...

— Я и вчера, как вас видел, хотел подойти...

— Что ж даве убёк?..

Усмехается, будто на смех хочет поднять;

передернула грудью и опустила глаза, а у губ складочка такая прошлась, что одна срамота; а он думает, как хорошо, что у нее вот такая вот складочка; ей же и горя мало: улепетывает от него, и уже вот — деревня: а из деревни куда-то вкось Степа проходит с гармоникой, делает вид, что не видит, и дерет глотку:

Ах ты слон, слон, слон —
Хоботарь:
Тромба Тромбович
Трембовее-еель-ский...

— Таперича, — вдруг обернулась Матрена, — вертай ты к своему дуплу; поди соседи увидять, французенке твоей донесуть, Катерине Васильевне донесуть, — усмехнулась нагло она, — твому писаному ангелочку.

— Ишь ты — какая!

Как она фыркнет, как фыркнет — лицом в передник, да от него издали: еще у деревенского у плетня на него обернулась:

— Заходи, коли ндравлюсь табе...

И перелезла плетень...

Пятисотлетний трехглавый дуб, весь состоящий из одного только дупла, свои три простирал венца в отгорающий вечер; в этом дупле вот уже с час попризадумался наш герой; и ему думалось много: о Матрене Семеновне вовсе ему и не думалось, а сладко так пелось; думы же были скользящие, легкие — о своей судьбе, да о дубе...

Еще неизвестно, что знал этот дуб и о каком прошедшем теперь лепетал он всею листвою; может — о славной дружине Иоанна Васильевича Грозного; может быть, спешивался здесь от Москвы заехавший в глушь одинокий опричник, сидел тут под дубом в золототканой мурмолке

с парчовыми кистями, бьющими прямо в плечо, в красных сафьянных сапогах, опершись на шестопер, а его белый скакун мирно без привязи пасся у дуба, и у малинового чепрака под седлом торчали — метла да на дорогу оскаленная собачья голова; и долго, долго глядел тот опричник в бархатный облак, проплывающий мимо, а потом вскочил на коня, да и был таков на много сот лет — все может быть; а может быть, в этом дупле после спасался беглый расстрига, чтобы закончить свои дни в каменном застенке на Соловках; и еще пройдет сотня лет, — свободное племя тогда посетит эти из земли торчащие корни; подслушает стон расстриги, грусть опричника, улетевшего на коне в неизмеримость времен; и вздохнет это племя о прошлом.

Все может быть — и вернулся в мыслях к Матрене Семеновне, и поймал себя, что уже он не в дупле, а почти в Целебееве самом: как это ноги его сами собой туда привели; уже темный вечер, а все еще к пруду тянулись с ведрами: подойдет красная баба, на кусты обернется, ведра поставит; и уже — смотри: она — белая; в одной сорочке сидит у воды; вот взлетела над ее головою сорочка, а она-то — в воде; тянется к пруду синяя баба, на кусты обернется, ведра поставит, а из осоки — гляди: баба к ней длинноногая лезет, в сумерках будто мужик; а вдали... с коромыслом маячит и желтая девка; непеременная идет на пруду хохотня, брызготня; кряканье селезня, утопатыванье в ночное сельских скакунов, пыль, лай, да далекие, ясные по росе слова. И уже светятся тихие звезды и бледно качает их животрепещущая вода...

Ночь слетела на лес; но в пузатом дупле каленая горсть жара потрескивает, переливается

первым пепла пушком, а синий огневый лепесток подскакивает над ней; дупло то с расщепом; красный его оскал глядит в густоствольную темь; а из оскала того вызвышается голос, кудластая голова Абрама, снаружи просунутая в расщеп, кивает спрятанному в дупле моему герою; нищий палку прижал к волосатой груди; а с палки голубь оловянным крылом тяжело опрокинулся на огонь; бледные свысока в отверстие дупла глянули звезды; и на них-то уставился нищий; одни огнем освещенные бельма смотрят в душу Дарьяльскому.

Вот он кто — человек добрый; кого здесь Петр ждал и не час, и не два; нищий тот человек — и вот он с глазу на глаз с Петром; и из нищенской груди тяжелое вырвалось, душу мутнящее слово; тянет да тянет нараспев соблазнительные слова:

— Вот ошшо прибаутки песельные у нас сладки; а службы — тех песен слаще; с поцелуями, с красными причитаньями; вот ошшо у нас женки с хрудями саха́рными; а тая одежа служебная снегов белей; все друх с дружкою разговаривам про врата адамантовы, да про край слаботный.

— Вот ошшо величат холубями нас; и по всейто краине мы разлетамся, друх; вот ошшо середь нас живет на́больший: матерый сам, холубь сизокрылый; оттого пошел по Руси бунт-свят, шта бунтарствует вольно казачество под синим под небушком.

— Вот ошшо те казаки слаботные — перво-наперво; то касаточки-пташечки, разнесут они по Руси Свят-Дух; как пройдут по землице-то ропотом, так за ними холуби вылетят.

— Вот ошшо...

— Довольно: я — ваш.

— За тем вольным, значит, казачеством, сама Свято-Духова строитца церква; вот ошшо с нами-то, коли будешь, брат, будет тебе Матрена Семеновна; а посему без нас тебе — злая похибель.

— Довольно: я — с вами.

Петр сидит в уголочке дупла, положив лицо на колени — и будто ему какой снится сон; а его еловый венок, сдвинутый набок, как оленьи, зеленые, рога, являет рогатую в дупле тень, убегающую в вышину. Вспышки красного света высоко подбрасывают с вершины дупла упадающий сумрак — и расплясывается тень, как какой-то адский крылатый житель, чтоб собой задушить человека, огражденного кругом огня.

— Абрам, почему вы доверились мне?

— По хлазам.

Ночь темнее присела на лес; не один зрячий небось теперь плакался: «Лопни глаза мои — на что они мне!» А слепцы, верно, уж вот усмехались на зрячих.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В днях, и в зари лучах, и в цветах скитался Дарьяльский вокруг нашего села, выделяясь оттопыренной ветвью на себя воздетого елового венка и на зелени алого цвета рубахой; и за ним по следам скитался нищий Абрам: настигал моего героя.

В днях, и в зари лучах, и в цветах скиталась без делу Матрена Семеновна вокруг нашего села; и к ней выходил из кустов Дарьяльский — загорелый, небритый: стоял, переминался, теребил

ус, боязно сперва на нее поглядывал: разговаривал мало — и все только почему-то ее выслеживал для себя; выйдет ли она за плетень; пройдется ли малость по дороге, в дубнячок ли захаживает по грибы, за ней — нет, нет и затрещит хворост, веточка закачается, хотя и нет ветру; Матрене же вовсе не страшно; коли захочет сама, барин даст от нее здорового стрекача; и уже ей ее барин люб: сродственность духа рождается между ними, а говорят — мало; однажды только она почти напугалась; как в лес пошла — ну, само собой веточка закачалась за ней; ну, и пожелала его накрыть: будто бы грибы ищет, а сама незаметно к ветке; подол подобрала, нагнулась, раздвинула куст, а от нее кто-то — бегом; ей показалось, что узнала она подглядывателя — не милого барина вовсе: борода у этого у подглядывателя лопатой, сам в высоких сапогах и при медных часах, а тут выскочи из кустов Стёпка да к ней:

— Матрена Семеновна! Не сумлевайтесь, я родителя свово, коли что, задушу — в обиду вас не отдам, ежели ради вас холубем назвался: коли меня вы отвергли, так иётта все я стерплю, да и быть мне тут с вами не долго, потому — где мне с барином вашим тягаться, да и — видит Бог — барин мне люб: как мы таперича одного с ним сохласия... Но чтобы мой окаянный родитель да на вас, да за вами, — так я, старому черту, бороду выдеру, осиновый кол ему в сердце вгоню!..

Крепко тогда призадумалась Матрена Семеновна, узнавши, что целых трое мужчин рыскают по ее следам — и не о том она задумалась, что ей стало боязно за себя; опечалилась тем, что следят: как бы самого, что ни на есть главного, не подсмотрел бы Иван Степанович: ее молитв да духовной вольности поведенья; а ему ли не пронюхать

про все, что таилось под тихим кровом Кудеярова столяра? Чуть что — донесет: и власти на голову тебе нагрянут.

На селе же гуляла молва о пощечине, о бунтарстве одной непокойной деревни, о казаках да багровых столбах удаленных пожарищ: сосед опять запалил соседа; красный бегал петух по окрестности; ждали со дня на день его и у нас. «Тут не без красного барина!» — супился люд степенный; недаром, как волк, забродил вокруг красный барин; видел его и глухонемой — в кустах, где поглядывали на дорогу желто-лиловые Иван-да-Марьи глазочки, и попадьиха: видела его она во ржи: как она протянула руку за васильком, ей привиделся его красный лоскут; и в целебеевской чайной его видали, в те часы, как собирается там сброд: не те, чьим разумом сельский держится сход, а те, что отбились от дела, ходили орать да свистать девкам под окна, пакостные распространяли писульки и на проезжую заглядывались дорогу; ночью-то всякий таскался у нас по селу; быть может, то лихого мира пришельцы, давно исчезнувшие из села, давно сгнившие на целебеевском погосте, а теперь вставшие из могил, чтобы палить села да богохульствовать: вот какой сброд по ночам собирался в чайной; и с ним, с этим сбродом, теперь бражничал выгнанный из усадьбы барин в рогатом на голове еловом венке.

Видел его и дачник, снимавший избу в Целебееве, — тот, что в Бога не верил, хотя и был православный, — Шмидт-барин: этот все что-то искал Дарьяльского: письма, что ли, какие ему передать: но как завидел его красный барин — бегом в овражек: так-таки и ушел, не приблизился к другу.

Уже два парня тут его порешили избить, и не знаю, чем бы разыгралась история, если бы наше село не поразил гром: проезжающий лиховец сказывал, что грачихинский попик с толпою крестьян, вооруженных серпами да кольями, честной христианский крест богомерзкой рукою своей занес на властей предержащих, да и забастовал со всею Грачихой, и такое теперь идет на Грачихе пулянье, производимое наехавшими казаками, что не дай Бог; после же присоединилось известье о том, как старый николаевский солдат, нацепив четыре Георгия, заковылял собственною своею персоной на соединение с темным попом; но то оказалось вздором; да и к тому времени темного попика изловили казаки, сорвали с него крест и, перекрутив руки назад, прямо погнали в Лихов (вот те и велосипед!); а как населяли Грачиху всего-то два рода — Фокины да Алехины, то и забрали всех Фокиных да Алехиных в городскую тюрьму.

Ухмылялся на толки Степка, парнишка лавочника: видно, он знал, что было тайной от прочих, недаром добрые люди Степке препоручили не только тайную по оврагам сбирать милицию, но и откалывать ту милицию от забастовщиков-сицилистов; дабы внушить ей правила новой веры и образовать вольное подспорье братьям-голубям; знать-то знал Степка — да молчал: сам на пыльную Степка дорогу не раз заглядывался: так на дорогу ноги его и несли, так бы он и ушел — далее, далее: туда, где небо припало грудью к земле, где и край света, и ветхая обитель мертвецов: а уж кто заглядится на дорогу, так того позовет та темненькая фигурка, что вон стоит там и манит, и манит, и делает тебе издали знак рукой, а ближе ты подойди — обернется кустом; и: не год,

и не два там стояла фигурка — то ближе, то дальше, и беззвучно селу она грозила, и беззвучно она манила...

Падает глыба гранита в грозное дно ущелий; если дно это еще и поверхность вод, падает еще ниже глыба гранита, но в склизкой тине паденья нет: тут — предел; и такого предела нет у души человеческой, потому что может быть вечным паденье, и оно восторгает, как над пропастью мира пролетающих звезд след: ты уже проглочен черным мира жерлом, где нет ни верхов, ни низов и где все, что ни есть, цепенение в центре; а ты считай это в мире стоянье паденьем или полетом — все равно... И для Дарьяльского полетом стало его паденье: он уже без оглядки бежал туда, где мелькал сарафан Матрены Семеновны; но почему он ее робел? И она, над детской смеясь его робостью, настигала сама, шла за ним из села, будто настигая, но все же не настигая, ему вслед смеялась, а впереди — там, там затерянная в полях темненькая фигурка призывала их всех на широкий, неведомый, страшный простор.

Так летели дни — голубые, туманные, пыльные; точили на селе еще зубы про то, что Дарьяльский связался с самой столярихой, и про то, что столяр Кудеяров все еще пропадает в Лихове, потому ли, что аграмадные у него заводились дела, потому ли, что снюхался с людом темным, прохожим, сектантским.

Да и не мудрено, что судачили про Дарьяльского, однако дичиться его перестали: происшествие объяснилось — перед всем светом загулял он с Матренкой; чайник рассказывал, как надысь приятная у него компания бражничала: красный барин с еловыми прутьями на голове и с Матренкой на коленях (будто сбесилась дуреха); лавоч-

ник Степка им на гармонике разыгрывал; нищий же Абрам, чтобы содрать на чай, по полу отплясывал перед ними босыми ногами в рваных штанишках, оловянным помахивая голубком.

Ну-ну!..

МАТРЕНА

Когда тебе приглядится темноглазая писаная красавица, со сладкими, что твоя наливная малинка, губами, с личиком легким, поцелуем несмятым, что майский лепесток яблочного цветка, и станет она твоей любой, — не говори, что люба эта — твоя: пусть не надышишься ты на округлые ее перси, на ее тонкий, как воск на огне, мягко в объятье истаивающий стан; пусть ты и не наглядишься на ножку ее, беленькую, с розовыми ноготками; пусть пальчики рук перецелуешь ты все, и опять перецелуешь, сначала, — пусть будет все это: и то, как лицо твое она тебе закроет маленькой ручкой и сквозь прозрачную кожу увидишь тогда на свету, как красным сияньем в ней разливается ее кровь; пусть будет и то, что не спросишь ты ничего более от малиновой своей любы, кроме ямочек смеха, сладких уст, дыма слетающих с чела волос да переливчатой в пальчиках крови: нежна будет ваша любовь и тебе, и ей, и более ничего не попросишь у своей любы; будет день, будет жестокий тот час, будет то роковое мгновенье, когда это поблекнет поцелуем измятое личико, а перси уже и не дрогнут от прикосновенья: это все будет; и ты будешь один с своей собственной тенью среди выжженных солнцем пустынь и испитых источников, где цветы не цветут, а переливается сухая на солнце кожа ящера;

да еще, пожалуй, черного увидишь мохноногого тарантула дыру, всю увитую паутиной... И жаждущий голос твой тогда подымется из песков, алчно взывая к отчизне.

Если же люба твоя иная, если когда-то прошелся на ее безбровом лице черный, оспенный зуд, если волосы ее рыжи, груди отвислы, грязны босые ноги, и хотя сколько-нибудь выдается живот, а она все же — твоя люба, — то, что ты в ней искал и нашел, есть святая души отчизна: и ей ты, отчизне ты, заглянул вот в глаза, — и вот ты уже не видишь прежней любы; с тобой беседует твоя душа, и ангел-хранитель над вами снисходит, крылатый. Такую любу не покидай никогда: она насытит твою душу и ей уже нельзя изменить; в те же часы, как придет вожделенье, и как ты ее увидишь такой, какая она есть, то рябое ее лицо и рыжие космы пробудят в тебе не нежность, а жадность; будет ласка твоя коротка и груба: она насытится вмиг; тогда она, твоя люба, с укоризною будет глядеть на тебя, а ты расплачешься, будто ты и не мужчина, а баба: и вот только тогда приголубит тебя твоя люба, и сердце забьется твое в темном бархате чувств. С первой — нежный ты, хоть и властный мужчина; а со второй? Полно, не мужчина ты, но дитя: капризное дитя, всю-то будешь тянуться жизнь за этой второй, и никто, никогда тут тебя не поймет, да и не поймешь ты сам, что вовсе у вас не любовь, а неразгаданная громада тебя подавляющей тайны.

Нет, ни розовый ротик не украшал Матрены Семеновны лица, ни темные дуги бровей не придавали этому лицу особого выраженья; придавали этому лицу особое выраженье крупные, красные, влажно оттопыренные и будто любострастьем усмехнувшиеся раз навсегда губы на иссиня-

белом, рябом, тайным каким-то огнем испепеленном лице; и все-то волос кирпичного цвета клоки вырывались нагло из-под красного с белыми яблоками платка столярихи, повязанного вокруг ее головы (столярихой ее прозвали у нас, хотя и была она всего-то — работницей); все те черты не красу выражали, не девичье сбереженное целомудрие; в колыханье же грудей курносой столярихи, и в толстых с белыми икрами и грязными пятками ногах, и в большом ее животе, и в лбе, покатом и хищном, — запечатлелась откровенная срамота; но вот глаза...

Погляди ей в глаза, и ты скажешь: «какие там плачут жалобные волынки, какие там посылает песни большое море, и что это за сладкое благовоние стелется по земле?..» Такие синие у нее были глаза — до глубины, до темноты, до сладкой головной боли: будто и не видно у ней в глазницах белых белков: два аграмадных влажных сафира медленно с поволокой катятся там в глубине — будто там окиан-море-синее расходилось из-за ее рябого лица, нет предела его, окиан-моря-синего, гульливым волнам: все лицо заливали глаза, обливаясь темными под глазами кругами, — такие-то у нее были глаза.

В них коли взглянешь, все иное забудешь: до второго Христова Пришествия, утопая, забарахтаешься в этих синих морях, моля Бога, чтобы только тебя скорей освободила от плена морского зычная архангелова труба, если еще у тебя останется память о Боге, и если еще ты не веришь в то, что ту судную трубу украл с неба диавол.

И уже будет невесть тебе что казаться: будто и кровь-то ее — окиан-море-синее; и белое-то лицо ее — иссиня-белое оттого, что оно иссиня-сквоз-

ное: в жилах ее и не синее море, а синее небо, где сердце, — красная, что красное солнце, лампада; и ее тебе уста померещатся пурпуро́выми: пурпуро́выми теми устами тебя она оторвет от невесты; и будет усмешка ее — милой улыбкой, милой... и грустной; и вся тебе она станет по отчизне сестрицею родненькой, еще не вовсе забытой в жизни снах, — тою она тебе станет отчизной, которая грустно грезится по осени нам — в дни, когда оранжевые листы крутятся в сини прощальной холодного октября; и будут красные волоса столярихи для тебя в ветре закрученным листом — в небо, и блеск, и осенний трепет; но тут ты увидишь, что эти все осветляющие глаза — косые глаза; один глядит мимо тебя, другой, — на тебя; и ты вспомнишь, как коварна, обманна осень.

А закати глаза столяриха: два на тебя уставятся зрячих бельма Матрены Семеновны; тут поймешь, она-то тебе чужда и, как ведьма, пребезобразна; а опусти долу она глаза и упрись ими в грязь, солому и стружки, да заскорузлые свои руки сложи она на животе, — побежит по лицу тень, очернятся складки у носа, явственней в рябины кожа ее углубится, — а рябин-то многое множество, — мятым и потным станет лицо, и опять-таки выпятится живот, а в углах губ такая задрожит складочка, что одна срамота: будет тебе она вся — гулящей бабой.

. . . .

Матрена у себя на дворе: загоняет корову; уже ее поскрипывает ведро; уже она под коровой, в жестяное дно побрызгивает теплая струя душного молока.

Вот в темноте шаги, голоса: — «Матрена, а, Матрена?» — «Чаво?» — «Милая, обласкай!»... — «Ох, ты, целоваться абнакнавения не имею»... —

«Ты одна?» — «Не замай»... — «Пойдем к тебе!» — «Ох, чтой-то!»... — «Ну?» — «Сам нынче, небось, вернется»...

Оханье, аханье: торопливые по двору шаги и возня; раскудахтались куры, хохлушка, хлопая крыльями, взлетает на сеновал, и на чью-то оттуда голову щелкнул сухой, голубиный помёт.

И уже они в горнице: только зеленая там лампадка озаряет светлый лик Спасов, благословляющий хлебы; в их волосах стружки, древесные опилки, щепки; все предметы, что ни есть какие, молчаливо уставились в этот миг на Петра; белое в зеленоватом свете с провалившимися глазами и с блистающими из-под осклабленного рта зубами Матрены Семеновны потное лицо: белое в зеленоватом свете, точно зеленый труп, перед ним сидящей ведьмы лицо; сама к нему лезет, облапила, толстые груди к нему прижимает, — осклабленная звериха; где-то в неизмеримой теперь дали уплывает в зеленом море вершин от него старый дом с — там, там — ему прощально машущей ручкой п р и н ц е с с ы Кати.

Что же это, Господи, Боже мой?

И он разрыдался перед вот этой зверихой, как большой, покинутый всеми ребенок, и его голова упадает на колени; а в ней — перемена; уже не звериха она; эти большие, родные глаза: уплывают полные слез глаза в его душу; и не измятое пробушевавшим порывом, а какое-то благоуханное перед ним наклоняется лицо.

— Ох, болезный! Ох, братик: вот же тебе от меня хрестик...

Она отстегивает ворот рубашки и с горячего своего тела вешает на шею ему жестяной, дешевенький крест.

— Ох, болезный! Ох, братик: сестрицу свою прими всю как есть...

Уже ночь присела в кусты, и уже мой герой отходил от избы столяра, и на него лаял пес, и след его во тьме уже затеривался, и, обернувшись, он видел, что какая-то там рука поднимала с порога мерцающий светоч, беззвучно бросавший в его тьму мутно-красный света поток, а из-за света, из-под с белыми яблоками платка вытянулось лицо Матрены Семеновны, светясь в темь сладострастной улыбкой и от блеску слепнущими глазами; такою маленькой там являлась она; уже затеривался его след, а все еще стояла Матрена, а все еще вдогонку за ним протягивался светоч, к затеривающимся его следам; долго еще багровое око в том месте моргало; и вот уже это зрячее место ослепло; вскоре от этого места на все Целебеево прогорланил петух; и слышное едва пенье отозвалось будто бы из... впрочем, Бог весть, откуда.

ВСТРЕЧА

Все еще стояли они и миловались, и неизреченная вставала меж ними близость, как у порога в сенях раздались шаги, и едва успели они отскочить друг от друга, как на пороге стоял из Лихова возвратившийся сам хозяин, Митрий Миронович Кудеяров, столяр.

— О-о-о-о! — стал заикаться он и вошел.

Босые ноги Матрены Семеновны оттопотали куда-то вбок; там она укрывала фартуком грязным до невозможности густо горящее лицо, и оттуда поглядывала она выжидательно на обоих: будто даже какое любопытное лукавство на лице отра-

зилось ее, и легкая робость; ну, чего ей было бояться? Сама же она миловалась с сожителева с допущенья и даже более того, — с приказанья; но прошел внутри ее страх, на зубы зубы не попадали: не оттого ли, что тайное столяра приказанье исполняла она не так: приказанье-то обернулось в ней в сладкий и вольный души порыв; еще маленькая секундочка, и все в ней — захолонуло, когда мертвая, тощая половина лица столяра мертво уставилась на икону, а мертвая, тощая, как рыбья костяшка, рука для крестного приподнялась знаменья; чуяло ее сердце, что она совершила перед сожителем грех; от поцелуев, объятий, ласк растрепанное лицо дрожащими Матрена Семеновна оправляла руками и, незаметно там, в темноте свою застегнула кофту.

Но должно быть, так-таки ничего не приметил столяр; ласково глянул он на Дарьяльского: а еще верней, что на Дарьяльского глянул супротив лица поставленный нос; только длинная, желтая борода укоризной протягивалась к полу:

— О-о-о-о... очень... (он уже перестал заикаться), очень... очень можно что даже сказать, вот тоже, приятно видеть мыслящего человека в нашей берлоге-с... Очень...

И широкую протянул Дарьяльскому, мозолистую ладонь.

Но столяр видел все, и сам как бы даже перепугался; что бы оно выходило, значит, такое, и что бы оно теперь, значит, следовало. «Нет, не могу, не могу!» — думал он и вздыхал, а что бы это такое он не мог, видно, еще и не обмозговал сам; только было ему душно в спертой избе от запаха черного хлеба.

С сурово сдвинутыми бровями и с низко опущенной головой исподлобья Дарьяльский вперил

в столяра крепкий, дико-блистающий взор, готовый дать столяру и ответ, и отпор; ни следа бы недавних волнений тут не прочесть; все во мгновение ока герой мой измерил, чтобы встретить достойно то, что между ними могло произойти; но ласковость столяра, а еще более его мозолистая рука из Петра вынули силу.

— Я вот... мне бы, вот... собственно, я за заказом: мне бы вот стул, деревянный, знаете ли, с резным петушком, — говорил он первые попавшиеся слова.

— Можна... можна... — тряхнул столяр волосами, — можна, — и какое-то было в этом потряхиваньи волос снисхожденье, может быть, поощренье, а всего более — злое, едва приметное издевательство: так бы столяр вот эту паскудницу-бабу за волосы да о пол, ей бы подол завернул да запинял бы ногами; а баба-паскудница из угла дозирала за столяром; глаза же ее говорили: «Не ты ли, не ты ли, Митрий Мироныч, сам миня насчет таво вразумлял, да силу свою в мою вкладал в грудь?»

Вразумлять-то столяр — вразумлял; это — точно; да как-то оно выходило будто не так: без молитв, смысла и чину; а коли без чину без богослужебного — по обоюдной, значит, одной срамоте; сам же он — хвор: отощал от поста да от кашля: женским ли ему теперь естеством заниматься — тьфу: всем эдаким занимался, бывало, столяр; а вот Матрене-то рожать — след; знал и то, какие такие произойдут отсюда причины, и какие такие дела от причин воспоследуют: воспоследует духа рожденье, в о с х о л у б л е н ь е земли да а с л а б а ж д е н ь е хрестьянского люда; и выходит оно — того: след Матрене связаться с барином; а оно-то, вишь, — не того, коли ревностью сердце

исходит... «Как, иетта, они да без миня!» — думает он, и с омерзением сплевывает, и почесывается, не глядя на моего героя.

— Так ефта про стул — вот тоже: можна... и деревянный стульчик — вот тоже с резьбой; все эфта можна... И чтобы на спинке петушок, али голубок, и иетта, вот тоже, можна... Иетта не значит, значит, ничаво, то ись: штиль всякий быват...

При слове «г о л у б о к» Дарьяльский вздрагивает, будто грубо коснулись его души тайн; и уже схватывается за шапку:

— Я, собственно, без вас, тут у вас посидел... Да мне и пора бы идти.

— Што ж, иетта, вы, можно сказать, абижаете нас: я, значит, вижу, наш человек, — подмигивает Кудеяров, — што ж: я в избу, а вы — вон; нешта возможно!..

И явственно на столе Кудеяров перед Петром трижды начертывает крест; и опрокидывается все в голове Петра; уже ему от столяра невозможно уйти; и чуть-чуть не срывается с уст его: «В виде голубине».

Но столяр суетится уже вокруг:

— Вот тоже: милости просим нашего хлеба-соли откушать... Вздуй-ка, Матрена Семеновна, самоварчик... Да што ж, иетта, ты, дуреха, — спохватывается столяр: — гостя не просишь в п а р а т н ы е наши хоромы?

Вдруг он как топнет, как цыкнет:

— Ишь, гостя в темноте держит, стружками да опилками обмарала: пойди сейчас — засвети огонь!..

И Матрена протопотала мимо них, из-за плеча боязно кинув взгляд столяру в глаза: она не могла понять, какое такое его поведенье; не он ли,

Митрий Мироныч, указывал ей, как ей поступать с барином, с милым; а будто бы вот на нее столяр осерчал.

— Дуреха! — он процеживает ей вслед, а сам думает: — «Связалась, а для ча? Снюхалась — не могла обождать мово возвращенья!» — С удвоенной снова сладостью, покашливая, бросается он на Петра:

— Уж вы глупую бабу простите-с: ишь стружечки-то на вас: и на усиках-то опилочки, и в волосах-то опилочки, вот тоже; милости просим в горницу!

Дарьяльского опять охватило волненье; и опять чрез минуту оно прошло.

Все трое уже за столом; сладкие речи меж ними; сидят, чайничают, среди картин да хромолитографий. Дарьяльский взволнованно говорит о народных правах, о вере.

А столяр крепкую думает думу: может, то, что без чину, мольбы да соглядатайства братьина произошло всякое, ну там, — так оно ничего; ан оно — не того: «как, иетта, они без миня — тьфу!» И опять-таки ему, столяру, обидно; хоть себя-то он от нее сберегал, а тоже это иной раз был не прочь и погладить ее; а вот тут, небось, барин-то ее тоже погладил.

Но столяр спохватывается.

— Што ж: иетта точно; народ теснят; под Лиховом в овраге собиралась митинга и с арараторами...

— А стул — можна... Все можна: всякие штили выделывам... под орех, под красное дерево...

— Кабы мы были не мужички, а слаботное, значит, храштанство, мы бы — ух как!

— Да, фахт явный: для мелкого вещества достоинства не хватат...

А едва Петр вышел за ворота, Митрий Мироныч к Матренке:

— Срамница: ну, говори сейчас, связалась ты с ним, али нет?..

— Связалась! — не сказала, а проревела Матрена, копошившаяся у постели, одеялом прикрылась; поглядела на него косым, уже озлобленным взглядом.

— Связалась, связалась! — простонал столяр.

Наконец, все угомонилось. Уже Матрена ушла под одеяло, а, все еще опираясь о стол мозолистою рукой, распоясанный, неподвижно стоял над столом столяр, а другая его рука, выдаваясь костяшками из-под потного красного рукава, теребила тощую бороденку, отстегнутый ворот рубахи, большой шейный крест, поднималась с размаху над головой, и потом уходила в желтые космы волос своей всей пятерней: так стоял столяр с полуоткрытым ртом, с полузакрытым, на себя самого глядящим взором, и как болезненно вычертилась на лбу его складка, так она и осталась: мелкие по всему лицу разбежались и трепетали морщинки, хотя и казалось, что большая одна дума, глубокая и больная, просвечивала подо всеми пробегающими выражениями иконописного этого лица; катилась по лбу капля пота, дрогнула на реснице, мигнула на щеке и пропала в усах.

Наконец, к Матрене тихое это повернулось лицо, и все, как есть, оно передернулось.

— Ааа!.. Паскудница!..

И он уже снова ее не видел; стоял и носом поклевывал в пол, бормотал и качал головой:

— Ааа!.. Паскудница!..

Медленно опустился на лавку; медленно на стол опустил руки; медленно в руки опустил голо-

ву; а быстроногий прусак по столу к нему подбежал, остановился у самого его носа, зашевелил усами.

НОЧЬ

Кустики, кочки, овражки; и опять кустики; через всю ту путаницу ветвей, теней и закатных огней вьется извилистая дорожка; Петр быстро уходит туда — в глубь востока — в кустики, кочки, овражки, между зелеными глазами Ивановых червячков.

Его догоняет Евсеич.

— Батюшка, Петр Петрович, — кхе, кхе, кхе, — что же это будет такое с нами? Сжальтесь — на барышню посмотрите; барышня убивается, плачет!

Ему отвечает лишь хруст хвороста да бульканье по болоту убегающих к Целебееву ног...

— Кхе, кхе, кхе, — закашливается Евсеич; Петра Петровича ему не догнать: куда старику с больными ногами за молодым угоняться!

Евсеич сворачивает к Гуголеву; день меркнет; ночь мутная хаосом пепла падает на него.

В гуголевском парке мертво: старая бабка, вся обложенная подушками, под окном утопает в меху; снаружи в открытое окно на нее бросается мрак; навстречу ему из окна от лампы бросается сноп золотого света; полуосвещенные лапы дикого винограда протягивает в окно ветерок.

А где же Катя?..

Там, там Целебеево впереди: и Кате страшно; крадется Катя одна, бледна; и Катя еще похудела; будто серый, тоненький стебелек, опушенный белой паутинкой, в бледно-пепельном платье и с

как зола волосами, завуаленная в бледную шаль, она бледно истаивает в сине-пепельной мути, тонет в море ночном; на поверхности того моря едва-едва удерживается ее худенькое лицо; она туда идет тайком от бабки, от гуголевской дворни, от Евсеича даже: ей навстречу шаги; в бледном блеске зарницы там, за кустом; ей навстречу — Евсеич; Катя прячется от него в кусты; значит, и старик, и старик... тайком туда тоже похаживать стал.

Старик далеко у нее за спиной; в бледном блеске зарницы еще раз мелькнула ей лакейская серая спина, как она обернулась:

— Евсеич, Евсеич! — зовет в темноту перепуганная девчонка, но Евсеич не слышит; смотрит вслед ему Катя... и плачет.

Ее глаза — точно кусочки ночной синевы, дозирающей на Катю из черного, вокруг обступившего, кружева листов: останавливается Катя... и плачет.

Разорение бабки, пощечина, глупая пропажа бриллиантов, страшное Петра исчезновенье, толки об э т о м исчезновеньи и т о й пропаже, наконец, мерзкое это, без подписи, каракулями написанное, письмо, совершенно безграмотное, в котором ей нагло доносит какой-то простолюдин о том, будто у ее Петра роман с пришлой бабой! Смотрит на звездочки Катя... и плачет, и вздрагивают ее плечики от трепетанья ночного листа; всякий слышал трепетанье такое: то особое трепетанье, какого нет днем.

Шмидт ей расскажет все: он ей отыщет Петра.

И уже вон — избы; точно присели они в черные пятна кустов, разбросались, — и оттуда злобно на нее моргают глазами, полными жестокости и огня; точно недругов стая теперь залегла в кус-

тах огневыми пятнами, косяками домов, путаницей теней и оттуда подъемлют скворечников черные пальца, — все это теперь уставилось в лес, все это выследило Катю на лесной опушке и только что ей открылось; а сперва из темного леса выступала лишь путаница огней; и пока подходила к селу глупая девочка, тяжковесная белая колокольня от нее прошла вправо, тонко пискнув проснувшимся на мгновенье стрижом.

Легкие туфли промокли в бурьяне, платьице обливают травы водой, и дрожь гуляет между плечами; заблудилась Катя, забрела к пологому логу; глядь, — и в кусте из лога встала избенка, курит в нее падающим из трубы дымком и поблескивает огонечком; света кровавый плат упадает в траву из окна; а поверх упал черный оконный крест на световое пятно; и все вместе вытягивается на кусты, где стоит Катя; ей чуть-чуть жутко и нехорошей веселостью весело в красноватом том видеть освещеньи легко-трепетный росы бриллиант на листах и на тонких стеблях; вдруг просто ей стало страшно: лицо картузника закровавилось под окном; в окошко уставлена его борода, красный нос: туда же уставлены глазки: а кому это под окном закачался кровавоосвещенный кулак? И втихомолку она от места того — прочь, прочь: как бы найти ей Шмидтину дачу?

Только теперь она понимает, что целебеевский лавочник, Иван Степанов, там стоял под окном: так чего ж детское испугалось сердечко?

А подойди она к нему: он бы ей указал на окно, а в окне бы она разглядела грязного, обросшего волосами Петра, курносую бабу рябую да хворое хитрое лицо, подмигивающее Петру из-за чайного блюдца, поднесенного к желтым усам; все-то бы она увидела: лучше, что не видела.

Долго еще дозирал под окном целебеевский лавочник, и лихие нашептывал под окном он угрозы: «Погоди, запоешь у меня, старый сводник!» Вот лицо его скрылось в тень, волосатый кулак покровавился на свету, да и он ушел в тень; хвороста хруст вдали по кустам замирал, и замер.

Дарьяльский уже выходил из избы, уже свет во тьме ее затеривался, и, обернувшись, он видел, что какая-то там рука поднимала керосиновый светоч, беззвучно бросавший в его тьму мутно-красный света поток, в центре которого там издали стояла Матрена, и яснилось ее лицо сладострастно в его тьму посылаемой улыбкой и от блеску слепнущими глазами: какая там была она маленькой!..

Дарьяльский бродил по селу, и собаки взвывали; и собаки рыскали по его следам, кидались в тьму и с визгом отскакивали обратно. Бесцельно вот он к поповскому забрел палисаднику; случайно прошелся под открытым окном. Попадьихин услышал голос:

— Я вам скажу, он с черными усиками: таракашечка; вот бы вам женишок: вернулся в отпуск — дворянского роду.

Не удержался Дарьяльский, в окно заглянул — и что же он там увидел? Позеленевшая, маленькая Катя, запрятанная в угол, силилась улыбаться: животом, грудьми и сплетнями на нее напирала попадья; а печально молчащий Шмидт делал вид, что слушает россказни Вукола; в белом подряснике набивал папиросы под лампой отец Вукол; зорко Шмидт за Катей следил, и едва уловимая за нее тревога прошлась по его лицу.

Дарьяльский бросился прочь . . . .

Тихие в мутной тьме приближаются голоса; тихие в мутной тьме по росе раздаются слова:

— Нет, это не клевета, это — так.

— Но ведь он же не вор?

— Он не вор: тут стечение нарочно подстроенных обстоятельств; враги спрятались в тьму и руководят его поступками. Придет час, и они поплатятся — за все, все: за него, и за тех, кого уже погубили.

— Петр, мой Петр с этой бабой!

— Петр думает, что ушел от вас навсегда; но тут не измена, не бегство, а страшный, давящий его гипноз; он вышел из круга помощи — и враги пока торжествуют над ним, как торжествует враг, глумится над родиной нашей; тысячи жертв без вины, а виновники всего еще скрыты; и никто не знает из простых смертных, кто же истинные виновники всех происходящих нелепиц. Примиритесь, Катерина Васильевна, не приходите в отчаянье: все, что ни есть темного, нападает теперь на Петра; но Петр может еще победить; ему следует в себе победить себя, отказаться от личного творчества жизни; он должен переоценить свое отношение к миру; и призраки, принявшие для него плоть и кровь людей, пропадут; верьте мне, только великие и сильные души подвержены такому искусу; только гиганты обрываются так, как Петр; он не принял руку протянутой помощи; он хотел сам до всего дойти: повесть его и нелепа, и безобразна; точно она рассказана врагом, издевающимся надо всем светлым будущим родины нашей... Пока же молитесь, молитесь за Петра!

Так говорил Шмидт, провожая в Гуголево Катю; вдруг перед ним — хвороста хруст; ручной электрический фонарик кинул сноп белого света, и видит Катя: в круге белого света, как дикого волка протянутая голова, протянутая голова

Петра; пьяно блуждают мутные его очи; миг — и уже тьма.

Крепкие руки с силой удерживают Катю на месте, когда она хочет броситься за Петром:

— Стойте, ни с места: если сейчас уйдете за ним, не вернетесь обратно!

Синяя мокрая муть и не час, и не два своею прозрачностью напоила поля, легко отливаясь в празелень и свеченье опалов в местах солнечного заката, где уставлена в ясные еще остатки недавних великолепий черная бора гребенка; мокрая муть — на востоке, за исключением только одного места, которое болезненно воспалено еще невзошедшим месяцем; хоть вокруг и черно, а прозрачно; черными пятнами вырезаны кусты, окаймленные кружевом и лепетом листьев; черный кусок этого лепета, будто оторванный лист, ерзает и туда и сюда; вот закатился он в кружево кустов: то — нетопырь; сплошное море над головой кубовой сини обливается летними слезинками здесь и там бледно блистающих звездочек; смотрят на звездочки и Дарьяльский, и Катя — из разных мест шелестящего грустно предлесья. Смотрят они на звездочки и... плачут от воспоминаний.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НА ОСТРОВКЕ

Странное дело: чем умнее был собеседник Петра, чем больше гибкой в нем было утонченной хитрости, чем капризнее, чем сложнее рисовала зигзаги этого собеседника мысль, тем Петру легче дышалось в его присутствии, тем и сам он казался проще; из-за ненужных ухваток прохожего молодца в нем просвечивал ум и усталая от борьбы простота волнений душевных; нынче пришел он к Шмидту, сидел у него за столом, перелистывал письма, адресованные на его имя, загорелый, небритый: и блаженная на его лице застывала улыбка; и улыбка эта казалась каменной; сидя здесь, он был на границе двух друг от друга далеких миров: милого прошлого и новой сладостно-страшной, как сказка, действительности; высокая и глубокая уже по-осеннему чистая синева бисером облачных барашков глянула Шмидту в окошко вместе с Целебеевым; видно было вдалеке, как поп, посиживая на пенечке, ожесточенно отплевывался от Ивана Степанова; Иван Степанов ему говорил:

— Я тех мыслей, што столяришку пора бы заарестовать: сехтанты они да пакостники; бабенка-то, тьфу, — срамная бабенка: може, они

ефти самые и есть голуби. Я уж давненько за ними приглядываю...

— Ну, это ты, Степаныч, думаю я, что по богобоязненности по своей; оно правда: Митрий Мироныч текстами заинтересован, но что ж оно...

— А барина-то гуголевского, позволю сказать, окрутили, околдовали: чего, иета, иён в работники поступил к столяру?

— Ну, это барская блажь!

И поник отец Вукол, затянувшись трубочкой, приятно сплюнул в солнцем сожженную мураву; в глаза ему небо кидалось — чистое, нежное, бисером бледных барашков и высокой голубизной.

Скоро Степаныч пошел к себе в лавку; человек прохожий, наглый, с ним повстречавшись, как гаркнет с протянутой рукой: «Аа!.. Ивана Степанова руку!..»

— Проваливай: руку прохожим не подаю; может, у тебя какая больная рука, я не знаю!..

И пошел прочь.

Всего этого не слышал заглядевшийся в окошко Дарьяльский; он видел небо, его барашки, цветные избы и точно вырезанную на лугу далекого попика фигурку; изредка перекидывались они с Шмидтом летучими, краткими словами.

Шмидт сидел, погруженный в бумаги; перед ним лежал большой лист; на листе циркулем был выведен круг с четырьмя внутри перекрещивающимися треугольниками и с крестом внутри; между каждым углом вверх шли линии, разделяя окружность на двенадцать частей, обозначенных римскими цифрами, где «д е с я т ь» стояло вверху, а единица с правого боку; странная эта фигура была выше вновь окружностью обведена и на «36» частей разделена; в каждой части стоя-

ли значки планет так, что над тремя значками был значок зодиакальный; в двенадцати больших клетках стояли и коронки, и крестики, и значки планет, от которых через центр окружности, пересекая звезду, были проведены туда и сюда тонкие стрелки; были еще на фигуре надписи, вписанные красными чернилами: «Жертва», «Косец», «3 кубка», «Свет ослепительный»; сбоку листа были вписаны странные надписи, вроде: «X — 10: Сфинкс (X); (99 скиптров); 9, Лев, Венера; 10, Дева, Юпитер (Повелительница Меча); 7, Меркурий. Тайна седьмая» и т. д.

Шмидт ему говорил:

— Ты родился в год Меркурия, в день Меркурия, в час Луны, в том месте звездного неба, которое носит названье «Хвост Дракона»: Солнце, Венера, Меркурий омрачены для тебя злыми аспектами; Солнце омрачено квадратурой с Марсом; в оппозиции с Сатурном Меркурий; а Сатурн это — та часть звездного неба души, где разрывается сердце, где Орла побеждает Рак; и еще Сатурн сулит тебе неудачу любви, попадая в шестое место твоего гороскопа; и он же в Рыбах. Сатурн грозит тебе гибелью: опомнись — еще не поздно сойти со страшного твоего пути...

Но Дарьяльский не отвечал: он оглядывал книжные полки; странные на полках тут были книги: Кабалла в дорогом переплете, Меркаба, томы Зохара (всегда на столе в солнечном луче золотилась у Шмидта раскрытая Зохара страница: золотая страница вещала о мудрости Симона Бен-Иохая и бросалась в глаза удивленному наблюдателю); были тут рукописные списки из сочинения Lucius Firmicus'а, были астрологические комментарии на «Тетрабиблион» Пто-

ломея; были тут «Stromata» Климента Александрийского, были латинские трактаты Гаммера и среди них один, «Baphometis Revelata», где прослеживалась связь между арабской ветвью офитов и темплиерами, где офитские мерзости переплетались с дивной легендой о Титуреле; были рукописные списки из «Пастыря Народов», из вечно таинственной «Сифры-Дезниуты», из книги, приписываемой чуть ли не Аврааму, — той «Sepher», относительно которой рабби Бен-Хананеа божился, будто ей он обязан чудесами; на столе были листки с дрожащей рукою начертанными значками, пентаграммами, свастиками, кружками со вписанным магическим «тау»; тут была и таблица с священными гиероглифами; старческая рука изображала венец из роз, наверху которого была голова человека, внизу голова льва; с боков — головы быка и орла; в середине же венца были вписаны два перекрещивающихся треугольника в виде шестиконечной звезды с цифрами по углам — 1, 2, 3, 4, 5, 6 и с вписанным числом посредине — 21. Под эмблемой рукой Шмидта было подписано: «Венец магов — Т=400»; были и другие фигуры: солнце, ослепляющее двух младенцев, с подписью: «Quilolath — священная правда: 100»; Тифон над двумя связанными людьми, под которым Шмидт надписал: «Это есть число шестьдесят, число тайны, рока, предопределения: т. е. пятнадцатый герметический глиф «Xiron». Еще вовсе непонятные тут были слова: «Атоим, Динаим, Ур, Заин». Сбоку на стуле лежала мистическая диаграмма с выписанными в известном порядке десятью лучами-зефиротами: «Kether — первый зефирот: риза Божья,

первый блеск, первое иссиявание, первое излияние, первое движение, премирный канал, Canalis Supramundanus» и восьмой зефирот, Iod, с подписью: «древний змий». Были странные надписи на белом дереве стола, вроде: «прямая линия квадрата есть источник и орудие всего чувственного» или: «все вещественное вычисляется числом четыре».

Из книг, значков и чертежей поднималась лысая голова Шмидта и старческий голос продолжал Дарьяльского вразумлять:

— Юпитер в Раке предвещал бы тебе возвышенье, благородство и жреческое служение, но все то опрокинул Сатурн; когда Сатурн войдет в созвездие Водолея, тебе угрожает беда; а вот теперь, в эти дни — Сатурн в Водолее. Я тебе в последний раз говорю: берегись! ведь и Марс — в Деве; все то можно бы избежать, если б Юпитер в годовом твоем гороскопе оказался в месте рождения; но Юпитер — в месте судьбы...

И Петр потрясен: он вспоминает прошлые годы, когда Шмидт его судьбой руководил, открывая ему ослепительный путь тайного знания; он было уже чуть не уехал с ним за границу — к ним, к братьям, издали влияющим на судьбу; но Дарьяльский смотрит в окно, а в окне — Россия: белые, серые, красные избы, вырезанные на лугу рубахи и песня; и в красной рубахе через луг к попику плетущийся столяр; и нежное небо, ласковое. Вот обертывается на прошлое свое Дарьяльский: отворачивается от окна, от в окне его зовущей и погибающей России, от верховного нового владыки его судьбы, столяра; и говорит Шмидту:

— Я не верю в судьбу: все во мне победит творчество жизни...

— Астрология не учит власти фатума. Тот говорит: мысль и слово создали и мир, и всемогущество, и семь духов гениев-покровителей, проявившихся в семи сферах; их обнаружение и есть судьба; человек поднимается по кругам: в круге луны сознает бессмертье; в круге Венеры получает невинность; на солнце выносит свет; у Марса учится кротости; у Юпитера — разуму; созерцает на Сатурне правду вещей.

— Ты угощаешь меня «Пастырем народов», на котором лежит печать позднейшего александризма; мы, филологи, любим исконное, а исконной науки магов тут еще нет.

— Разве ты забыл, что я говорю не по внешним памятникам, а по устному обучению. Некоторые из старинных списков, вашей науке неведомых, я видел воочию — у н и х, т а м...

Но Дарьяльский встает: в окно на него бьет поток солнца.

— Тебе нечего больше сказать?

— Нечего!

— Прощай: я от вас ухожу — не к т в о и м, а к м о и м; ухожу навсегда — не поминай лихом.

И он вышел; солнце его ослепило.

Долго еще сидел Шмидт среди своих вычислений; слеза жалости застывала на его старой щеке: «Он — погиб!» И если бы сюда вошли невзначай, то, наверное, удивились бы целебеевцы, что дачник Шмидт заливается горькими слезами.

Это был единственный дачник в округе; уже в конце марта он в глухие наши переселялся места; уезжал дачник в дни, когда уже над селом ветер бурные проносил ревы первых мятелей; и беззуб, и лыс был дачник, и сед; он бродил в жа-

ру по окрестностям в желтом шелковом пиджачке, опираясь на палку и держа в руке соломенную свою шляпу; и его окружали сельские мальчонки и девчонки; и еще хаживал дачник к попу; и еще привозил с собой от клопов персидского порошку; и еще в Бога не верил, хотя и был православный; только всего и знали про дачника в Целебееве.

СКАНДАЛ

Что произошло в лавке Ивана Степанова, отчего там звенели разбитые склянки, на каком таком основании сам лавочник вылетел из избы, а у него с головы на лицо текло липкое вишневое варенье — все это так и осталось в неизвестности; вылетел, да прямо к корыту с водой: принялся обмываться; обмывался он, обмывался, а когда отмылся, — обнаружился у него поперек носа кровяной шрам, будто кто полоснул его по носу ножом. Только тогда и опомнился лавочник, как хорошенько отмылся; отмылся, и тут только он вспомнил, что не след бы ему в таком виде выходить со двора.

Но его и не думали примечать: дело в том, что, пока он это в корыте с лица да с волос вишневое с усердьем смывал варенье, целебеевский люд занимало вовсе иное, столь же необычайное происшествие: по лиховской дороге вдруг закрутилось облако пыли — и там, в облаке пыли, раздался испуганный, душу раздирающий рев: облако пыли с неимоверной неслось быстротой на наше село; впереди же него красное мчалось чудовище: будто бы выбежал с горизонта и побежал на село красный черт; и едва выскочили из изб старики да

бабы, как уже красный черт стоял неподвижно посреди зеленого луга, пыхтел и сопел, но уже без рева, щекоча носы керосиновой вонью. Это и была машина — та самая, про которую сказывали, что будто бы она без помощи лошадей людей возит; из машины выскочил человек, весь закрытый серым брезентом, с большущими черными стеклами на глазах; он все что-то копался у колес, снял очки, и дружелюбно кивал окружавшим машину целебеевцам; его толстое, измятое, слегка желтоватого цвета лицо косыми заплывающими жиром глазками подмигивало целебеевцам, но они осторожно пятились от скуластого этого лица; даже и попик выглянул из смородинника, придерживая руками рвавшегося к машине попенка; между тем, господин с жидовски-татарским лицом, опустив на глаза очки, снова расселся на своем на красном на черте; черт взревел, с шипом сорвался с места; да и был таков.

Это вот обстоятельство и отвлекло вниманье целебеевцев от того, как Иван Степанов, лавочник, отмывался в корыте от вишневого сока, обильно стекавшего с головы, к которой противно липло варенья горсть со стекляшками разбитой банки; можно было подумать, будто чья-то злодейская рука о его почтенную голову била банки с вареньем; но как же смеялся целебеевский люд, если бы рассказать, что злодейская эта рука принадлежала никому иному, как собственному его сыну; с час уже вот, как сцепились они, перебрали все что ни есть слова, после которых парнишка, потеряв честь и разум, харкнул да и плюнул в родителево лицо, кидался на почтенных лет родителя с ножом, и в довершение безобразия разбил на его голове увесистую банку с вареньем; не без опасения вошел теперь Иван Степанов в лавку;

на полу — склянки да липкий сок; неравно кто войдет — срамота; лавку Иван Степанов запер, бороду подпер рукой и задумался; трудно было решить, осерчал ли на сына побитый родитель, или же только перепугался; только он думал: «Убирался бы Степка скорей; а там — концы в воду...»

А виновник всего этого скандала не только убирался, но уже вовсе собрался; он сидел в своей каморке перед засаленным столом; на стуле же с ним лежал всего только свернутый один узелок. Он уходил ныне из этих мест в места лесные, далекие, вольные: давно уже он помышлял о побеге из наших мест; все-то к братьям он, голубям, приставал: дали бы ему порученье они такое, чтобы вовсе из наших мест можно было бы Степке бежать; опостылели ему наши места; опостылело ему видеть, как Матрена барина ему, Степке, предпочла; но еще более было Степке постыло смотреть, как родитель его за Матреной шпионничал; видеть родителя Степка не мог, а невольно сам дозирал за его шпионством, да и накрыл родителя своего прямо-таки на злодейском поступке; в прошлую ночь, как слонялся Степка у избы Кудеяровской, видел он довольно-таки явственно, как родитель его, без картуза, в одной рубахе, копошился у избы, таскал хворост, облил его из бутылочки чем-то (керосином, верно), да и стал чиркать спичкой; еще немного, — и встал бы красный петух над избой столяра; ну, Степка, разумеется, это, цыкнул: родитель его — стрекача.

Вот нонче они и сосчитались. И не так бы его еще Степка избил; давно бы его избил; ну да — черт с ним; голуби уже знали от Степки об умыслах лавочника; одного человека такого приставили, еще кто кого — бабушка надвое сказала.

Беспрепятственно Степка теперь покидал те края, где буйная его протекала жизнь; и вот он задумался, понесла его мысль (парнишка недаром сочинителем вышел): вздумалось молодцу на прощенье перед уходом из родителева дома, где — как-никак — покойная мать баловала его — вздумалось ему написать вступленье к замышленной повести; достал Степка свою засаленную тетрадь и теперь ржавым пером выводил такое вступленье: «В с е б ы л о т и х о; в с я д е р е в н я с п а л а; т о л ь к о г д е - т о м ы ч а л а к о р о в а д а л а я л а с о б а к а, д а с т а в н и с к р и п е л и н а с в о и х з а р ж а в л е н н ы х п е т л я х, д а в е т е р з а в ы в а л п о д к р ы ш е й... И в ы х о д и л о, ч т о б ы л о в о в с е н е т и х о, а, н а п р о т и в т о г о, о ч е н ь д а ж е ш у м н о — н е у г о д н о л и, п о ж а л у й т е...»

Когда затеплились звезды, Степкин черный силуэт потянулся вдоль освещенной сиянием дороги, становясь все меньше, все меньше, и, наконец, точно слился с далекой темной фигуркой, искони грозившей селу. Больше не возвращался Степка в Целебеево никогда: знать, дни свои он упрятал в леса; быть может, там, на севере, черный, волосами обросший схимник, в кой век выходящий на дорогу, и был прежний Степка, если Степку не скосила злая казацкая пуля, или если его, связанного, в мешке, виселица не вздернула к небесам.

В ОВЧИННИКОВЕ

— Остгяк!.. Ужасный остгяк!..

— Ну?

— Невегоятный, чудоищный остгяк!

— Ну, ну??

— В одном благогодном семействе подьетает к гоялю и, знаете, эдакую гуйяду... «Иггаете?»— спгосийя хозяйка... — «Иггаю-с». — «Ах, сыггайте, пожагуйста!..» И пгедставьте себе, что он ответий?

— ???...

— Судагыня: я иггаю только... — гьязами!

— Хи-хи!

— Ха-ха-ха-ха!

— Кхо!

— Чеавек! Бегогоговеньких! — вскричал генерал Чижиков с певицей на коленях.

— Ну, и где же он, генерал?

— Спийся — сгагел от пьянства; сам видей у него во гту синенький огонек!

— Ну?

— Пгопитайся спигтом, как фитий: спичка его зажгья бы.

— Хи-хи!..

— Ха-ха-ха!..

— Кхо!..

— Чаевек! Бегогоговеньких! — вскричал генерал Чижиков с певицей на коленях.

— Откуда у вас, генерал, завелись денежки?

— А?

— Ну-ка?..

— Служащий из ломбарда божился, что вы изволили заложить чудеснейший бриллиантик-с — хи, хи!..

— Надеюсь, не краденый?

— Хи, хи!

— Надеюсь! — иронически похохатывал генерал...

. . . .

— Нет, господа: дело не в том — что там: подите рассказывайте... Как бы ни так! А вот я вам

расскажу: мой приятель — так у него названия наливок, настоек и вин — в алфавитном порядке, от «а» до ижицы включительно... А то, что там — «сгорел»: как бы ни так! Вот приятель мой: бывало, к нему приедешь, сейчас это он тебе смесь на слово «абракадабра» предложит, либо на слово «Левиафан»; «абракадабра»: «а» — анисовки подольет; «б» — барбарисовки; «р» — рислинга; и так далее; выпьешь — готов!

Так рассказывал осоловевший земский начальник из Чмари, махая рукой.

Затканный розовым шелком, огнями сиял кабинет: то и дело в двери врывался лакей; влетали и вылетали певички; губернские богатеи и дворяне в непринужденных позах разваливались кто на софе, кто на диване, кто на столе, а седеющий без сюртука красавец, так тот, стоя спиной к пьянино, шлепнулся вдруг на клавиши и вздыхал:

— Лучшие годы, лучшие годы! Москва — Благородное Собранье: а? Где это?

— А? Где это? — раздалось из угла.

— Мазурка: тра-рара-та-трарара! В первой паре — граф Берси-де-Вгреврен с Зашелковской, во второй паре...

— Во второй паре — полковник Сесли с Лили, — перебил голос из угла.

— Да: во второй паре полковник Сесли с Лили. Лучшие годы! А теперь: полчетверти в день!

— Какой там: я так давно переехал на четверть! — раздалось из угла...

. . . .

— Может, у вас еще есть какой бриллиантик? — наклоняется к генералу толстяк, случайно попавший в дворянскую эту компанию. — Я бы ему уж нашел сбыт...

— Душка, подари его мне! — приникает к Чижикову певица...

— Что вы — никогда! Искьючитейный сьючай, когда пгиходится гасставаться с фамийными дгагоценностями: что пгикажете деять — вгеменная нужда! — конфузится генерал.

А сбоку раздается:

— Театр! Оперетка... Помнишь «M a s k o t-t e».. Чернов, Зорина и незабвенное: «Каа-к я люю-блюю-уу-уу гуу-сят».

— «Аа яя люю-блюю-уу-уу яя-гнят», — подтянул голос из угла.

— «Как аании кричат: гау-гау-гау»...

— «Как заголосят: бээ!» — раздалось из угла.

— «Гау-гау-гау — бээ!»

— «Бээ!!»

— «Бээ!!» — подхватили хором седеющие дворяне, вспоминая молодость, незабвенную Москву, незабываемую «M a s k o t t e»...

. . . .

Обливался вовсе испариной сидевший в углу Лука Силыч; не поблескивали его сегодня глаза; намалеванная певичка не посиживала у него на коленях сегодня; явственней над шампанским согнулась спина; явственней под глазами повисли мешки; седая бородка дрожала явственно под губой, и серая явственно дрожала клетчатая коленка: его била дрожь — вот уж который, который раз; сладкая слабость и головокруженье уносили его домой, к Аннушке к Голубятне; что певички! Вот Аннушка — так уж Аннушка! Около месяца, как, тайно от самой, по его, Луки Силыча, настоянью она приходит к нему по ночам — спать вместе; пьют по ночам они сладкие вина — и, ну, всяким, забавляются меж собой; после же тех ночей — пуще прежнего слабость одолевает; вовсе на ста-

рости лет как последний мальчишка, или того хуже: как последний скот втюрился он в босоногую женину ключницу... Что певички! Аннушка — так уж Аннушка! Трясется коленка, бородка, паучьи пальцы, бокал; золотые капли, холодные капли шампанского расплескались на стол. Думает он: к Аннушке бы! От всего теперь здесь Луку Силыча мутит: от дворянчиков — мутит; ишь — пьяные рожи; собрались в губернское земское собранье — спасать Россию от революции; как же! От торгового люда Луку Силыча мутит; от шампанского — мутит; а пуще всего замутило от генералишки, от Чижикова; гадость от генералишки; натаскал за известный процент ему векселей Граабеной баронессы; Граабена у него в руках, генералишка же теперь ему вовсе не нужен; опивало он, обжирало, да к тому еще — и вор, сыщик и скандалист.

А генералишка там перешептывается в углу:

— Ну, пожагуй, я вам покажу бгиллианты...

— Да, сновиденья все полны знааченья...

— Даа, —

— снаа-вии-денья все праароочества...

— Паа-лныы... — ревут пьяные баре, и глаза их хотят выскочить из орбит; один обращается в пение к другому; другой делает жест первому; иной, выпятив шею, клюет в потолок носом; иной с певичкой куда-то скрылся давно.

— Да, снаа-виденья все полны значенья...

— Да, —

— снавиденья все праарочества...

— Паа-лны, — ревут пьяные баре.

Лука Силыч незаметно взглядывает на часы: не опоздать бы на поезд, отходящий в Лихов во что ни на есть неурочное время — в четыре часа утра; он встает, расплачивается по счету, огля-

дывает дворян, вспоминает поджоги усадеб; и выходит.

«Дырдырды» — подпрыгивает с ним пролетка по овчинниковским камням; уже светает; Лука Силыч думает о том, что у Аннушки белые ножки и что после завтрашней ночи будет он больной: слабость да испарина, испарина да слабость — пора помирать!

«Больше году не выдержать мне едакой жизни, — капут», — думает он и жалобно шепчет:

— Аннушка!..

«Дырдырды» — подпрыгивает пролетка по овчинниковским камням: Метелкинская железнодорожная ветвь уже там, вон, блистает стрелками.

СПУТНИК

На станции тягота, духота; хотя уже день, но мигают назойливо лампы; толстый офицер, чей смирительный отряд уже с месяц стоит на постое в подлиховских селах, аппетитно уписывает телячью котлетку и стреляет глазами в неизвестно для чего тут прогуливающуюся даму в ярко-зеленой шляпе и пунцовом пальто с лицом, на котором нельзя ничего разобрать, кроме белой мази, багрово вырисованных губ да красного на щеках румянца.

Тут же на лавке среди картонок, тесемок, кульков, птичьих клеток, перевязанных тесемкой зонтов мечется в полусне изможденная дама с подвязанными зубами, с набок надетой шляпкой и пятью малышами, из которых один так и заснул с домашним в руке пирожком; пассажир неопределенного звания тут же прохаживается, поджи-

дая поезда в Лихов; уже не производится продажа газет, уже последнюю в буфете заказали котлетку, последний выпит пива бокал: люди измаялись, свернулись на лавках; лишь палят духотою жестокие, желтые огни.

На платформе не то: там — утро, свежесть, движенье; многие перекрещивающиеся пути; на путях лиловые, желтые вагоны; и маневрирует, ползая по рельсам, и ревет паровоз; машинист в форменной фуражке высунулся с паровозной площадки; волосатые моет руки набранной в рот водой; там замигали многие стрелки; и бегает там, и поругивается сторож; в руке у него фонарь и свернутый у лакового пояса флаг; а наискось круглое здание многие на платформу разъяло зевы; из каждого зева поглядывает паровоз; но семафор взлетел на шестьдесят градусов и на запасном пути мчится товарный поезд.

Лука Силыч лениво позевывает, лениво поглядывает, угадывает надписи на вагонах, пролетающих мимо: «В л а д и к а в к а з с к а я, З а б а й к а л ь с к а я, Р ы б и н с к о - В о л о г о д с к а я, Ю г о - З а п а д н а я». Прочитывает невольно срочный осмотр: «1910, 1908, 1915»... Пролетают вагоны, пролетают в вагонах тупо жующие морды волов, пролетает белый вагон с надписью «Ледник»; и площадки летят; и пустые, и с песком, и с досками; пролетает площадка и на ней всего два колеса; пролетает и нефть «Т е р - А к о п о в а», еще площадка; а за нею последний вагон: пролетел поезд; улетает кондуктор, под ним же у рельс улетает красненький фонарик.

Опять многие рельсы; таскается по ним паровоз; в белое утро белые клубы извергает с криком свисток: сумасшедший, веселый окрик!

Бритый барин с серыми волосами, в наглухо застегнутом коричневого цвета пальто прохаживается медленно; и все мимо Луки Силыча; у барина шапка с наушниками; далеко выпятился вперед длинный нос и верхняя баринова губа; все же прочее далеко отступило; стройный барин, хоть старый; руки он прячет в кармашки, проделанные спереди пальто; и все — мимо купца; с правого зайдет с боку, с левого — обгонит, пустит вперед; лакей за ним носит плед.

И Лука Силыч интересуется барином; барин вперед отойдет — Лука Силыч за ним: с правого зайдет с боку, с левого — обгонит, пустит вперед; будто случайно; а думает: «и где только видывал я этого барина: ишь, какой — важная будет особа; лет, поди, шестьдесят; в спину же вовсе молоденький; выпрямил плечи, ходит себе — с лакеем».

Отойдет барин к самому к краю платформы, тащится за ним и Лука Силыч скуки ради и праздного любопытства ради; а пройди к тому к краю платформы Лука Силыч, да обернись, — тут как тут за ним старый подглядывает барин, а за барином — с пледом лакей.

Так и ходили тут более часу они друг за другом в ожидании лиховского поезда; а уже близится поезд, и подъят семафор; высыпали на площадку: барыня с подвязанною щекою, с пятью малышами, кульками, картонками, клетками, и уже на площадке отдельно от дамы толстенький офицер, пассажир неизвестного званья, толпа мужиков с пилами и мешками, жандарм и господин станционный начальник в красненькой шапочке — с Лукой Силычем раскланивается почтительно; Лука Силыч глядит — что за диво: бритый барин к начальнику станции подошел, на Луку Силыча но-

сом указывает, громко сморкается, трет переносицу, и, видно, выспрашивает: какая такая, мол, ходит персона тут: Лука Силыч губы поджал и надменность у себя на лице изобразил: «Где я этого барина видывал? Только, будто, он был моложе»...

Но подкатил лиховский поезд, и уже вот Лука Силыч в вагоне первого класса; три часа ему до Лихова маяться; слаб, слаб и хвор лиховский мукомол!

Только было это ему пришло в голову расположиться, как дверь отделенья раскрылась и против него старый уселся барин; лакей ему положил плед; и ушел; одни они друг перед дружкой сидят, друг на дружку поглядывают; Лука Силыч тайком, а барин так вот и уставился на него; одно бесстыдство!

Взял Лука Сильгч да перешел во второй класс (пустые были вагоны); не прошло и пяти минут, во второй класс перешел и барин; сидит насупротив: просто не выдержал Лука Силыч:

— Вам, осмелюсь спросить, до Лихова?

— Да, господин Еропегин, — тоненьким голоском протянул старый барин: не то рассмеялся, не то расплакался.

— А с кем имею честь говорить?

— Я еду в уезд из Петербурга по мамашиным делам — да!

«Каких же лет будет его мамаша» — подумал Лука Силыч.

— А сам я — Тодрабе-Граабен...

Так Луку Силыча и замутило: оконфузился, трясучка схватила: вот ведь барона-то он и забыл, а придется, придется с бароном ему говорить о делах; а дела-то нечистые; а барон-то — сенатор «по юридической части».

А барон-то молчок: улыбается молча; хоть бы слово о деле; разбаливается Лука Силыч; выдержать он не может баронова взгляда; схватило его под ложечкой; встал и ушел в третий класс.

Густо и душно в вагоне третьего класса; «м е с т о в» — нет; около дамы с картонками примостился рабочий; насупротив — кульки.

— Всякий обыватель, взявший билет, имеет право получить место, — сухо отчеканивает Лука Силыч, а самого мутит: от дамы — мутит, от пяти ее малышей — мутит, от рабочего — мутит; но здесь еще лучше, чем там, наедине с врагом, с сенатором.

Лука Силыч сидит. В окнах желтые, слепые, никлые нивы, кое-где наставленные копны и краснеющая гречиха; кругозор пыльно-голубой, далекий мчится с поездом по одной линии, где-то круто сворачивая за вагонным окном, а под окнами те же навстречу бросаются нивы: будто пространства закрутились по кругу; все, что ни есть, несущееся вдали, проносится под оконным стеклом обратно.

Говорливый рабочий с кротким лицом (видно, из ротозеев), не выдержав молчанья, обращается к Луке Силычу:

— Я вот сейчас без получки еду; везу вот чаю-сахару, баранок. Мы собрались просить нам выдать; нет, не согласился: так еду.

Злится купец, обливается потом; он обрывает рабочего.

— И нечего было ходить: вполне было поступлено с вами на законном основании!

— Да как же так?

— Тебе нужно, а управляющий распинайся!..

Рабочий выслушивает внимательно:

— Сто двадцать человек ходили еще просить; опять-таки отказал — не дал.

— Я тебе уже объяснил: понял!

— Понял.

Молчание...

За окном вверх, то вниз телеграфная бегает проволока, само оконное стекло в пыли; то вверх, а то вниз бежит телеграфная проволока; мошка, сидящая на стекле, кажется далеко парящей в полях птицей; «черт бы побрал генералишку!» — думает Еропегин; жуткое что-то ему в бароне почудилось; знает ли он, какие такие у мамаши его с ним дела? Как не знать — знает: еще чего доброго, заберется барон сюда, в третий класс; и чего это ему, Еропегину, страшно?

Но рабочий не унимается:

— Везу вот чай-сахар, баранок: а в этом году сеять нечего...

— То есть как это нечего? — наставительно удивляется Лука Силыч, и вступает в разговор, чтобы больше не думать о бароне, генерале да Аннушке.

— На обсевание полей, значит, нет зерна...

— Почему же это у других есть, а у тебя нет?

— Как у меня нет? И у других нет; мы приговор писали; 75 человек подписались; ну, и отказали...

— Потому оно такое установление по всей державе...

— Так я ничего не говорю; я только к тому, что трудно стало нам жить...

— Ну, это опять же ты не умно говоришь...

— Да я...

— А только ты должен выслушать, что тебе скажут: не перебивай... У нас по всей державе занимаются, можно сказать, земледелием, хлебо-

пашеством и наша держава ни перед какой другой... не уступит. И все живем, слава Богу...

— Да, слава Богу, слава Богу: в этом году опять сеять нечего...

— Это опять же ты глупо сказал; хулиганическое слово это ты сказал... Если ты хочешь быть хулиганом, можешь так говорить (Лука Силыч вменил себе в правило просвещать темный люд)... И опять же я тебе объяснил: я кончу, тогда говори; а если желаешь перебить, то должен предупредить — понял?

— Теперь вы кончили?

— Кончил: можешь говорить...

Но разговору суждено было оборваться; дверь отворилась, и кондуктор предупредительно наклонился над Лукой Силычем:

— Там барин вот из первого класса просит вас пожаловать к ним: поговорить.

Нечего делать: кряхтя, поднялся Еропегин и пошел в первый класс; уклониться от разговора так прямо он не желал; ему вслед пассажиры смеются:

— Ишь какой — распорядитель...

— Должно быть, кадет!..

— Прямо собака какая-то!..

— Барин!..

. . . .

А Еропегин уже в первом классе перед сенатором.

— Вас-то, господин Еропегин, мне ведь и нужно: вот дорогу мы и поговорим...

Ну, и поговорили.

Все что ни есть два часа, остающиеся до Лихова, только и было речи, что об акциях Вараксинских рудников да Метелкинской железнодорожной ветви; Еропегин слово — барон десять; Еропегин

в обход — барон в десять обходов; так его загонял, параграфами да статьями закона, что был Лука Силыч дельцом, а пред бароном стал отступать; а барон-то за ним — судом застращивает и тихо так, с лаской да выдержкой; просто измучил купца, которого от слабости, тошноты, грез об Аннушкиных поцелуях да страха перед сенатором «по юридической части» просто-таки скрючило.

И они уже вот перед Лиховом.

— Я вам советую лучше самим отказаться от требований; в случае суда, я упеку вас в тюрьму; вам проденут кольцо в нос и потащут на каторгу (барон всегда выражался образно: он был большим чудаком).

Так неожиданно закончил барон с грустным вздохом, бережно сдувая пылинку с дорожного несессера.

И они замолчали: в голубом просвете окна качались их старческие силуэты: купецкий и барский; больной, зеленый, с блистающими на солнце глазами и седенькой бородой и розовый, бритый, длинноносый, весь пахнущий одеколоном — два старика: у одного на пыльных руках золотое кольцо с крупным рубином; у другого нет никакого рубина, но руки в черных перчатках; у одного ремнями связанный плед и подушка; у другого плед без ремней и маленький несессер; у одного на лице, простом, иконописном, разврат совершенно высушил губы; у другого бесполое лицо грустно розовое, а сочные губы играют иронией; один высок, угловат, сух и когда на пиджак сменяет свой купецкий черный наряд, то у пиджака торчат надставные плечи; плечи другого округлы, а спина пряма, как у юноши; один — в картузе, другой — в черной шелковой шапочке с наушни-

ками и в дорогой черной блузе; один сед; другой еще сер, хотя и ровесник седому; один — мукомол, мужик; другой — барон, сенатор.

— А у вас дети есть?

— Есть.

— Чем же они занимаются?

— Сын в университете...

— Бедный, в таком случае он — погиб, — вздохнул барон в неподдельном ужасе.

— То есть как?

— Да очень просто: для умственного труда нужен отбор и хорошая наследственность...

Этого вовсе Еропегин не понял; он только понял одно: барон был хотя и чудак, а такая деляга, что лучше уж не путаться с ним в дела.

Вагон закачался из стороны в сторону; уже из-за горбатой равнины выдался лиховский шпиц; прошла мельница, потянулись вагоны; поезд остановился; два лиховских носильщика стояли панами; пассажиры умоляюще кидались на них; тут же шнырял экономический староста с льняной до пояса бородой, испуганно заглядывая в окна вагонов и отыскивая господ; расторопный лакей уже вбежал в отделенье, и ему передал теперь барон свой плед и несессер: «Сделайте милость, облегчите меня, мой друг!»

— До свиданья, — протянул кротко барон свою мягкую руку Еропегину, не снимая, однако, перчаток, — и уже вот он скрылся в лиховской толкотне.

ДУХОТА

Жарило: Лука Силыч едва не обжегся, коснувшись железа пролетки; из головы его барон не выходил, как не выходила босоногая Аннушка, ко-

торая вот — ждет ли его сейчас, такую рань; небось, спит себе: сама-то Фекла Матвеевна встает разве что к одиннадцати часам. Странное дело: точно стены дома его были отравлены болезнью; едва попадал он домой, бесконечная одурь сознанием его овладевала, и все ему дома казалось не по себе: Фекла от него свои утаивала глаза; слуги косились и точно от него что поприпрятывали. Душно ему, а тут еще этот барон с судной угрозой.

Уже они подъезжали к Ганшиной улице, в конце которой виднелся деревянный его особняк, а кругом теперь с неба валились на землю душные тучи, хотя было едва ли восемь часов утра: быть грозе, быть.

Долго звонился Лука Силыч у своего у подъезда: никак не дозвонишься; все, что ли, спят? Из насупротив домика, где проживал портной «Ц и з и к-А й з и к», на него уставилась соболезнующая жидовка, вся состоящая из морщин и тряпья; она махала рукой Луке Силычу:

— Звóните, звóните... Недозвóнитесь: у прислуха-то ваша ночью буль пир; с пять часов утра выходиль Сухоруков, выходиль Какуринский, выходиль старушонка с приюта.

«Это что же такое?» — подумал Лука Силыч: мало было судьбе слабостью, да тошнотою, да мыслями о босоногой Аннушке его затомить; мало было, чтобы три битых часа петербургский сенатор в вагоне ему такое развел, что до сих пор едва он может очнуться; нет, извольте еще по приезде порядок наводить всякий (Лука Силыч крепко стоял за порядок). Отчаявшись дозвониться, Лука Силыч сошел со ступенек крыльца и что есть мочи заколотил в ворота́; за воротами тогда раздалось чавканье и сопенье, засов заскрипел, и Иван Огонь

выставил свое воспаленное, заспанное лицо; увидев хозяина, он законфузился, опустив злобно глаза.

— Что это у вас без меня по ночам за гости? — вскинулся на него Лука Силыч, но Иван Огонь молчал, как пень.

— А?.. — продолжал Еропегин его допрашивать.

Но Иван Огонь будто бы даже озлился:

— Каки-таки хости? Никаких таких хастей не видывам!..

— Да ты руками-то не размахивай, не приучайся к тому: опусти руки...

— Да я, да што: никаких хастей, во те хрест, не и видом-то не видал.

— Ладно, а что жидовка-то мне говорила? — обернулся Лука Силыч к портновскому окну; но там уже у окна не торчала жидовка.

— А жидовка — жидовка и есть: жидовка всякое брешет; верьте, пожалуй, жидовке... Жидовка...

— Не рассуждай руками, опусти руки, пришей их там, что ль... Бери вещи! — изнемогает Лука Силыч. — Там уж мы разберем... Ишь, быть грозе...

— Да, — почесался за ухом, озираясь на небо, Огонь, — нахлобучило...

Сухо и важно проскрипел сапогами хозяин в свой кабинет; пусто и густо в его кабинете; он опустился в кресло; скоро защелкали его счеты, загремели ключи, шелестели меж пальцев бумаги, квитанции, векселя и расписочки; с беспокойством он пересматривал бумаги по граабеновскому делу и начинал понимать, что барон-то ведь, пожалуй, и прав: с эдакими бумажками не ограбишь старушки, а разве что только напугаешь; не час, и не

два хозяин изнемогает от мыслей, слабости, тошноты да какой-то сухой грусти: вот тоже сторож Иван; не раз казалось хозяину, что и сторож Иван угрюмо подглядывает за ним для какого-то такого обмана — отпустить бы его, отпустить, не медля...

Вдруг внимание его отвлеклось; у себя в пепельнице он замечает окурок; руку купец протянул, окурочек со всех сторон осмотрел и решил, что таких папирос гости его курить не могли; значит, кто-то тут в его отсутствии, в кабинете сидел; кто бы это мог быть?

Смотрел: и чехол-то на кресле сдвинут, и на ковре-то сухой грязи шлепок под креслом; Фекле Матвеевне тут нечего делать, да и грязи шлепка она не посадит. «Гости, значит, это сюда без меня повадились, — думает Еропегин, — Фекла, значит, об этом знает, а мне — ни слова: то-то вот она давненько в глаза не глядит; может, какого любовника завела — тьфу!» Луку Силыча так затошнило от этой мысли, что он сплюнул, представив себе «л е п е х у» в роли любовницы.

— Нет, это не дело! — решил он и вспомнил, как жидовка ему говорила: и Сухоруков-де, медник, и — старушонки приютные ночью тут были — что за черт! Чего им у меня по ночам надо! — Вспомнил про стрекотанье да шиканье по углам Лука Силыч, вспомнил, как стены дома на него вот более году хмурятся, и даже в пот бросило: — Нет, это я все расследую: погодите, Фекла Матвеевна, погодите; я уже вас научу, как в собственном моем доме тайны от меня заводить, да пиры без ведома без моего устраивать...

Позвонил:

— Позвать Федора.

Появляется Федор, с перепоя.

— Кто нынче ночью тут у нас был?

— Не могим знать: кажись, никого не было...

— А ты, брат, видно, опять за алкóхоль!

Федор почесывается:

— Малость повыпивал: поднесли...

— Как ты это признаешь, я тебе должен сказать: несчастный ты человек, коли употребляешь алкóхоль: это большое зло, и пропащий тот человек, который употребляет алкóхоль.

— Верно, сознаю — паразит человеческий...

— Ну, это ты глупо сказал: разве может п а-р а з и т человеческий? Что такое п а-р а-з и т? Можешь ты это разобрать?.. Ну, пошел!..

Так: Федора, значит, они подпаивают — Федор не в стачке; ладно, ладно — все разберем, что и как. Сидит Лука Силыч, посверкивает глазами — губы сжал, а самого-то тошнит, в виски бьет, и слабость пуще прежнего одолевает: Федор, барон, обманные поступки... Сухая снедает Луку Силыча грусть. А уже в доме встают: топотанье, посуды звон, шлепанье туфель Феклы Матвеевны; все уже знают — сам из Овчинникова вернулся.

А не в урочный день пожаловал из Овчинникова Лука Силыч: никто его эдакую рань не ожидал. Что было тут — иии! Целую без него промолились ночь голуби, и даже не в бане, а в столовой; до моленья же было у голубей важное совещанье; совещались о том, что политические разговоры да прокламации временно пора прекратить; уже полиция рыскала по следам голубей; слишком явно в Лихове раздавались с черными с крестами листки; нет-нет, и накроют; особенно после грачихинских беспорядков да бунта попика Николая всякие в Лихове завелись строгости; пожаловал сюда эскадрон; помнили лиховцы, как

Фокиных да Алехиных с перекрученными руками везли на телегах по Паншиной улице — в острог.

Выгнанный из семинарии семинарист долго пытался отстаивать лиховскую политическую платформу, но Сухоруков медник стал на своем; по этому поводу неприятный у них разговор вышел: об уме.

— Я, можно заметить, не дурак и умнее многих по политичности...

— Я сам не дурак: еще неизвестно, кто умнее...

— Как это вы странно говорите! Невежливо даже, можно сказать, обидно. Я еще не встречал человека умнее себя. Бывают, можно найти, но редко. Я еще не встречал... Я с вами больше не могу продолжать разговор, не желаю: можете говорить, я не слушаю, — надулся было Сухоруков; но их помирили. Все-таки медник настоял на своем, и с политикой голуби пока что поприкончили.

Среди причитаний приютских старушек «л е п е х а» прочла столяра Кудеярова цидулю о том, что уже дитё голубиное, человеческое, нарождается от духовных двух человеческих естеств; голуби передавали друг другу, что вокруг Целебеевской волости целое-де происходит движенье и везде голубям там — приют да ласка.

Фекла Матвеевна утром перед собраньем ту получила цидулю чрез нищего, чрез Абрама, и тут же решила на следующий день в Целебеево съездить, на те посмотреть места, под предлогом побыть в деревеньке, наведаться на мельницу; в те времена Фекла Матвеевна дни и ночи в отсутствие мужа молилась, так что маленечко она сдала, пообвисла; но сами глаза еще более от того стали лучисты и чисты: моська моськой — глаза преангельские.

Вот только сам некстати пожаловал; думала она без него удрать, а после, как вернется, так предлог может найтись всегда, отчего отсутствовала; теперь же как самому заявить об отъезде? А уже Федор вот лошадиную сбрую чистит: поздно откладывать.

С такими мыслями встретилась она с благоверным: друг другу сухо в ладони вложили они пальцы; сам смотрит — прегаденькая пред ним лепешка-обманщица; думает:

«Ладно, ладно! Глаза опускай — знаю я, с чего это взор воротишь: тайны у вас без меня завелись».

Смотрит сама, — Господи Боже мой, — кащей перед ней бессмертный; тощий, бледный, в испарине, руки подергиваются, под глазами круги.

С замиранием сердца «лепеха» сообщила супругу, что она желала бы на денечек, на два подышать деревенским воздухом араматным, кстати, попадью целебеевскую навестить, да и за мельницей присмотреть — все же хозяйкин глаз.

Еропегин было подумал: «тут тебя, голубушка, я и поприжму», да поприжать Феклу Матвеевну он раздумал: во-первых, в ее отсутствие следствие он наведет, какие такие гости к ним в дом по ночам шляются; во-вторых, с Аннушкой ему, без самой-то, сподручнее миловаться.

— Что ж, поезжай...

— Я уж и Аннушку прихвачу Голубятню...

— Анку не брать! — цыкнул на нее Лука Силыч, — без Анки дом придет в беспорядок; Анка — туда, Анка — сюда... Не поспеть Анке со всем управиться...

Подали тройку; с перевязанными подушками, кадочками, одеяльцами села подвязанная лепешка; коляска затарарыкала.

И едва опустел дом, как стал по тому по пустому дому расхаживать Лука Силыч — все обнюхивать, перевертывать, в ларях копаться; забрался в комнату Феклы Матвеевны — глядь: под подушкой забытые ключи от сундука да свернутое рукоделье; он — разглядывать: странное рукоделье: какие-то все кресты, а посередь крестов голубь серебряный с вокруг головы сияньем: «Те-те-те!» — развел руками Лука Силыч; рукоделье сцапал, унес в кабинет: запер, снова вернулся: взялся за ключи, полез под кровать; под кроватью — сундук кованый; сундук выдвинул; крышку приподнял: «те-те-те-те, прокламации! Уряднику надо бы сообщить»... Так подумал Лука Силыч, да над сундуком и присел: стал оттуда таскать Лука Силыч предметы: сосуды, длинные до полу рубахи, огромный кусок голубого шелку с нашитым на нем человеческим сердцем из красного бархату и с терзающим то сердце белым, бисерным голубем (ястребиный у голубя вышел в том рукоделии клюв); вытащил два оловянных светильника, чашу, красный шелковый плат, лжицу и копие; все-то Лука Силыч из сундука потаскал, закопошился у утвари — белый, хилый и цепкий в длиннополом черном своем сюртуке забарахтался он среди шелков да рубах, будто среди паутины паук:

— Ааа! Ааа!.. — мог только он выговорить и выйти из комнаты даже в страхе каком-то; только и мог в темном стать коридоре, у стенки — ослабел: пот льется градом, дыхание захватило, а с чего — сам не знает: чует, преступное что-то такое.

По коридору топочет Аннушка-Голубятня; косы бьются у ней за гибкой спиной; сама с собой ухмыляется, прижатого к углу Еропегина не видит; он ее — хвать за юбку. «Ох, испужали!» —

хохочет ключница, да босой от него отпихивается ногой: видно, думает, — сам-то изволит шутки шутить: да куда там! Как поволок ее Лука Силыч к лепехе в комнату, да в «предметы» шваркнул лицом: и в борьбе забарахтались они среди чаш, шелков да рубах: «это что? это что?» — тискает ее в чаши будто бы даже испуганно хозяин.

— Это... Это... — бледнеет она и молчит.

— Говори!..

— Не скажу... — и еще пуще бледнеет.

Бац — удар по лицу.

— Говори!

— Не скажу!

Бац-бац-бац, — раздаются удары.

Вдруг она, изловчившись, вырвалась, отбежала, да как захохочет, нагло так: так хохотала она, когда старик к ней приставал — по ночам.

— И чего это вы меня бьете? Сами не знаете, за что! Разве не видите, что эфта барынина тайна, а что коли рассказывать, так надо все по порядку: вот ужо вечером, — подмигнула она, — все расскажу; угожу вам: ефти предметы разложим мы по порядку, будем вино из сосудов пить, миловаться; а я уж для вас постараюсь! — тут она наклонилась к нему и, смеясь, зашептала что-то такое, отчего старик как-то весь просиял.

Динь-динь-динь — тою порой дребезжал уж который раз колокольчик: надо было идти отпирать; комнату заперли; оказался некстати гость по хлебным делам; волей-неволей заперся с ним Лука Силыч.

А во фруктовом саду Аннушка-Голубятня шепталась с Сухоруковым, с медником:

— Едак, Анна Кузьминишна, оставлять не

след: никак, иетта, нельзя; с иестава часа, коли оставить, нам капут всем...

— Ох!

— Как ни охайте, а с ним порешить придется...

— Ох, не могу!

— Моей политичности вы доверьтесь: я еще не встречал человека умнее себя...

Молчание.

— Как-никак, а уж вы ему всыпьте.

— Не могу я всыпать...

— Нет уж, вы всыпьте: опять говорю — политичнее себя не встречал...

Молчание.

— Так, значит — так? . . . .
. . . .

— Выкушай, мой ненаглядный, мой любый, сладкого винца.

Звук поцелуя: еще, и еще...

— Аннушка моя, Аннушка, белогрудая Аннушка!

Звук поцелуя: еще.

— Вот тебе, радость моя, сладкое винцо; откушай еще... и еще... и еще...

Звук поцелуя: еще и еще...

Старик в одной исподней сорочке с волосатыми высушенными ногами; у него на коленях белогрудая Аннушка; на столе лазурный атлас, цветы, просфоры, чаша; два светильника горят по сторонам; двери заперты, шторы спущены. Издали бешено залилась Иванова колотушка.

— Выкушай, мой ненаглядный, еще сладкого винца: о, Господи!

— Что это ты так?

— В сердце кольнуло; ничего себе, кушай...

— Так, значит, «л е п е ш к а»-то моя по ночам молится в одной исподней сорочке? Ха-ха-ха!..

— Хи-хи! — Аннушка прячет мертвенно бледное лицо у него в волосатой груди.

— Голубями зовут?

— Голубями, касатик...

— Ха, ха, ха!..

— Хи-хи! — раздается не то смех, не то визг на его волосатой груди.

— Что это ты вся дрожишь?

— Сердце покалывает...

Она поднимает чашу и подносит к его уже глупо отвисшим губам.

Колотушка бешено бьет под окнами: в тьму.

НАДО — НЕ НАДО

Солнце, большое, золотое, золотыми своими большими лучами моет сухой, чуть буреющий под солнцем луг, травка-муравка печется в лучах большого, большого солнца; здесь качается цветик на сухом и узком стебле; там зовет тебя белоствольная чаща берез и среди белых стволов — мхи, пни, листы; а копни листы здесь и там, шапочка выглянет на тебя грибная; старый березовик так и запросится в твою липовую кошелку; сладкая, осенняя, синичья пискотня — слышишь? А еще июль: но вся уже природа на тебя смотрит, тебе улыбается, шепчет березовым шепотом: «жди августа»... август плывет себе в шуме и шелесте времени: слышишь — времени шум? август уже посылает белочку на орешник; и месяц август несется в высоком небе треугольниками журавлей; слушай же, слушай, родимый, прощальный глас пролетающего лета!..

Среди махровых цветочков, березовых пенечков, стоит себе Фекла Матвеевна в блаженстве

в тихом: безмятежно ручки сложила она на животе; солнце играет на платье ее шоколадного цвета, на вуалетке, на шляпке огромных размеров с вишневыми плодами; как богиня Помона, шествует умиленная Фекла Матвеевна среди даров лета благоприятных; духом исполнилось и сердце ее: ароматы щекочут ее нос; млеет она и слабеет она от сладкого, сладкого чиханья, а попик Вукол, шагающий вслед за нею в своей полотняной рясе, всякий раз возглашает после ее чиха:

— Исполать вам, Фекла Матвеевна!

На что Фекла Матвеевна стыдливо ответствует:

— Спасибо, отец Вукол: славный вы человек.

А у самой в мыслях иное: здесь, здесь места ароматные, места благодатные, места святые, духовные; здесь, здесь ныне зарождается радость всея Руси: Дух Свят. Зорко выглядывает купчиха из-за кустиков, кочек, канавок, — не увидит ли благодати.

Вот уж она в местах, святых, целебных — целебеевских; под ногами ее ручеек струйкой-гремучкой журчит; как ступила Фекла Матвеевна на бревно, перекинутое чрез ручей, возмутился ручей, зажужжукал водицей; побрызгивает водица, поварчивает, — промочила ножки Фекла Матвеевна.

— Осторожней, осторожней, матушка, здесь бревнышко-то качается: оступитесь, час не ровен! — суетится сзади нее попик. Не утерпел, подобрал рясу, да и прыг через ручей, рыженькой бороденкой потряхивает, посмеивается — руку купчихе протянул: смеется Фекла Матвеевна.

А там-то, там-то — за ручьем: там вдаль убегает березовая просека; белые сажени сложен-

ных дров, озаренные парчой солнечной: а в той в парче в золотой — вьется, крылышком бьется, гулькает белый голубок: на дровах уселся и побежал по поленцам: коготками по сухой коре — ца, ца, ца!..

— Вот места наши, матушка Фекла Матвеевна, — улыбается попик, отирая красным платком потное лицо: — благодать!..

Еще бы не благодать: помнит Фекла Матвеевна, как она вчера ехала в Целебеево, как всю дорогу она молилась; и как сердце ее стучало; только что приближались они к святому к месту, каждый пень на дороге принимал образ и подобие беса; всю дорогу Феклу Матвеевну обсвистывал ветер и гнал на нее сухую пыль, а из пыли — пни, кусты, сучки, как бесовские хари, в солнце кривились на нее злобно, все ее гнали обратно в Лихов; тут только Фекла Матвеевна поняла, сколь многие бесы грозят человеческому естеству: оку невидимые, вьются они над нами; только молитва, пост да чаянье святости, плоть истончая, самое телесное зрение наделяют зрением духовным; а при сем при духовном зрении каждый вещественный предмет образом становится и подобием предметов невидимых; это все Фекла Матвеевна вчера поняла, как приближалась из Лихова к Целебееву; всю дорогу вплоть до села обсадили ужасными бесами; словно застава недругов обложила святые места: от пенечка к пенечку — от беса к бесу: столько бесов в душу Феклы Матвеевны входили дорогой, сколько их в образе и подобии пней на дороге вставало под солнцем; но она неустанно молилась — и вот уже Фекла Матвеевна в Целебееве.

Здесь пошло все иное: еще за самоварчиком у попадьихи Фекла Матвеевна странные замечала с л у ч а и: кустики, избы, жестяной на избе пе-

тушок уставлялись ей в очи и задумчивой сладостью точно ей говорили:

— Гляди на меня; я храню тайну. — Село, пруд, из пологого лога выглянувшая крыша — все тайну хранило сих мест; попик и тот был словно иного, лучшего мира житель.

Вечером стояли они на целебеевском лугу: завился на лугу хоровод, оттопатывали ноги всякую пляску, а вокруг бежала травная волна, улюлюкал ветер вечерний, косматый прах вставал на дороге, а большой желтый месяц подымался над Целебеевом; он смотрел Фекле Матвеевне в душу и говорил: «смотри, молчи и таи»...

Ночью Фекле Матвеевне дано было видение сонное: столяр стал у ее изголовья; бледную над ней простирая руку, ей дал запрет о себе говорить и себя видеть; молча с ней столяр говорил глазами: «Я, мол, ныне в тайне великой, и видеть, и слышать, и думать обо мне ныне нельзя в сих местах»...

Утром Фекла Матвеевна, от сонного очнувшись видения, взяла свое намерение назад; еще она не готова посетить Кудеярова в его обиталище: ибо сие обиталище есть ныне святое святых; постороннему оку оно не доступно...

Так думала Фекла Матвеевна, обозревая с попиком святые места: что за места! Там синее блеснет озерцо, и к нему будто из слюды сбегают гремучки-струйки, там дерево свесит свой блекнущий лист, а в листе сладкая, осенняя синичья пискотня; луч золотой пал ей на грудь, а в луче в золотом пал ей на грудь жаркий и властный ток и будто бы приказанье невидимой власти: «Все, что ни будет отныне, хорошо: так надо».

— Так надо, — подтвердил и попик; но это он подтвердил ей иное; попик стоял перед лужей и

показывал Фекле Матвеевне, как надлежало через лужу переходить: но Фекла Матвеевна, процветя улыбкою ангелов, сладко и нежно блеснула глазами на попика: «Так надо, так надо», — и попала ножкою в грязь.

Попик же думал: «Возись вот с этой дурехой, все только улыбается, а чего она улыбается?»...

А солнце большое, золотое своими большими лучами мыло сухую траву; а месяц август несся в высоком небе треугольником журавлей; и слушай — родимый, прощальный глас улетающего лета...

Едва сели они в поповском смородиннике за самовар, едва попадьиха, кланяясь униженно, расставила пред л е п е х о й постный сахар, мед золотой, над которым кружились полосатые осы, в то время, как кирпичом вычищенный самовар в медном лоске своем безобразил лицо купчихи, как у поповского палисадника привязал коня примчавшийся нарочный; он быстро подбежал к столу и подал записку; в записке же Феклу Матвеевну извещали о том, что муж ее, Лука Силыч, в ночь занемог, а теперь у него отнялись язык, руки и ноги.

Странное дело: Фекла Матвеевна читала записку, а в душе ее звучало властное приказанье: «Все, что ни будет отныне, хорошо: так надо»...

И Фекла Матвеевна чуть не сказала вслух: «Так надо»... Сердце приказывало ей плакать и ужасаться, но Фекла Матвеевна, принимая известье, как сон, давно от нее отошедший, продолжала радоваться...

Уже кони несли ее в Лихов, обратно; все те пни и кусты, что угрожали ей так недавно, тихо зыблемые ночным ветерком, пели новую песнь о радости несказанной; в тонком свисте ветвей раздава-

лось: «Так надо»... Когда же кони вздыбились над Мертвым Верхом, — с Мертвого Верха открывалась окрестность; и такая была кругом тишина, что, казалось, будто мира скорбь навсегда отошла от земной обители, и земная обитель ликует в своем торжествующем блеске.

. . . .

Пусто, страшно в еропегинском в доме: в темных покоях летает грех; кажется, что из всех углов, рвется и жалуется дух Луки Силыча: Лука Силыч теперь летает в пустых хоромах, как в пустом, в глупом, в бесцельном мире, и нет ему выхода из своего дома, потому что дом свой он выстроил себе сам; и этот дом стал его миром; и нет ему выхода...

Там, там, в спальне, лежит что-то бледное, жалкое, без языка: но это не Лука Силыч; что же это такое? Сухую кожу да седенькую бородку найдете, пожалуй, вы; все это бережно завернуто в простыни; и над этим всем склонилась приютская старушка; тихо пшамкает она надо всем этим: но все это — не Лука Силыч; тщетно оно смотрит на мир бессмысленными глазами, тщетно пытается оно шевелить языком, тщетно пытается оно вспомнить — оно не помнит; Лука Силыч уже отделился от всего этого; невидимый, он бьется в окна, но окна закрыты наглухо ставнями, и Лука Силыч, бесплотный, бессмертный, однако, не может пройти сквозь дерево, праздно колотясь своей телесной душою о стены и шурша обоями так, как шуршат обоями прусаки; безгласный, Лука Силыч кричит о том, что они отравили то, что они потом бережно что-то завертывали в простыни; что в том во всем теперь бьется не кровь, а яд; тщетно он умоляет случайно нагрянувшего генералишку

раскрыть злодейство; генералишка его не слышит; вот с доктором оба склонились над седенькой бородкой.

— Ужасное пгоисшествие, доктог!..

— Так и следовало ожидать: удар — нельзя кутить безнаказанно...

— Неправда, неправда! — кидается на них Лука Силыч. — Здесь происходит убийство: они отравили меня — мщения, мщения...

Но голос безмолвен, душа — невидима; и доктор и генерал склоняются над седою бородкой; седая бородка — это уже не Лука Силыч.

Нет — где же оно? Лука Силыч не видит больше седой бородки, торчащей из-под простынь; справа и слева он видит углы подушек; доктор склоняется над ним, щупает голову; где же Лука Силыч? Или все то лишь снилось ему, и он по комнатам не летал; или сейчас он вернулся в свое тело; что с ним произошло?

Круг света приблизился; со свечой в руке, бледная как смерть, стоит Голубятня; Лука Силыч очнулся от бреда: теперь он помнит все, но он не может ничего выразить; он знает, что его отравили, что страшная в доме его происходит тайна; умоляюще смотрит на доктора; чувствует, как слезы льются из глаз.

— Он понимает?..

— Но он не может ничего сказать.

— Он больше никогда ничего не скажет?

— Никогда...

— Он не пошевельнется?

— Никогда...

Обо всем этом шепчутся с доктором: но слух у Луки Силыча изострился; он слышит и то, что о нем говорят, и то, как шепчется на кухне Сухору-

ков с Иваном Огнем, и то, как ползет на стене прусак в отдаленной комнате.

Он все слышит, но он ничего не говорит: о т р а в и л и.

Уже над ним стоит Фекла Матвеевна в шоколадном платье, вся овеянная сладостным ароматом полей, но глаза ее под вуалью; еще она не сняла шляпу; что она там, под вуалью — плачет, улыбается ли? Лука Силыч на нее шевелит губами, тянется: «Отравили, отравили»... Но она не слышит; она улыбается: ничего под вуалью не разберешь...

Смотрит Фекла Матвеевна на мужа и видит, что это уже не муж, не сам, а так ч т о-т о, завернутое в простыни; хочется ей плакать о муже и горевать; но горести нет никакой, а т а к ч т о-т о: синее в душе блеснуло озерцо, и к нему будто из слюды сбегают гремучки-струйки; там дерево свесит свой блекнущий лист, а в листе сладкая, осенняя, синичья пискотня; не горе в душе Феклы Матвеевны, а воспоминанье, да сладкая, осенняя, синичья пискотня; и властное приказанье подслушивает она в себе: «Все, что ни будет отныне, хорошо: так надо»...

— Так не надо, не надо, — пытается что-то крикнуть из Луки Силыча, — надо обо мне плакать, а не смеяться...

Но Фекла Матвеевна не смеется; слезы текут из ее глаз, а все же... в душе ее встает луч золотой, а в луче — вьется, крылышком бьется, гулькает голубок белый.

— Не надо!..

— Надо!..

Густо, и пусто, и страшно в еропегинском доме: в темных углах начинается шуршанье. Лука Силыч опять залетал по комнатам.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

Над высоким обрывом, куда проваливаются сосны, сидит Катя, а перед ней над лесною далью злой, вечерний, холодный огонь; серый плед закрыл Катины плечи; детские плечики чуть дрожат от пробегающей сырости; здесь вчера, бедная деточка, чуть было не кинулась в пруд; здесь вчера, бедная деточка, простила Петра; здесь вчера она простирала к нему свои тонкие руки — туда, над лесною далью, в злой, вечерний, холодный огонь.

Но мысль о бабке остановила ее.

И себя пересилила Катя; и даже она, как всегда, раскладывала пассианс; и они играли с бабкой в дурачки — старуха и детка; улыбались друт другу; а потом уже к вечеру приехал дядюшка Павел Павлович, на день задержавшийся в Лихове.

Дядюшка поседел, но он оставался таким же, каким его видела Катя два года тому назад; выбритый, чистый, пахнущий одеколоном, он с несколько небрежной лаской поцеловал старухины пальцы и потом вечером, за чаем, потягивая сливки, потом им рассказывал о Петербурге и о своих путешествиях за границей плаксивым, грустно жалобным голосом; и приклеенный к стене Евсеич, выпучив глаза, жадно слушал рассказы приезжего барина; камердинер же Павла Павловича, Стригачев, одетый не хуже самого барона, вертелся небрежно среди господ, и когда рассказываемые происшествия Павел Павлович путал, Стригачев вставлял, без смущения, свои поправки:

— Позвольте, Павел Павлович, дело было не так: мы приехали в Ниццу не в четверг, а в пятницу утром; вы изволили взять по приезде ванну, а потом уже мы...

— Совершенно верно, мой друг... — соглашался Павел Павлович, продолжая рассказ.

Так сидели они втроем на террасе: грустно радовалась приезду дядюшки Катя; дядюшка же, громко сморкаясь, говорил бабке:

— Maman, столько шуму из ничего: я думал, вам грозит разоренье, что было бы, впрочем, в порядке вещей. А, между тем, тут не более, как шантаж; никто никогда не имеет права лишить вас именья; относительно же векселей Вараксинских рудников, то мы еще с господином Еропегиным поговорим: не думаю, чтобы он был так опасен, как хочет представиться.

(О своей встрече в вагоне Павел Павлович скрыл и притом неизвестно почему.)

Над высоким обрывом, куда проваливаются сосны, сел Павел Павлович Тодрабе-Граабен; рядом с ним сидит на скамейке Катя; а впереди, над лесною далью, злой вечерний холодный огонь; там, вдали, уже багрянеет первая осинка; жаркое было лето: близится осени золотая и красная пора.

Так сидят племянница и дядя; и думают каждый о своем. Катя думает о том, что, как только умрет ее бабка, она, бедная деточка, поступит в монастырь; а длинноносый сенатор-дядя улыбается грустно над Катиной молодостью, невольный в душе подавляя свой вздох:

— Вы молоды, Катенька, и не знаете жизни: время возьмет свое.

— Зачем же, дядя, он покинул меня?..

— Не сумею вам сказать, мой друг: вы молоды, и я искренне желал бы вам счастья: то, что он больше не с вами, поднимает его в моих глазах.

— ?...

— Это показывает, что он добивался вашей

руки по действительному влеченью, а не ради богатства. Ведь он — поэт?

— Да, поэт...

— То есть, — эстетический хам...

У — как вспыхнула Катя! Как бровки ее согнулись, какой она на него метнула взгляд! Но дядино безбородое лицо стало грустным и кротким:

— Дитя мое, я не хотел вас обидеть: надо вам сказать, что все люди делятся на паразитов и рабов; паразиты же делятся в свою очередь на волшебников или магов, убийц и хамов; маги это те, кто выдумали Бога и этой выдумкой вымогают деньги; убийцы — это военное сословие всего мира; хамы же делятся на просто хамов, то есть людей состоятельных, ученых хамов, то есть профессоров, адвокатов, врачей, людей свободных профессий и на эстетических хамов: к последним принадлежат поэты, писатели, художники и проститутки... Я кончил, мой друг, — жалобно вздохнул дядя-сенатор, нюхая цветок.

Уже темнело: они сидели на обрыве; низкие черные проносились, холодные облака.

Вдали, на дорожке сада, среди ветвей, теней, в тень взлетающих нетопырей, безжизненно проходила баронесса, опираясь на трость: оловянные ее тупые глаза и ее обвислый рот — все говорило о том, что разрушается старуха, разрушается, что дни ее уже давно сочтены, что мрак ночи вечной, к ее прилипнув глазам, уже смотрится в душу, зовет.

Все втроем они идут к дому: дядя поддерживает бабку, Катя идет впереди и бесцельно жует тростинку.

Мать шепчет своему старому сыну:

— Этот хам меня вдобавок и обокрал; в тот

день, как ушел он из дому, у меня пропали мои бриллианты.

— Ах, да оставьте, мамаша: он ведь чудак, а чудаки, как известно, не занимаются воровством.

— Но... бриллианты...

— А кто у вас был в тот день?..

— Да, кажется, никого не было... Нет, постой: в тот день и был Еропегин...

— Один?

— Нет, с генералом Чижиковым!

— Вот видите, мамаша, а вы говорите: бриллианты украл генерал Чижиков.

Так шептал Павел Павлович трясущейся матери, сморкаясь в густой, с неба падающий мрак...

Барон Павел Павлович Тодрабе-Граабен был большим чудаком: но все бароны Тодрабе-Граабены отличались чудачеством, все они искони брились и ходили с длинными розовыми носами, которые к шестидесяти годам покрывались пунсовыми жилками от умеренного употребления редчайших и тончайших вин, еще находимых в дедовских погребках; у всех верхняя губа далеко выдвигалась вперед под самым под носом; у всех подбородок отсутствовал, отчего нижняя часть лица казалась чудовищно маленькой по сравнению с выпуклыми глазами, никогда не глядящими в лицо женщин, огромными носами и покатыми лбами огромных размеров; было бы, пожалуй, во всех в них что-то грустно воронье, ежели бы не бледно-каштановые, необыкновенно промытые, шелковистые волоса; все бароны Тодрабе-Граабены не говорили, а жалобно плакали, если не вслушаться в их слова, но содержание этого тонкого плача было всегда шутливо.

Плакали и баронессы; и баронессы носили и лбы, и носы, как мужская линия; но баронессы

носили и подбородки; зато многие из баронесс были глупы, как дребезжащие, ничем не наполненные склянки, ходили в кружевах и смолоду покидали Россию для Ниццы и Монте-Карло.

Отец Павла Павловича — Павел Павлович, — как и все Граабены был большим чудаком; он до того помешался на чистоте, что в доме завел у себя странный обычай; к полотенцу, к носовому платку он притрагивался всего один только раз; когда бывал у него насморк, то, чувствуя надобность в платке, он шлепал трижды в ладоши; дверь раскрывалась и вбегали два крепостных казачка, придерживая двумя пальцами каждый за кончик совершенно чистый носовой платок; Павел Павлович брался за середину платка и громко сморкался (все Граабены сморкались необычайно громко); казачки мгновенно бросались с платком вон из комнаты; и если надобность в платке была ежеминутна, ежеминутно вбегали казачки: бесконечное количество платков приносилось и уносилось.

Еще Павел Павлович был музыкант; он игрывал на виолончели симфонии Бетховена и сажал сына аккомпанировать; при малейшей ошибке симфония начиналась сначала, хотя бы и было разыграно десять страниц; так продолжалось до бесконечности; и оттого-то Павел Павлович отец не мог сыграть ни одного пассажа до конца; сын же его смолоду возненавидел музыку. Все разбегались от музыки Павла Павловича отца, а он садился играть на пороге между двумя наиболее проходными комнатами; однажды он запер на ключ своего знакомого и перед ним играл много часов подряд, пока знакомый не упал в обморок. Вскоре после этого эпизода Павел Павлович отец скончался.

Дядюшка Павла Павловича, Александр Павлович, был еще бо́льший чудак; смолоду он проел три четверти состояния и выпил оставленный дедами погребок; к сорока же годам переселился в родовое именье, где пять лет колесил по уезду, остроумничая вовсю; после он пять лет безвыездно просидел у себя в именье, объезжая пахотные поля и остроумничая с управляющим; тут завелась у него странность: и зиму, и лето он ходил в собольей шубе и меховой шапке; следующие пять лет Александр Павлович уже не выходил из парку: здесь он сажал плодовые деревья и ловил в силки птиц; затем с каждым годом он урезывал свои прогулки по парку, так что к шестидесяти годам оказался загнанным на террасу, откуда кормил крошками голубей; потом Александр Павлович заключился в трех только комнатах барского дома и, наконец, последние три года просидел безвыходно в спальне, куда к нему приводили дворовую девку, Сашку, которую Александр Павлович с необыкновенной нежностью поглаживал по плечу, но и только: ей-Богу, только всего! Сашка же ежегодно рожала детей от прохожих парней; всего удивительнее, что Александр Павлович был твердо уверен, что эти дети — его дети; Сашкиным детям осталось в наследство богатейшее поместье Александра Павловича.

Другой дядюшка Павла Павловича, Варавва Павлович, был еще бо́льший чудак; так же, как все прочие Граабены, он отличался остроумием, честностью и особым стремленьем к чистоте: вот это-то стремленье и выразилось в такой невероятной особенности (всего только в одной), что и сказать стыдно, да и вы и не поверите: проживая в провинции и отправляясь в гости, Варавва Павлович ехал шестериком, в карете; впереди же себя

пускал он другую карету, запряженную цугом четвериком; на запятках стояли два казачка, а на передней лошади ехал гайдук и размахивал бичом: но что же с собою возил в этой передней карете Варавва Павлович? Да... право, не скажешь: на случай... некоторый «предмет», назначение которого точнее определить стыдно; подъезжала передняя карета; два казачка бросались открывать дверцы, и завернутый «предмет» торжественно вносился в особо приготовленную комнату; а потом уже к дому подъезжал сам Варавва Павлович; и только тогда на пороге радушно показывались хозяева и вели под руки старого барина в парадный покой.

Стремленье к чистоте искалечило жизнь и тетушке Павла Павловича, баронессе Агнии Павловне; к старости она мыла все, что ей ни попадалось под руки и при этом брезгала полотенцами: просушивала она свои руки, взмахивая ими в воздухе, отчего руки ее всегда оставались покрытыми жестким коростом. Наконец, однажды с утра она вымыла шубу огромных размеров на черно-буром, лисьем меху — собственноручно, отчего на пальце у нее вскочил маленький прыщ; прыщ оказался сибирской язвой, от которой и скончалась баронесса Агния Павловна.

В семействе вот таких чудаков взрос Павел Павлович Тодрабе-Граабен, барон, с сестрою Натальей, отличавшейся от прочей женской линии красотой и умом; Павел Павлович в ту пору, как мать их уходила от мужа с гусаром, привязался к сестре; привязанность перешла потом в более нежное чувство; в ту пору Павел Павлович поступил в «Правоведенье», был тонким молодым человеком и носил треуголку; сестра же его вышла замуж за дворянина Гуголева; известие об

ее замужестве так потрясло Павла Павловича, что решил жениться и он, как только окончит курс, что и исполнил; в выборе жены он руководствовался двумя признаками; во-первых: жена его должна была вовсе молчать; во-вторых, волосы ее должны были быть тонки, как лен; на молчании своей жены да на ее волосах женился Павел Павлович.

Скоро барон быстро выдвинулся по службе благодаря уму, красноречью и уменью распутывать тончайшие юридические дела совершенно честно; к тому же в ту пору он был умеренный либерал; так как-то совсем незаметно он дослужился до белых сенаторских панталон, но тотчас же бросил всякую деятельность; в нем произошел к тому времени переворот: Павел Павлович стал ярым поклонником Прудона; в петербургских гостиных его боялись за никого не щадившее остроумие; в Сенате же к выходкам его отнеслись благосклонно, но дали понять, что ему больше нечего делать, к чему он, впрочем, отнесся равнодушно, перебравшись в дедовское именье; он появлялся в Петербурге на три месяца, чтобы не терять из виду друзей.

Быстро и ярко в деревне в нем всплыли чудачества Граабеных: опустошался погребок, проедались деньги; с чудовищной быстротой росла библиотека; оставаясь человеком серьезным, Павел Павлович находил время для всевозможных прихотей: сначала он уставил дом старинным фарфором; на столах, шкафах и полках появились безносые, безголовые и безрукие фигурки, с отбитыми ручками чашки, угловатые лампы и прочий вздор; потом Павел Павлович исколесил всю Европу, отыскивая какую-то никому ненужную гравюру; после этого Павел Павлович выписал с

полдюжины велосипедов; уселся сам на велосипед, усадил жену, камердинера, бонну и вовсе маленького своего сынишку; через полгода он раздарил велосипеды и принялся за домашнее воспитание детей; были выписаны француженка, немка, англичанка и негр; изучались трактаты о воспитании; наконец, Павел Павлович остановился на системе Жан-Жака Руссо: книги были отобраны от ребенка; англичанка, француженка, немка и негр отправились восвояси; а белокурый мальчонок повис на деревьях, подражая обезьяне; тогда Павел Павлович успокоился и весь отдался книгам: у него можно было встретить решительно все, что недоставало библиофилам; зато самых необходимых книг не оказалось в библиотеке Павла Павловича; редкие книги оплетал в муаровые переплеты нежно-голубых, бледно-розовых и палевых цветов; только близким друзьям открывал Павел Павлович доступ в свою библиотеку; но горе тому из друзей, который по неведенью проводил по странице хотя бы едва заметную черту; испорченная книга не могла оставаться в библиотеке: и с умело скрытым презреньем книга дарилась попортившему ее лицу; близкие друзья трепетали получить в подарок от Павла Павловича книгу: это значило бы только то, что они навсегда упали в его глазах.

В деревне Павел Павлович поднимался с петухами; три часа, пока в доме еще все спали, камердинер Стригачев обтирал и обмывал его водой по раз заведенному обычаю, после чего Павел Павлович отправлялся к себе в кабинет и писал, — что, — это оставалось тайной для всех: вероятно, какой-нибудь невероятный трактат, где готовились человечеству новые откровенья по антропологии, философии, истории и общественным нау-

кам; говорили и то, что просто это какой-то сумбур, но Павел Павлович не унывал, иной раз вступая в переписку с учеными; правда, больше о тонкостях библиографии, нежели о тонкостях науки он переписывался, — но переписывался.

Перед завтраком Павел Павлович пробегал газеты и разрезал журналы; после же, уже перед обедом, свежий и стройный, с полотенцем на плече и с чайной розой в руке, он пробегал по парку к купальне.

К домашним относился Павел Павлович кротко; не в его принципах было читать наставленья; и Павел Павлович предоставлял всем полную свободу действий; но эта свобода была пуще неволи; не глядя ни на кого, он видел все; и так как понятия об опрятности были у него нестерпимые ни для кого, то уклонения в сторону от этих понятий вызывали быстрые его бегства из дому к ужасу домашних и совершенно на неопределенный срок; весь дом дрожал и становился на цыпочки, когда издали еще раздавался голос его, плаксивый и грустно кроткий; так однажды, проходя по дому, он заметил несколько окурков, воткнутых в банку с цветами; это его так потрясло, что он смог только грустно окинуть домашних взором, полным укоризны, и быстро уйти в кабинет; через два часа Стригачев вынес баронские чемоданы, а через две недели неутешная жена получила известие, что Павел Павлович — жив и здоров, и что он плывет к острову Мадейры на пакетботе «Виктория».

В Петербурге друзья с нетерпением ожидали барона; в его отсутствии они все негодовали на него, называя Павла Павловича чудаком, — более того: человеком вредным и анархистом; при его же появлении двери салонов гостеприимно распахивались, чтобы принять «чудака»; и Павел

Павлович, заседая на плюшевой тафте со стаканом сливок в руках (от чая барон воздерживался), говорил много и долго о судьбах России, о монгольском нашествии, о вреде христианства, о влиянии его на распространение спиртных напитков и о будущем политическом строе. Говорил он грустно и медленно, закрывая глаза, говорил с обезоруживающей убежденностью, но говорил столь странные вещи, что вокруг него собирался кружок; после этот кружок иронически отзывался о мнениях Павла Павловича. Но пока Павел Павлович говорил, никто ему не перечил; да и трудно было ему перечить; логические посылки барона казались высоко нелепы; защищал же их он и развивал с железной логикой, с блеском, почти с вдохновением: у него было несколько излюбленных тем, но он варьировал эти темы многообразно и многократно; всякий разговор, как только вступал в него Павел Павлович, казалось, совершенно терял самостоятельное значенье и становился канвой, на которой Павел Павлович вышивал свои темы.

Так неумолимый Павел Павлович оттачивал в петербургских салонах свое остроумие; за это время он обходил книжные магазины и принакупал книг; бывали случаи, когда Павел Павлович вспоминал свою практику юриста (а юрист он был действительно замечательный — хладнокровный, уравновешенный, стойкий); попутно тогда распутывал Павел Павлович какое-либо темное дело; и, уличивши мошенников, уезжал в деревню.

Узнавши о том, что мошенники и плуты угрожают матери, Павел Павлович выехал в Гуголево; предварительно он потребовал кой-какие из документов, кой-какие письменно навел справки и спешно выехал, чтобы обнаружить хамское плу-

товство; разговор с Еропегиным успокоил барона: он понял, что купец уже больше не будет грозить.

Впрочем, не из одной боязни за состояние матери Павел Павлович быстро выехал в Гуголево; более, чем мысль о матери, потревожила его мысль о племяннице Катеньке, напоминавшей ему безвременно погибшую его любовь — к сестре; Катенька занимала мысли Павла Павловича очень и очень; он питал к ней какое-то особо нежное, быть может, слишком для родственника нежное чувство; но как порядочный человек, он ничего не строил на этом чувстве; все же мысль о том, что его племянница помолвлена за мужлана и, как говорят, чудака, взволновала его; что ее жених мужлан — это волновало Павла Павловича лишь эмоционально, а вовсе не принципиально: принципиально Павел Павлович был демократ; то же, что этот мужлан — чудак и поэт, — скорей его примиряло с браком (как известно, чудаки чувствуют друг к другу известное уважение и взаимное понимание). Теперь же, узнав о бегстве «мужлана» из гуголевской усадьбы, об увлеченье какой-то бабой, сектанткой, и о позорных для Катина жениха баронессиных подозреньях, Павел Павлович Тодрабе-Граабен, барон, по ему одному ведомым причинам составил вдруг заключенье, что этот «мужлан» — порядочный человек, как раз подходящий Кате.

Катя: как она занимала мысли барона последний год! Он завел с ней вдруг грустно-томную переписку; он писал ей мрачные письма за подписью «дядя»; старался издалека руководить ее чтением; писал он ей на лазурного цвета бумаге, вынимаемой из саше, и прикладывал к сургучу старинную печать с изображением двух деревьев и с выгравированным четверостишием:

Ручей два древа разделяет,
Но ветви их, сплетясь, растут;
Судьба два сердца разделяет,
Но мысли их в одном живут...

Последние годы Павел Павлович и похудел, и поседел; его нос заострялся все более, как и суждения его, заостренные нестерпимо; он мрачно блистал своим остроумием, как клинком отточенного кинжала; но остроумничал он один сам с собой; более всего к нему тянуло молодежь; но молодежь Павел Павлович от себя гнал; люди же старые от него убегали и сами. Бесполезное его остроумие на рубеже двух эпох одиноко светило Павлу Павловичу на остатке того пути, который надлежало ему совершить в этом мире.

Понятно, что стареющий барин ухватился за Катину дружбу; понятно, что, бросив свои дела, он появился в наших местах; и теперь, в темноте, под воркотанье выживающей из ума старухи, Павел Павлович грустные свои бросал Кате взоры: в душе его созревал план ей вернуть жениха; как собирался выполнить этот план старый барин, это оставалось загадкой для него самого; но в успехе своего предприятия он был уверен вполне.

Таков был Павел Павлович.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СЛАДОСТНЫЙ ОГНЬ

ЧЕЛОВЕКИ

Хриплого безноску Митрий Миронович рассчитал; другой же работник столяра, космач, был голубь. На место безноски поступил в работники к столяру наш герой вот более уже двух недель.

Благодатная у столяра потекла для Дарьяльского жизнь, чуть-чуть страшная; светлый в груди его затеплился свет; как огней поток, из груди его вырывалась любовь к Матрене; как огней поток, рвался ему навстречу Матрены взгляд; как потоки огней на них изливал столяр; и обоих их, светом светлых, ясностью оясненных, охраняла столяра пламенная молитва; будто добела раскаленная печь, на них разъяв свою пасть, палила невыносимо, — приподымала, несла — а куда молитва несла? Но в потоке дней видны были берега трудовой жизни, по утрам встречались все трое, друг на друга не глядя, не упоминая о их пепелящем пламени; подавали друг другу руки с угрюмыми лицами, плавимыми лишь молитвой ночной, или молниями ночных ласк; встречались они за работой, ночи отгоревшие: столярничали себе в плавном пламени полдня; будто бы даже меж них троих, немых, произошел уговор; и будто бы даже столяр Петра к Матрене Семеновне любовь бла-

гословлял, и будто бы в том благословеньи пламень любовный переплавлялся в пламень Духа. Но про все то они меж собой не заговаривали вовсе: странная жизнь, жуткая жизнь; а деревья желтели, краснели, розовели; от розовой и лиловой сухой листвы исходил шум, сеялись листья, красная глядела белочки мордашка и райский голос насвистывал, птичий; а слухи летали тем временем вокруг духовного милования этих людей: под столяровскими окнами стал попадаться сам попик Вукол. Попик Вукол, по чьему-то злому наущению, стал захаживать и в избу; зайдет под предлогом всяким и все-то вынюхивает: так и уйдет, несолоно хлебавши; по вечерам миловались, любились они в полях да лесах — Матрена Семеновна да Петр, в пламень улетающих зорь глядя и плача о пламени; в синем качались небе зыбкие звезды, срываясь в земную юдоль, слетая, сгорая; дни шли, и они шли из дней в ночи; из ночей же они шли в дни.

Так вот: —

Днем же Петр в красной рубахе, пропотевшей на спине, строгал бревна под веселый лязг пил, пилочек, под докучное, как снег, паденье древесных опилков, под докучное жужжанье мух в столяровской избе.

В кротком солнечном свете, бывало, что рвется в окна, пересыпается столб пылинок, ясная сыплется из-под пилы пыль опилков, будто пыль света; в ясном том свете, в ту ясную пыль, склоненный к бревну достойного хозяина, строгий лик иконописный; говорит за работой мало:

— Дай, барин, фатерпас...

— Вот ватерпас.

— Таперича нужно едакое уравнение кресельных ручек — вот какое?..

И замолчит.

Работает Митрий Мироныч: то приложит долото к дереву и бьет по нему молотком, взлетающим над головой в солнца блеск, то костлявой ухватится он рукой за пилу и перепиливает потом, задыхаясь от поту, бревна обрубок — но все-то у столяра выходит очень даже достойно, со смыслом: заказчикам всякого сорта столяр потрафлял; так и работал он: и работа всегда имелась; и платили очень, очень недурно. А кругом яркий жар, или бледный блеск, и надо всем Лик Спасов, благословляющий хлебы; под Ликом зелененькая лампадка, полная масла, искрой попрыскивает, посвечивает, помаргивает; и спокойно хочется тебе умилиться на величавый труд этих достойных людей; труд несуетливый — взглянешь и скажешь: «благослови, Господи, труд этих человеков!»

Ан, к вечеру шесть новых с т у л о в у стены стоят в разобранном виде: будут люди с думой на стулья угрюмо садиться, но в труде вложенная в древо молитва из стула будет невидимо переливаться пламенем плавным в тех, что, задумавшись, на сработанных стульях сидели: всякие люди купят те стулья: повезут их в Москву, в Саратов, Пензу, Самару и во всякие иные славные русские города, привезут, уставят их люди, и сядут: и долго будут люди те думать, сидя на стульях, и о жизни стезе, и о том, что есть то, что есть; и вещи отделятся от своих случайных имен; и сидящий в стуле скажет: почему стул называется «с т у л», а не «л о ж к а», и почему я «Иван», а не «Марья»?

Работайте же, работнички, над предметами новыми: благослови, Господи, труд этих человеков!

Иной раз, среди стука молотка и жужжанья мух, эти строгие люди, обливаясь пóтом, заводили

строгие свои песни; заводил песнь космач; угрюмо упершись в бревно молотком, он начинал:

Среди самых юных лет
Вяну я, аки нежный цвет.
Господи, помилуй!

Казалось, что некий сон, бывший когда, и еще не ставший явью, вернулся, прелестным светом бьет в окна, оясняя затаивающих в угрюмости радость человеков этих, в поте лица строгающих новую жизнь; неописуемое вставало; радужная света завеса срывалась со света завесы: все в свете срывалось, обнажая неописуемое, когда столяр подтягивал в нос:

От младенческих пелен
Был я Богом посещен.
Господи, помилуй!

А из парадной из горницы сладкий голос Матрены, засевшей за чистку картофеля, поднимался и падал приветно:

Мы, оставя всех родных,
Заключась в стенах святых.
Господи, помилуй!

И все подтягивали:

Господи, помилуй!

Там, в парадной горнице, Бог весть, что там исполнялось: туда не смели глядеть ни космач, ни Петр: вон, вон, о, Господи, красная юбка Матрены Семеновны: вон, вон из-под юбки ее босая ножка под столом бросается в глаза из полуоткрытой двери; и ножку ту перерезал жизни луч световой;

свет перерезал сердца им; бьются в груди отрезанные сердца части: столярничают, подпевают:

В бесконечных временах
Нам радость в небесах.
Господи, помилуй...

Воздух в горнице греет светом, в воздухе пахнет по́том: строгая песнь, возникая, обрывается; обрываясь, возникает. Будто бы мир здесь образовался свой, новый, на пространстве всего лишь нескольких квадратных саженей, отрезанных от прочего мира деревянными стенами. Дарьяльскому во время пения начинает казаться, будто бы сошествие Святого Духа происходит на этих четырех квадратных саженях; Дух льется невесть откуда; в углах раздаются трески: вот кусок дерева, положенный на стол, подпрыгнул, движимый Духом, и покатился в стружки. Но ни он, ни космач, ни столяр не прерывают работы; будто бы и нет ничего, что есть. А вот световое пятно, лежащее на груди столяра, двумя светлыми крыльями срывается со столяра и, розовея, летит по стенам к Дарьяльскому на грудь: багровое освещает ему бревна обрубок своим багровым огнем; но то солнечное отраженье; оно движется быстро: укатывается солнце; уже вечер.

За окнами же близко, близко целебеевский парень благим матом ревет модную, кем-то по селам пущенную песнь:

Ах ты, слон, слон, слон —
Хоботарь:
Тромба Тромбович —
Трембовельский.

Вечер: заскорузлыми пальцами отгребает Дарьяльский желто-розовые от зари стружки;

космач, пыхтя, собирает гвозди, набирает их в рот; изо рта достает и быстро приколачивает к доске; Матрена Семеновна прошла, шурша стружками; у нее строго сдвинуты брови: глупая баба — чего ж ей таиться — уже ведь вечер, и теплятся звезды; уже прохлада бирюзой, и сквозной, и искристой дальние заливает рощи, и все там хмурится — сеется мрак и множатся тени, — а напротив усталое солнце истекает последним огнем: рубанки, фуганки, сверла Митрий сложил, свесил над ними тонкое мочало бороды, задумчиво оперся на пилу, и потом тихонько поплелся из избы обшлепанными лаптями; уже он на лугу, — и детишки от него прочь; хмурится вечер: скоро у всех тех, которые днем ходят с тусклыми очами, будут ясные очи, с поволокой, что полные масла голубые лампады; и тихие их промеж себя будут речи, что сахарный мед.

Светлый свет, утром рождаемый, к вечеру уже ослепительно блещет из очей этих трудом, что постом, преображающих себя человеков.

ЛОВИТВА

Бежит на аер сырой перламутровая рябь; в сыром в аере в зеленом уже более часу Дарьяльский тут горбится красным пятном; ушла далеко в воду от него уда — туда, где влажные пляшут на воде куски перламутров, разбиваясь о берега пузырчатой, жалобно поплескивающей водой; и ясно вниз от удочки натянута нить — и качается поплавок, проплывает грустная утица — а за ней тянется рябь; танцуют куски перламутров и над ними — стрекозы; позванивает в ухо Бог весть как с весны уцелевший комар; на черной землице

в бумажке у ног копошатся красные черви; село сбоку от зари — яхонтовое, сверкающее крышами, стеклами, бревнами; дико сверкающий впереди кусок неба, и тоже яхонтовый.

Засевший где-то сбоку, Александр Николаич, дьячок, вытягивается разом; поплавок его пляшет, взлетает уда; и бьющаяся рыбёшка, светлые рисуя знаки чешуйчатым своим тельцем, попадает в жесткие дьячковские пальцы, где ей разрывается рот, и уже — пломб: булькнула в ведерцо́.

— Ай, да ловитва!

— Да! — отзывается из аера Петр.

— Исполать же и вам! — покрикивает дьячок.

— Да, не ловится что-то.

Молчание: в молчании меркнет заря.

— Я на вас посмотрю, Петр Петрович, ей-Богу, простите за откровенность: ну, чего иетта вы едва ли что зачудили: барин, можно сказать, барином; и лицом Господь не обидел, и ученостью, так-таки, начинены, а какое-такое, прости Господи, наважденье: при всем том вашем и поступили в работники — да к кому?! К Митьке столяру!

У Дарьяльского ноги болят, спину ломит, поднывают с работы руки, в душе же — сладость да радость, блаженство неизреченное; на дьячковское слово усмехается; смотрит — туда, чрез село: в голове-то его рифмоплетчество, ладно складываются слова:

А ярка ясный яхант
В прахладу влаги пал...

Все — «а я-а» да «а-я-а»: рифму бы к я х а н т? А рифмы-то нет — что за черт! А поплавок-то его подплясывает: крупная, видно, рыбина укусила червя.

— Отчего же, Александр Николаевич, и мне не столярничать? И так я очумел от книг да от ученья: столярничаю себе...

— Для, значит, моциону, — осклабился дьячок, — точно оно; тоже вот как на какую голову — книга-то; иная от книги голова и просто балдеет. Вот хоть бы я: как книгу раскрою — пошли в мозгах писать турусы да белендрясы.

— Скверная штука — ученье!

— Хе-хе: балда балдой!

«Взз-взз-взз» — пролетает ласточка.

Молчание: меркнет заря.

— Последняя ласточка!

— Недолго им тут летать, сгинут — а куда?

— В Африку, Александр Николаевич, — в Африку, к мысу Доброй Надежды.

— Неужли в Африку? — удивляется дьячок.

— Так-таки и улетят.

— Летуньи.

— Летуньи, — умиляется и Петр.

Оба следят за ласточкой, как кружит белогрудая, и кружит, и летит, и зовет, и пищит, — и туда, и сюда, и туда, и сюда: «и в и в и»; грудью к пруду прильнула, под самый крест колокольный взвилась и над этим теперь от зари яхонтовым знаком затанцевала в воздушном восторге плясавица-ласточка: «ививи-ививи»...

— Ишь пляшет!

— Что царь Давит пред ковчегом завета.

И Петр думает: «милая, милая, заветная ласточка, белогрудая»; летит легколетная ласточка... И повизгивает про Катю. «Ививи! Ививи» — ласточка унеслась к Гуголеву: «Ививи» — замирает над деревьями; тихо: расходятся на воде круги, — и душемутительная дума, плаксивый звук накачиваемой из колодца воды, — тишь, гладь, сонь, мгла.

Во мгле пропадает дьячок; уже его нет как нет; и душемутительная дума.

Куда Петр ушел? Что с ним? Никогда, нигде, ничего с ним такого и не бывало. Не снится нигде, никогда, ничего такого, кроме как в России; а здесь среди простых этих, не хитроумных людей, все это снится; знают русские поля тайны, как и русские леса знают тайны; в тех полях, в тех лесах бородатые живут мужики и многое множество баб; слов не много у них; да зато у них молчанья избыток; ты к ним приходи — и с тобой они поделятся тем избытком; ты к ним приходи, ты научишься молчать; пить будешь ты зори, что дрáгоценные вина; будешь питаться запахами сосновых смол; русские души — зори; крепкие, смольные русские слова: если ты русский, будет у тебя красная на душе тайна, и что липкая смола твое духометное слово; виду у него нет, а привязывается, и дух от слова идет благодатный, приятный; а скажи простое то слово — будто бы ничего в простом том слове и нет; слов тех не знают и вовсе те, что живут в городах, придавленные камнями: те, как приедут в деревню, видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы грязного мужичка угрюмо насупленное лицо; а что то не мужик, а втайне благовествующий Кудеяров столяр, — им и вовек не понять, не узнать; они видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы бабью глупую болтовню; а что то краля Матрена Семеновна с устами сахáрными, с медовой сладостью поцелуев, — все то от них скрыто.

Бедные, бедные! Задумался Петр: уже весь сон запада прошел перед ним и уже сон отошел; он думал: многое множество слов, звуков, знаков выбросил запад на удивленье миру; но те слова, те звуки, те знаки, — будто оборотни, выдыхаясь,

влекут за собой людей, — а куда? Русское же, молчаливое слово, от тебя исходя, при тебе и остается: и молитва то слово; как выплеснутая в воздух золотого чарка вина, что камушками, самоцветными брызгами горит в солнце, опадая каплями этими под ноги в грязь и тебя оставляя неутоленным, хотя бы и призывая к тебе посторонних людей минутно полюбоваться дождю золотых капель, — так вот и слова, которым нас обучает запад; свои там выплескивают наружу слова, в книги, во всякую премудрость и науку; оттого-то вот там и сказуемые слова, и сказанный склад жизни: вот что такое запад. Но ведь не слово — душа: грустит она о несказуемом, она о несказанном томится. И не то в России: полевые люди, лесные, в слова не рядятся, и складом жизни не радуют взора; слово их что ни есть сквернословие; жизни склад — пьяный, бранчливый: неряшество, голод, немота, тьма. А ты и смекай: духовное винцо на столе-то перед каждым; и каждый слов несказа́нных и чувств несказуемых то винцо про себя выпивает. Говорит, будто заикается, да все о таком простом; молчит же — диковинное молчанье! Уста последними тебя обругают словами в то время, как тонут очи в ясной заре; уста бранятся, а очи благословляют; начнет говорить, что твое обстругает бревно; а запел вот — и... словом, далеко по белу свету разлетелась молва о тех песнях о русских; а кто же те песни поет, кто их сложил? Тот самый сложил их мужлан, который тебя при случае по-матерному ругнет.

Жить бы в полях, умереть бы в полях, про себя самого повторяя одно духометное слово, которое никто не знает, кроме того, кто получает то слово; а получают его в молчанье. Здесь промеж себя все пьют вино жизни, вино радости новой — думает

Петр: здесь самый закат не выжимается в книгу: и здесь закат — тайна; много есть на западе книг; много на Руси неска́занных слов. Россия есть то, о что разбивается книга, распыляется знание, да и самая сжигается жизнь; в тот день, когда к России привьется запад, всемирный его охватит пожар: сгорит все, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька — Жар-Птица.

Вспомнил Дарьяльский свое былое: и Москву, и чопорные собрания модничающих дам и дамских угодников — поэтов; вспомнил их галстуки, запонки, шарфы, булавки, вывозные, французские и весь модный лоск последних идей; одна такая девица пожимала плечиками, когда речь шла о Руси; после же пешком удрала на богомолье в Саров; похохатывал социал-демократ над суеверьем народа; а чем кончил? Взял, да и бежал из партий, появился среди северо-восточных хлыстов. Один декадент черной бумагой свою оклеивал комнату, все чудил, да чудил; после же взял да и сгинул на много лет; он объявился потом полевым странником. Скольких, скольких в тайне сжигает полевая мечта; о, русское поле, русское поле! Дышишь ты смолами, злаками, зорями: есть где в твоих в просторах, русское поле, задохнуться и умереть.

Сколько сынов вскормило ты, русское поле; и прозябли мысли твои, что цветы, в головах непокойных сынов твоих: убегают твои сыны от тебя, Россия, широкий твой забывать простор в краю иноземном; и когда они возвращаются после, кто их узнает! Чужие у них слова, чужие у них глаза; крутят ус по-иному, по-западному; поблескиванье глаз у них не как у всех прочих россиян; но в душе они твои, о, поле: ты их сжигаешь мечты, ты прозябаешь в их мыслях райскими цветами,

о, луговая, родная стезя. Не пройдет году, как пойдут бродить по полям, по лесам, по звериным тропам, чтобы умереть в травой поросшей канаве.

Будут, будут числом возрастать убегающие в поля!

Будут в сибирских дремучих местах умножаться часовенки! Знает ли каждый из нас, чем он кончит: может, не станет на склоне дней он тихо сидеть в своем городском кресле за чтением мудренейших книг и с душистым куревом, а закачается в чистом поле на двух на висельных столбах с перекладиной; в придорожной канаве, может, или в лесной вологодской келье кончит он дни, — кто знает, кто скажет? Ничего про себя вы не знаете, юноши! Жены, — слушайте, жены, благовест вольный: в полях в широких, в раздольных благовест стоит искони; кто тот благовест слышал, тому в городах покою нет; только измается в городе он; полуживой, убежит за границу; да и там покоя ему не найти никогда. Изрыдается душа; ум засохнет; язык к гортани прилипнет; будут его от тоски-болезни лечить водами и в сумасшедшем-то он побывает доме, и в тюрьме; кончит же тем, что вернется к тебе, о русское поле!

— Так вот и я! — вздрагивает Дарьяльский: смотрит — упадает кубовая над головою синь; поля, леса, избы — все кубовое, ночное: желтый месяц встанет — и тени.

«Будто я в пространствах новых, будто в новых временах», — вспоминает Дарьяльский слова когда-то любимого им поэта: и тот вот, измаялся: если останется в городе, умрет; и у того крепко в душе полевая запала мысль. И невольно слова любимого поэта напоминают другие слова, дорогие и страшные:

В бесконечных временах
Нам радость в небесах,
Господи, помилуй!

Мы, оставя всех родных,
Заключась в полях пустых,
Господи, помилуй!..

Чу! с той стороны пруда родной отзыв:

Был я Богом посещен
От младенческих пелен...
Господи, помилуй!

Это злобный космач, окончив столярное свое дело, отправляется домой.

— Теперь я уже не филолог, не барин, не поэт: я — голубь; не Катин женишок, — Матренин любовничек, — усмехается Дарьяльский, и ему страшно от сладкой этой действительности; и душемутительная тревога; чтобы заглушить ее, он поет:

Будто я в пространствах новых —
В бесконечных временах.

«Что это я путаю?» — думает он; и ему страшно.

— Что это вы такое поете, молодой человек? — раздается за его спиной плаксиво-жалобный голос.

Дарьяльский вздрагивает и оборачивается.

Грустный бритый старик с далеко выступающим носом стоит перед ним, нюхает цветик; руки его в перчатках; на одной руке плед, в другой руке палка.

— Так себе: песни пою. А вы кто будете?

— Я из окрестности, — вздыхает томно старик.

«Где я его уже видел в далеком прошлом?» — думает Петр; странное какое-то сходство с чем-то любимым, знакомым, но и давно отошедшим в этих старых чертах — но с чем, с кем? Смотрит — все

на старом с иголочки; думает: «западник! вот оно что!» А старик в образе и подобии запада бережно развертывает плед, укладывает его в траву и садится с Дарьяльским; луна уже их освещает тихо, и Дарьяльскому думается, что пора бы к Матрене в условленное местечко, но его к себе бритый барин приворожил; голос бритого барина такой же плаксивый, как птицы болотной крик; напоминает крик тот по осени нам милое прошлое и, зачарованные, подолгу мы простаиваем вечерами у гнилых, болотных окон, все испуганно слушаем голос родной заплакавшей птицы.

«Все прошло, все прошло» — лепечет вода, а мы улыбаемся, мы не верим: «Ничего не прошло», — мы спорим; но мы не скажем никогда, что такое прошло, и отчего... но чу — как раз вдали голос заплакавшей птицы...

— Молодой человек: вы — чудак?

— ???

— Потому что вы — русский: все русские — чудаки...

— Где-то я все это уже слышал? — отзывается Петр (чу — снова голос вдали болотной птицы).

— Вы это слышали в себе самом, — изумляется Петр: ему почудилось, что те слова он лишь подумал, а не сказал.

— Нет, погодите: постойте: где я вас видел? вы мне напоминаете...

— Ну, вот какая фантазия: все мы друг другу напоминаем и все встречаемся.

— Вы, собственно говоря, о чем?

— Да, я, собственно говоря, ни о чем ровно... — заливается плачем успокоенный барин, поглаживая коленку.

— Какой вы нервный: вы, батюшка мой, чу-

дак; смотрите, как бы вам не пришлось поплатиться за нервность...

— А вы почем знаете?

— Вы — молодой человек: а молодые люди все — вырождаются; это печально — но это так: русские люди вырождаются; европейцы вырождаются тоже; плодятся одни монголы да негры.

— России предстоит будущее, — возражает Петр, а сам вглядывается в бритого барина: ничего себе — барин спокойный, тихий; верно он — западник. «Где это его видал?» — думает Петр, а сам говорит: — Россия таит несказанную тайну.

Но Павел Павлович (это был он), попав на любимую тему, уже принимается холодно ее вышивать на словах Петра.

— Россия — монгольская страна; у нас всех — монгольская кровь, не ей удержать нашествие: нам всем предстоит пасть ниц перед богдыханом.

— Россия... — возражает Петр.

— Россия — несчастная страна; вот вы говорите о несказанном; стало быть, у вас в душе есть что-то такое, что вы не можете высказать: вы, молодой человек, не только чудак, но вы вдобавок еще и косноязычный чудак; вы — несчастный немой молодой человек, как и все теперь молодые люди немы; они говорят о чреватом молчании, потому что не умеют членораздельно выражаться. Когда говорят о несказанном, это опасный симптом; это доказывает лишь то, что человечество впадает в скотоподобное состояние; к сожалению, все теперь скотоподобны, не одни русские! — вздыхает грустно Павел Павлович барон и громко сморкается.

Чу! Снова далекий, болотный, родимый голос: «Все прошло, все прошло!» — и Дарьяльский, как будто борясь, восклицает:

— Нет, нет — неправда, неправда!

— К сожалению, правда: вот вы, молодой человек, по-видимому, принадлежите к интеллигенции, а посмотришь на вас — мужик мужиком: это потому, что подлинная культура вам не под силу; оттого-то вы и чудачите; вы себя заставляете видеть сны: проснитесь...

Снова Дарьяльский прислушивается к вещим словам: разве все, что с ним — не чудесный сон, снящийся наяву? С удивлением смотрит на бритого старика, а уж бритый старик, поднявшись с земли, бережно складывает свой плед и вежливо подает ему свою руку, не снимая перчаток:

— До свиданья: мне далеко возвращаться...

И уже он вот от Петра далеко, — далеко запад: «где я видел его?» — продолжает думать Дарьяльский; предосенний холодный ветерок трогает деревцо: падает в тень желтый лист; струйка воды возлепетала у его ног:

«Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-все».

— Я и сам знаю! — усмехается Дарьяльский и вдруг ловит себя: «Что, что, что — что я знаю?»

Но пора: Матрена его, небось, давно заждалась.

«Одно мгновенье не спал, — на один миг проснулся, — думает Петр, — вот уже иду в сон».

Но по мере того, как подходит он к дубу, ему начинает казаться, что он вновь засыпает; потом ему кажется, что и не было ничего из того, что было: бритый старик, странные его речи, все это сон, давно отошедший на запад; его проглотила страшная опять явь: это — Россия.

Струйка осенней воды лепечет у его ног: «Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-все»...

— Я и сам знаю! — усмехается Дарьяльский.

ДЕЛАНЬЕ

— Сядь-ка сюда, Матрена... Славная у меня ты бабёха: сядь-ка сюда, Матрена... Небось, скучно — ефта со мной, со стариком — вот тоже...

Дико блещет очами столяр; к окну его колченогие ноги несут, он руками цепляется за Матрену и тащит ее за собой к окну:

— Сядь-ка сюда, Матрена...

— Ох, чтой-то! — дико блещет она очами; ее слабовольные ноги к окну понесли; как за руки, как за ее столяр уцепился, так и гладит, и шепчет, и тащит ее за собой.

— Подь сюда, подь! — рядом усаживает. — Славная у меня ты бабёха, глазастая, крупная: вот только воспенным пятном маленько попорчена; ну да, небось, полюбовничек-то не взыщет... Ждет, поди, полюбовничек...

— Пфф... Пфф... — стыдливо пофыркивает Матрена.

— Ждет?

— Ждет...

— Ничего... Ждет-пождет: слаще ему же будет потом.

— Ох, не могу! — прячет лицо от сожителя старого, а старый сожитель уже ее усадил на лавку: — славная, славная — ничего себе...

— Охохох! — вздыхает Матрена...

— Дай-ка мне ручку свою, Матрена: не хошь? Ну, значит, не надо, я ведь так только — ни для чего другого... Да ты слухай слова-то мои... Ничаво иетта я не против... Только вот оно что: слишком вы, други, частенько милуетесь: кажный день, кажный день иеттат у вас случа́й праисходит. И все без молитв, без воздыханий — вот тоже. А для ча? Нешта не знаешь, в каку таку тайну иеттат

случа́й обернется: как забеременеешь; помни, каку понесешь тяжесть духовну людям на сладость.

— Да у нас, Митрий Мироныч, не проста иетат случай, — конфузится баба, — мы воздыхаем о духе: милуемся на поля, на цветики, на всякое благовоние, песни поем...

— Дай-ка мне, любая, руку на хрудь к тебе положить, — умиляется столяр, дико блистая уже в нем загоревшимся пламенем. — Мягкая у тебя хрудь, Матрена!..

— Ох, оставь, ох не трошь ты меня!..

Но чудная ее уже в немоту заключила мощь; из руки столяра ей грудь рассек ток; тонкими струйками растекается вкруг нее, наливается в нее его ток от пальцев потных, пальцев цепких: усмирилась, безвольно повисла иссиня-бледным лицом, розовеющим медленно наливаемым током, что румяная осенняя боровинка.

— Тепло ли тебе, тепло ли тебе, тепло ли тебе?..

— Тепло мне: еще теплей — все жарче... ух, грудь сожгло: вся горю...

— Молитесь, молитесь: воздыхайте, не о себе, о дите; кажный тот вечер, как в полях вы прогуливаетесь, али в лесу, в дупле, на сеновале друг с дружкой милуетесь — кто да кто слезно молится о духовном зачатии души? Столяр Кудеяров... Вот тоже... Не на срамное, плотское соитие вас талкаю — сам бы я без того не прочь — на зачатие светлого духа... Славная у меня баба — сам бы я... Молитесь, молитесь же, воздыхайте... Дай-ка, любая, мне еще на хрудь руку свою возложить.

Силой палящей и блеском и треском попаляет ее рука столяра: изнасилованная его мыслью, она не противится; спал платок с головы, руки укрыли лицо, плачет Матрена Семеновна, разливается

слезами умиленно; и хорошо-то ей, и страшно — будто в бане: спать хочется.

А столяр? Его лик будто спал с него, как кожура линяющего таракана; грозный, грозный, легко истонченный его лик, с очками, павшими на кончик носа, глянул по-новому из-под той сквозной, пустой кожуры: дик и грозен лик столяра; дико и грозно в избе; странно натягивается здесь воздух между предметами, как силы духовной некая ткань; и ткань светится, потрескивает: искры по комнате, трески сухие, бегут огоньки будто паук, светлую выпрядающий из себя паутину. Руки вверх бросает столяр, бормоча накликания и слова: и снова прижимает руки к груди; вверх — вниз, вверх — вниз руки летают; будто от хворой его груди к цепким пальцам пристают света кудельные волоса: благоуханные, богоданные; благоуханные, богоданные волоса вырывает он из груди. На Матрены Семеновны грудь, на плечо, на живот, — падает, падает, падает перст столяра, быстро-быстро ее его заволакивают паутиной руки; сонно тонет она, сонно тонет она, сонно тонет она в едва глазу заметной света пучине, вырванной из груди столяра и намотанной на нее, а над всем этим — глаза столяра, как зеленые злые отверстья, ведрами льют на нее свет. Так сидят они у окна; луч вечерний, последний скромно протягивается в окошко и, свирепея, багровым бежит косяком на столе, не разберешь, что тут солнечный свет, и что тут свет столяровский — столяровская паутина молитв, затканных солнцем и тьмой в один воздушный ковер; странный невидимый вид: душа столяра вытекает наружу паутинными нитями, светами, пламенами; вокруг рук его, вокруг его головы теперь — багрово-золотой круг: сонно все то увидала Матрена; глу-

пая, сонно она уже на коленях пред ним; руки целует и — ах! — молится. То уже не сожитель, Митрий Мироныч; то праведник, то великий пророк, из себя выкинувший пламя; знает Матрена, что коль есть случа́й, пламенем этим Митрий Мироныч поджигает солому: руки сложит, пальцами изобразит острие и к тем копием заостренным пальцам страшная притечет сила, скопится, засверкает белым калильным огнем: видела однажды она, как в глухую ночь из окна из заряженного силой столяровского пальца молния исходила и тукнул гром.

Все то как во сне теперь проносится в Матрене; вся она в световой, жаркой сети; а зеленые угли над ней льют ведра света, крючковатые пальцы плетут золотую нить; вот столяр отошел и светлая от него полоса вытягивается, оканчиваясь на Матрене, как и в Матрене, большим световым клубком; столяр — туда: сонно Матрена тащится за столяром; столяр — сюда: сонно Матрена за ним поспешает.

Вот уж столяр между ней и собою тощей провел рукой, разделяя надвое света сеть; полоса света надвое рвется; в тьме виясь, трепыхаясь, тонкие ее лопасти переливаются на Матрену; сети обрывок, виясь, — тот, что остался у столяра — переплыл в столяра, третий клочок рассеялся в воздухе, одна она теперь почиет в ей отданном свете — тихо спит и не видит Матрена Семеновна ничего: ослепительный, невыносимо тут сияющий столяр прохаживается, вверх бросает руками: вверх — вниз, вверх — вниз, вверх — вниз: вот оплетает он предметы льющейся из себя светоносной тканью, бормочет: руку положит на стол и вновь от стола отойдет; от стола за ним протянется нить; ту он протянет нить и к окну, и к лам-

паде, и к красному своему углу; паук заплетает всю комнату паутиной; всюду теперь сверканье тысячи нитей, поблескиванье, миганье — нитей тончайших, светлейших, — нитей потрескиванье: золотая, страшная канитель; все те из столяра выпряданные нити сходятся к столяру же — не то у груди его, не то сходятся к его чреву, а он, сидючи в углу, быстро перебирает руками и, быстро, будто лапками перебирает нити паук; так и кажется, — на своих на собственных на сетях вот он повиснет в воздушной волне ночи; быстро он быстро колдовские бормочет невнятные речи; хрипло, клокоча, истекает из горла поток славословий; а ну-ка, прислушайся: какие такие слепнущий в блеске речи нашептывает столяр? Ты ужаснешься неизреченному, не смыслу тех многословий: ты ужаснешься бешенству их бессмыслий:

— Старидон, карион, кокире, стадо, стридадо: помолюся Господу Богу и святой Пречистой. Молодик молодой, у тебя рог золотой... Старидон, карион, кокире — стадо: стридадо.

Так из уст в ужасном блаженстве полиелейя дикая рвется: то световое, быстро перебирающее пальцами тело, которое еще так недавно считало себя столяром — не столяр: то — легион сдавленных бешенств; то — поток неизреченных радостей; погляди, погляди; вылетающие из столяра света снопы золотеют, бледнеют, яснеют, синеют, изо рта выпрядают красные пламена, ударяются с шипом о пол и выпархивают из избы в полураскрытое оконце; если стать у пологого лога, притаившись в бурьяне, дозирая издали оком суровым избу, то покажется верно, что в открытое окно самоварная выставилась труба и плюет в темноту снопами красненьких искорок.

Внутрь себя обращены теперь глаза столяра; из глазниц тупо выглядят только бельма: паутина, вся невидимая, ставшая видимой на мгновенье, уже потухла, дрябло повисла — будто и нет ее; но она висит; всякий, входящий в избу, о нее спотыкается, в нее запутается, и ее за собой, уходя, потащит домой из избы; а коли у него есть жена, запутается и жена; между ними и кудеяровской хатой будут тянуться ехидные нити; и будет казаться, что и предметы неспроста уставились на него, на жену; уйдет из села, а за ним из села потащатся нити и будут его обратно тянуть; будет случайный прохожий захаживать к столяру с женой, с малышами — все больше, все чаще, пока вовсе семью не запутает всю в сетях.

Голубей моленье нынче по всей округе, быть песнопенью про белого голубка; нынче с утра из избы столяра разлетаются едкие сладости ко всем тем местам, где стоят голубёвские избы; нынче недаром был сладкий закат. Если ты запоздал в чистом поле, и уже ночь настигает тебя, если зренье твое не испорчено грамотой — помни: ты увидишь во тьме золотую, во тьму, бесшумно слетевшую, нить; и не думай, что это — падучие звезды слетают на небе: то частица души столяра, сладостно жалящей световою стрелой, пролетает во тьме к молящейся голубице; но столяр?

С упавшими веками, с упадающей на руки бородой, он теперь поникает над лавкой угрюмо собранным ликом, а душа его отдыхает вдали от него самого; много он света наткал, много сетей поразвесил сладчайших, тончайших: отдал в пространство он вздохи свои голубям-братьям; теперь, душой витая в пространстве, нагнал он Петра по дороге в Лацавино; застигает его на дороге

у дуба; там отыскав, на него изрыгает свои столяр слова-пламена: выпорхнет слово, плюхнется о пол, световым петушком обернется, крыльями забьет: «к и к е р и к и и» — и снопами кровавых искр выпорхнет из окна.

— Господу Богу помолюсь, молодцу поклонюсь: молодец, молодец — в чистом поле Лащавина; на Лащавине дуб; во дубу — дупло: во дупле избирайте подруг всяких-провсяких: гноевых, лесовых, крапивных, подпивных: во дубу — залатое галье, залатое ветье, во том ветии тала, яла, и третья вересочь — сестры, полусестры, дядки, полудядки... Уууу...

Хлынул изо рта света поток и — порх: красным петухом побежало оно по дороге вдогонку Дарьяльскому.

Идет к дубу Дарьяльский на свиданье с Матреной, уже забывает он свой разговор на пруду; у ног его шепчет струйка: «Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-все»...

Что за странность: большой красный петух под луной перебежал ему дорогу: крестится; идет по опушке леса. Вдали перед ним Лащавино: там и дуб, и Матрена.

Пришел — пусто в дупле: Матрены еще нет.

. . . .

А столяр, скрюченный на лавке, продолжает безумствовать втихомолку:

Огонь, огонь видючий,
Огонь, огонь летучий...

«Дырдырды» — загрохотала телега под самыми окнами столяра; мужик Андрон на телеге хрипло кричит в столяровское окно:

— Митрий Мироныч, а, Митрий Мироныч!

Из окна хмуро высовывается столяровское лицо:

— Чаво там еще?..

— В город еду: не надать ли?..

— Спасибо на памяти — проезжай, Андрон, с Богом...

«Дырдырды» — трогается телега.

— Ааах! — Матрена проснулась на лавке: — кто да кто там стучит?..

— Андрон на телеге! — угрюмо отрезал столяр и принялся засвечивать лампу.

Матрена вспоминает, что ее ждет милый; встает и сладко зевает, лукаво глядя на столяра.

— А я, Митрий Мироныч, пойду, погуляю...

— Што ж, пади, погуляй, — кротко закашливается столяр...

«Дырдырды» — где-то вдали замирает Андрон на телеге: Андрону весело; он едет в город, со всяким он там переведается народом.

И Андрон густым басом заливается в ночь.

ТРОИЦА

Ух — побежала: бежит по дороге к Лащавину: ночь ууух — сила в ней, силища: гикнет — с неба покатится сам ясный месяц от того ее гика; так кобыла, заржав вдруг, понесется, и за ней поскачет пастух; издалека — селений злые глаза, много глаз; издалека — птица болотная голос подаст, и потом притаится надолго; ух, побежала — мелькают Матренины пятки: катится месяц, в груди точно стучит колесо: силищей бьет из ней, перекидывает ее через кочки; набок платок, волосы прочь: ногтем по волосам проведет — сыплются искры: «где-то милый теперь? Все-то ждет ли, — заждался; полюбовничка барина бы обнять, целовать».

— Ясненький мой, ясноглазенький мой, — пади, ждет...

— Погоди, моя радость, не уходи, погоди...

— Ясненький мой, ясноглазенький мой, — подожди.

Так она шепчет: бежит; прыг через кочку, через другую: шууу — с дерева от бега ее поснимались грачи; трескает хворост в ногах, очи месяц слепит.

А уж за ней кто-то кустом да кустом поспешает: обернись — темненькую за собою увидишь фигурку; не обертывается Матрена.

Ух, кочка за кочкой, канавка, овражек: задыхается, прыгает вслед за Матреной столяр: не нагнать — отстает, а возвратиться нет мочи: не сидится без бабы в избе столяру; невтерпеж ему, что милуется с парнем Матрена: обмиловал бы ее, обласкал — сам столяр.

Да сам знает: надобность есть в той любви Матрены: сам же он духом в ней любовь распалял; а теперь потащился за ней на свиданье, все же отстал: за молодыми ногами не угоняться: ревность ли, любопытство ли все кидает его к тем местам, где любовные они правят ночи; ходит, плюет, в бороду дует, руки костяшки к тем лесным подымает местам: тучами силу на них нагоняет, а подойти, подсмотреть, боится — то паренек ему горше полыни — на него бы и не глядел; то паренек ему мил: мил, будто красная девица: «В ей он Дух созидат — вот тоже... Обнялись бы при мне, перед моими бы миловались очами: а то волки волками — в лес от меня убегать... Что бы при мне бы, в избе: я бы их сторожил; я бы им и самоварчик поставил; коли не так что у них, поучил бы — вот тоже».

Бежит, задыхается: бьют ему в грудь сучки, бьют ему в грудь кусты, бьют ему в грудь многолетники травы, полыни; под долгоносым лицом

к бороде злые пристали собаки: тащится, кашляет, спотыкается за Матреной столяр, отстает, вслед грозится:

— Поспешай, поспешай — хе-хе-хе: срамники!..

— Я вот тоже — ух как, бывало...

— Господи, спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое...

— Ждет, небось, не дождется: погодите, други, не для такого вас дела случил...

— Обернись, повернись их любовь на молитву.

— Я — тебя, я — тебя, похититель, разлучник!..

— Я вот, ух как! Старидон, карион, кокире — стадо: стридадо...

Мертвенно клохчут у самого горла сухие обрывки проклятий, молитв, наговоров и криков: выхаркиваются кашлем; все это пестрое стадо, выплеванное столяром, погналось теперь за Матреной; сам же столяр, откашлявшись, сидит на пригорке, трясет хворостиной в сторону Лащавина: не то грозит, а не то благословляет.

Матрена же ничего не видит, не слышит.

— Ясненький мой, ясноглазенький мой погоди, погоди...

— К хруди своей сестрицу прими!

— Я холовушку свою положу на хрудь твою!

— Ясненький мой, ясноглазенький мой — не уходи, погоди...

. . . .

Ночь. Пусто и чутко кругом; вдали — гики; ждет-пождет в дупле Матрену Дарьяльский; ее нет; катится ясный месяц по небу; издали птица болотная голос подаст, и потом притаится надолго: протекают минуты, как вековечные веки; будто не ночь исполнилась в небеси, а сама чело-

веческая жизнь, долгая, как века, краткая, как мгновенье.

Гики вдали, а Матрены все нет; стоит-постоит Дарьяльский, да и снова — в дупло: там развел огонек, малиновые уголья пересыпаются жаром; красный оскал дубового расщепа ширится в густоствольную мглу. Кто-то копытом процокал, кто-то разом коня осадил у дупла: у дупла бьют звонкие стремена: что бы такое там? — высунулся Дарьяльский; ничего, никого; знать из бездны времен прискакал ускакавший опричник; более пятисот лет назад он, быть может, под дубом тем отдыхал, — осадил у дуба коня, посмотрел, да и снова понесся бездомный опричник в свою глухую тьму, чтобы лет через двести навестить знакомое место.

— Люба, милая люба, что ж ты нейдешь?..

Стон под самым под ухом — не сова ли? Или, быть может, стон то погибшей души беглого расстриги, отдыхавшего здесь более двухсот лет назад и окончившего свою жизнь на Соловках? Высунулся Дарьяльский: снова нет никого.

— Люба, милая люба, что ж ты нейдешь?..

— Вот я, вот я.

. . . .

— Сокровище мое, что так долго, что удержало тебя?

— Ах я горькая, горькая: старый меня целовал, хрудь мою мял...

— Оставь, не говори мне про старого; жутко мне всякий раз, как становится он между нами...

— Старичина молитвы читат: белава халупка поджидат.

И она запела:

Светел, ох светел воздух халубой,
В воздухе светел дух дорогой!

«Кукудахтах-тах» — раздалось у дупла, и из тьмы глянул в дупло горластый петух.

— Родненький, родненький: страшно, аткелева кочет иеттат?

— Да, странно...

— Родненький: я боюсь!

— Ну, оставь ты это, оставь, Матрена; а странно: будто не кудах-тах, — будто «я вот — ух как», да мы не боимся; а не думаешь ли ты, что то старый лихость на нас напускает ночную?..

— Не трожь старого: он белава халупка поджидат!

— Белого голубка ли он ждет, или черного ворона — не знаю: знаю только, что ты, я и еще коекто у него в сетях.

— Не трожь старого: он белава халупка поджидат.

— А я тебе говорю, он ждет черного ворона...

— Не трожь старого: он все слышит...

И они задумались, глядя, как потрескивает малиновых углей жар.

Смотрит Петр на Матрену и плачет: такие у нее душистые глаза, васильковые; райской сладостью ли, бездной ли адской, приворожила она его: голубица.

— Родненький братец: дай, расстегну я твой ворот, поцелую белую хрудь: белая хрудь. Ишь ты: у него на хруди родимое пятнышко, будто мышка: мышка, мышка — уберись с тела белого, молодецкого.

— Ишь ты, у него на хруди хрестик мой медный!

— Голубка, ах, меня оставь! Не могу я глядеть на тебя, голубка, без плача.

— Что ты, что ты, дитя милое, плачешь?..

— О, Господи, Боже мой! Что же это такое!

Она охватила его; она его укачивает, как ребенка, она голову его на своей сжимает груди. Они уплывают в темный расщеп; она говорит, обращаясь куда-то:

— Погляди на нас, старый, — приходи сюда, старый, али мы без молитв, али мы без душевной без радости любимся?..

Тени их, вырастая, пляшут на желто-красным огнем освещенном дупле.

Или то сон, или то не сон? От Матрены тонкое златотканое отделяется тело и перекидывается на Петра: их телеса пропали, сгорели: только одно златотканое облако дыма раскурилось в дупле. Или то сон, или то не сон?

Но то длится одно краткое мгновенье: но в это мгновенье нет ничего: мира, пространства, времени. И снова вот обозначились в них тела; будто сверху из выводящего к небу отверстия, с темного неба пролили ярко-пунцовые нити, искристые, будто веселую елочную канитель на радость детям.

И из этой из светлой канители снова возникло человечье подобие: дымносотканные, легкие, немые, курятся, осаждаются на своих местах. Чудно: смотрит Матрена на своего на милого друга: у Петра тело еще сквозное, видно, как пурпурная в нем переливается кровь, а с левой стороны груди, где сердце, лапчатый пляшет огонь — и туда, и сюда: тук-тук-тук, тук-тук-тук.

Чудно: смотрит Петр на свою на Матрену: у Матрены тело сквозное: видно, как черная в ней переливается кровь, а с левой стороны, где сердце, синяя бьется змейка.

Между ними же светлые нити, образующие их телеса; между ними одно светлое пятно: миг и задрожало пятно между ними, будто живое: э, —

да то бьется воздушный голубок, крылышками бьет по их обнаженным грудям: обнялись — световой голубок, у них распластанный на груди, пуще прежнего бьется: ту-ту-ту-у-у...

— Милый, как бьется твое сердечко: где мы были с тобой?

— Милая, это сердце бьется у тебя?

Голубок клюет их сердца.

— Ой, милая, сердце покалывает!

Но Матрена не слышит уже ничего: красные губы от красных губ оторвать все не может... Вырвалась: платок соскочил — голубок упорхнул над ними...

— Погляди на нас, старый, приходи сюда, старый: али мы без молитв, без душевной, без сладости любимся?..

— Я и так здесь: все, все у вас вижу, — раздался хриплый смех над их головами.

Петр и Матрена испуганно подняли голову туда, куда убегало дупло: там должен быть виден кусок неба и звезды: но там не было неба, кто-то заткнул отверстие.

— Это столяр...

Оба они опустили глаза: на мгновенье почудилось им, — кто-то с дуба слезает, да бегом бежит: еще раз Петр порывисто глянул наверх: сверху теперь синее на них глянуло небо и золотого месяца край. Петр быстро выбежал из дупла: на мгновенье в луне перед ним вырос мужик — бородатый, косматый, в смазаных сапогах, при часах, но без картуза: вырос, и прыг в кусты: Петр узнал Ивана Степанова, лавочника: подхватив булыжник, бешено кинул он ему булыжником вслед.

. . . .

Уж меркли звезды, бледная полоска зари занималась на востоке: по оврагу хрустел хворост

и нельзя было понять, что это, крадется ли от деревни медведь, сонные голуби ли, от молитв расходясь, возвращаются по домам, с митинговых ли лесных дач крадется по заре народ. Слышится только чья-то под нос распеваемая песнь — там, где шевелятся ветви орешника:

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан
дыроватый.
Эй, Баргузин, пошевеливай вал,
Слышны уж бури раскаты...

Верно, пополз по кустам каторжанин.

ПОДПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Так коротали они с Матреной предосенние летние ночи свои: ночь упадала за днем, ночь день уводила. Дни проходили. Пасмурные утра после тех встречали ночей; солнце палило; ясная тянулась по воздуху паутина; благоуханный свет пронизывал все; бледные лица угрюмо работающих человеков не выдавали волненья; падали стружки; падала белая стружка опилков на босые ноги столярничающих людей. Целебеевские избы просились в тесные окна; под окнами рылась свинья; красный петух то важно расхаживал по соломе, а то, шею нагнув с оттопыренным на шее пером, за хохлушкою гнался по всему по сухому лугу... И далекая струйка дыма поднималась над деревами с Лаццавина: серым там помутнением в небе голубизна стояла; там на опушке пастухи разводили огонь; на лугу же паслось рогатое стадо; в дупле сидел глупый пастух, чинил плеть да покуривал трубочку; перед ним плясал огонек.

В утро после описываемой ночи к лавочке Ива-

на Степанова подходил Евсеич, закупал керосину, чаев, да прочие фунтики, вынимал красный фуляровый свой платок да почесывал языком про усадебные дела:

— Сам ихний барон-сынок в престольный праздник нагрянул наведаться, что и как... дней тому будет пять, да-а... преважная птица — сенатор-енарал, и-и-и, с ним что возни: одной воды на себя ведер пять или шесть в утро изводит; а штаны чистить ему никто не моги, акрамя камерлинера ихнего: ловкач парень, Стригачевым звать... про французенок сказывает, французенки, говорит...

Иван же Степанов на все то озлобленно хмурился, сухо щелкал на счетах, поглядел из-под очков, пробурчал:

— Ходят слухи, что разоряетесь... доложу вам, пять рублей с полтиной, — вдруг оборвал он свои догадки.

— А вам кто, смею спросить, доложил? — обозлился Евсеич, сморщился, надевая на голову картузик.

Но лавочник только пожал плечами и защелкал на счетах; после молчанья он кинул небрежно:

— Никто ничаво мне не докладывал: мне-то какое дело; так себе — слухи ходят. Задолжали, вот, по счетам...

Больше Евсеич не оставался в лавочке: прежде, бывало, не то; прежде ему всякое там уваженье: то рыжечек, а то табачок, а то просто так словесные белендрясы, а теперь и не поговоришь. Уходя из лавки, заметил старик, что Иван Степанов хромает на одну ногу; не удержался, съехидничал:

— Али ногу зашибли?

— Зашиб, так себе, — буркнул лавочник с со-

вершеннейшим равнодушием, а на самом деле даже от злости весь побелел.

«Попал в переделку!» — подумал Евсеич и пошел прочь, захватив в одну руку бутыль с керосином, а в другую — фунтики. Этот день был субботний; работа втапору раньше кончалась у столяра; к четырем часам уже были сложены пилки, напилочки, и все прочее: постелили красную с петухами скатерть; столяр нынче не в урочный час зачайничал с домочадцами: с Дарьяльским и космачом; баску Матрена с аграмантовым украшеньем надела; натянул столяр сапоги, космач же сменил рубаху; принарядился и Петр. Уже с четырех часов дня столяр стал белеть (был же он в обычные дни зеленый и хворый); можно было думать, глядя на его лицо, приумытое, с обмазанными деревянным маслом волосами, что еще задолго до вечера он за святую книгу засядет: к полночи этого дня шептались, что гость будет, а какой — этого Петр еще не мог знать.

— Гость знатный, — как-то хитро подмигивал ему космач.

Странное дело: давешние боязни порастаяли на душе у Петра, как летучий дым; побледнела в его душе нынче даже прелесть Матрены: нет, Матрена осталась Матреной — он только начал смекать кое-что еще, что не бросалось ему в глаза; не сама по себе оказалась Матрена, а, так сказать, от столяра: то, чем подманивала она к себе, не ей одной принадлежало, любопытствием то не было вовсе; не женское естество его к ней влекло, а душа; но душа-то вся ее — оказалось разве что полстоляровской; видно, Матрену столяр душой своей надувал, и она, раздутая духом, поражала поволокою глаз, и усмешкой, и жадно дышащими ноздрями.

Диковинная вещь: и своей-то души Петр давненько что-то не ощущал, не осязал; верно, что обмерла Петрова душа, своему господину не подавала голосу: все-то внутри его оказывалось таким и пустым, и порожним; но приходили минуты, и это, будто внутри его опорожненное пространство, до краев и плескало, и билось влагой жизни, неизреченной силой, теплом, райскими радостями: «что бы такое во мне, что бы такое сладким огнем проходило?» — беспокоился Петр; что бы такое прогуливалось в груди, что в груди и дрожало, и плакало; будто там машину электрическую завели, а она потом начинала работать в груди; что-то такое жалостное подкатывалось к горлу; как подкатится к горлу — село не село, мужичонки не мужичонки, и знакомое пространство — незнакомое вовсе, новое: будто в этом новом пространстве все убрано светлым великолепием и только для виду все это заставлено избами, мужиками, соломой, и из каждого предмета, только отвернуться, существа мира иного, светлые ангелы, на тебя закивают, и сама долгожданная ясная невеста говорит: «жди — буду». И не веришь соломе, не веришь грязи, и всему предстоящему безобразию: его и нет больше.

— Что это, Петр Петрович, вы сегодня такой именинник? — насмешливо кидает с телеги учительша-егоза.

— Денек, — восхищается Петр, — отработал и баста!..

— Будто вас кто принуждает.

И покатила.

Подлинно — именинник: с самого с утра, как только он разгулялся после ночи, — заходило сердце его, загудело, и не знает, что ему с радостью делать: ухватиться ли за стамеску, намаракать

ли какой, черт подери, вирш, на пруд ли идти удить рыбу? Сел он рыбу удить, хохочет: червя нацепил — далеко подлетела уда: бегут на аер сырой светоловные сети вод: бежит золотая змейка, за ней другая, третья: промеж них синенькие морщинки, воды бегут, разбиваясь о берега весело поплескивающей водой; проплывая, крякает сбоку утица; поплавок заплясал, натянулась уда и бьющаяся рыбёшка попадает в пальцы Дарьяльского, где ей разрывается рот, и уже — пломб: булькнула в ведерцо́.

— Ай да ловитва!

— Да! — отзывается из аера Александр Николаевич, дьячок.

— Будете вечером, Александр Николаевич, служить?

— Да, будем: золотую нынче с пукетами синими ризу для попа приготовил...

— Люблю, — восхищается Петр неизвестно чему: — люблю службу...

— Вам-то любить хорошо, а вот нам-то служить каково: потеешь, потеешь...

«Ививи» — пролетает стриж, — «ививи»...

Смотрит Дарьяльский — осенняя ниточка паутины тянется к неба голубизне; ясная нить убегает к избе столяра; радужным блеском оттуда, из лога, стреляет оконце; и будто не блестки то, а паутина: все кругом в паутине; в голубом дне сладком паутина садится на травы, перетягивается в воздухе; и выкуривается из хаты дымок; и садится на траву; будто и то — паутина.

Смотрит Дарьяльский — у него между рук паутина, к груди пристала; хочет он с себя ее снять, да она не дается: глаз видит, пальцы же не ухватят, будто она вросла в грудь ему путаницей блестков; расстегнул ворот сорочки и смотрит — крас-

ные, синие, золотые, зеленые нити тянутся в белую его грудь и оттуда выматываются обратно — не оборвешь, скорей из груди вырвешь вместе с трепетным сердцем как с луковкой тростинку; смотрит, на сучьях, между сучьями — путаница блестков, на синем пруду — путаница блестков; зажмуришь глаза, и те же блестки; те же блестки в душе: просто не мир, а лучезарник какой-то.

И Петр в богомольном страхе: не настало ли мира преображенье? Или то ядовитое, сладкое ведовство — мира погибель? Но только одно стало ясно Петру: Целебеево ныне новою стало землей; здесь не воздух, а медовое сладкое зелье; пока дышишь, пьянеешь; что-то будет, когда придется опохмеляться? Или отныне уже похмелья не будет; до зеленого змия будешь пить, а после — смерть?

«Что это я думаю?» — пытается сообразить Петр, но понимает, что не он думает, а в нем «думается» что-то: будто душу его кто-то вынул — и где она, его душа? Где все, что было? Смотрит — тянутся нити, передергиваются нити, в ясном нити свиваются воздухе: и Петр думает: то не нити, а души: они потекли паутинною тканью в пространствах, — голубиные души, пространством разъединенные... вытягиваются души друг к другу и свиваются в голубом. Взмахивает удочкой Дарьяльский.

— Что, — али словили плотицу?

Это с ним из аера перекликается Александр Николаевич, дьячок; высунув в голубой день осенний кудластую свою голову.

— Александр Николаевич, — хорошо!

— Хе-хе-хе: приятный солнечный денек!

— А будет еще лучше, еще благодатнее!..

— Хе-хе-хе: попаривает, сыровато!

— Куда там: еще неизвестно, что будет...

— А что же будет? Неужели бунт?

— Куда там: будут райские дни...

— Хе-хе-хе: будет великое пьянство! Давненько, поди, батя не отплясывал «Персидского марша»: завтра, поди, гитара затрынкает...

— Ну, и пусть трынкает!

— Гурку изобразит батя, переход через Балканию.

— Пусть, пусть! — вскрикивает в священном восторге Петр, потрясая пальцем; смотрит — из его протянутого пальца тонкая излетает нить и запутывается у дьячка в бороде.

— И я, и я тоже выпускаю свет, — радуется Дарьяльский, но дьячок не видит ничего.

— Пусть, голубчик, поп-то повеселится, попляшет: дух в нем взыграет и возьмет поп гитару.

— Хе-хе-хе: от винца-с, Петр Петрович, от винца-с, — не от духа...

Но Петр не слушает: он в священном восторге.

— А я вам говорю, Александр Николаевич, поп пойдет в пляс во славу Божию...

— Христос с вами, Петр Петрович, какая там слава Божья: едак всякий пьяница, гласящий из кабака, — глашатай: так ведь это бывает у хлыстов, ни у кого иного; срамное веселие свое почитают за духовное озаренье...

И дьячок запел:

Эк, д'я — вития
Ат зилёнова змия...

Но Петр не слушает: он в священном восторге собирает удочку.

— Куда вы?

— Я к попу!

Ничего не понимает Александр Николаевич,

дьячок: «видно спьяну», — думает он и перебирает пальцами удочку, поет себе в нос:

Жженка-казенка, душонка моя —
Жить без тибя мне д'никак нельзя.

Петр идет через луг, пошатываясь от восторга, не то от ядовитого испарения этих мест; великое в душе его теперь раздвоение: ему кажется, что он теперь понял все и все теперь он умеет сказать, рассказать, указать; а голос другой все-то ему шепчет: «ничего такого и нет, и не было», и ловит себя на том, что этот другой голос и есть он — подлинный; но едва он поймает себя на том, что безумствует, как ему начинает казаться, что тот, поймавший его голос, есть голос искушающего его беса... Так думает он и идет через луг; вдруг сзади, из-за его спины протягивается к нему светлая паутинка; обертывается, и видит, шагах в двадцати от него мужик из деревни Кожуханец, из голубей; вокруг кожуханца так и пляшет сеточка нитей, исходящих из головы, брызжет света лучами; «д у ш а д у ш е в е с т ь п о д а е т!» — радуется Дарьяльский, кланяется голубю; тонкой они друг другу понятной улыбкой обмениваются, и расходятся.

«Пусть я погибну, — думает Дарьяльский, — если изменю всему голубиному делу»...

«Ой ли!» — поддразнивает его голос: знает ли он, что этим словом он к себе подманивает смерть; нет, он не знает; если б узнал, взвыл бы от ужаса, шапку бы схватил да за тридевять земель от села побежал бы...

Едва отошел от пруда на сто шагов, приближаясь к дороге, как какая-то нарядная шарабанка мчится по пыльной дороге; барышня, видно, там правит сама призовым рысаком; ручки в беленьких перчатках, бледно-розовое в теплом в воздухе платье вьется волнами, а по тем бледно-розовым

волнам, будто белые облачка, — кисея, кружева; крутится в воздухе беленькая кисейка, с соломенной развеваясь шляпы; из-под шляпы нежные локоны расплясались.

Вглядывается Петр — екнуло его сердце: стучит сердце, а отчего это так — не знает; стал посередь дороги и кричит от восторга:

— Стой, барышня, стой!..

Шарабанка остановилась: из-за лошади овальное высунулось лицо, пропадающее в пепельных волосах: детское вовсе это было лицо, строгое, с синими под глазами кругами, с ресницами бархатночерными, покрывающими блистательные глаза; барышня дико уставилась на Петра испуганными глазами, бледно-розовый ротик дрогнул, ручка трепетно сжала хлыст: смотрит барышня на Петра...

Стой, да ведь это — Катя.

Петру кажется, будто ничего такого между ними не произошло и все осталось по-прежнему: ссора, измена, жениховство — да разве все это изменит то, что между ними есть: никакой ссоры и не было, а если и была, то кто помнит об этом теперь, в этих новых пространствах? Петру радостно и тепло.

— Хороший денек, Катя!..

Молчание: фыркает лошадь и бьет копытом.

— Ненаглядная деточка, давненько с тобой мы не видались...

При словах «ненаглядная деточка» бледно-розовый ротик дрогнул, а глазки будто на мгновенье позадумались, не блеснуть ли им приветом; но вот Катя презрительно поджимает губки; синий ужас светится уже из-под ресниц: щелкает хлыст, и рысак чуть не сбивает Дарьяльского с ног.

Дарьяльский обертывается и кричит вслед:

— Как поживает бабушка! И ей, и ей поклонись от меня...

Только пыль вьется там по дороге, будто никакой Кати и не бывало. Пьяный от воздуха, Петр не понимает безобразия того, что только что произошло.

«Вот тоже и Катя», — думает он и быстро шагает к попу.

У попа сидит урядник, Иван Степанов, лавочник и уткинская барышня.

— Здрасте, отец Вукол: чай да рай!

Но поп как-то сухо подает ему руку.

— Солнышко, блеск, трепет сердечный! Здрасте, Степанида Ермолаевна...

— Пфф, пфф, пфф, — воротит лицо уткинская девица, не без лукавства скашивая на него глаза.

Глядь, а лавочника перед ним нет как нет: глядь — лавочник в окне уже ковыляет, к лавке.

— Чего это он захромал на левую ногу?

Ночное происшествие ему не приходит в голову.

Сухо урядник Петру протягивает два пальца: возобновляется прерванный разговор; на Петра, как нарочно, не обращают внимания; какое-то враждебное к нему обнаруживается чувство. Но Петр, как слепой: им, этим людям, дарит кроткое он благоволенье.

Говорят о Еропегине: «Кто мог ожидать — такой крупный туз и вдруг — паралич!»

— Со всяким бывает: и с бедняком, и с золотым мешком, — вставляет урядник.

— Бедная Фекла Матвеевна, — охает уткинская барышня.

— Чего там бедная? Радуется, поди: к кому, как не к ней, притекут миллионы!..

— Ты тут, хошь что, а перед смертью, болезнью

да законом — тут тебе все одно: купец, дворянин, енарал, али химик...

— Жалко Еропегина... — поглядывает батя на окружающих с какой-то виноватой гримасой; а сам думает: «вот буду пить, так и меня так же вот хватит»...

— Ничего: хорошо, что хорошо кончается! — в восторге срывается с места Дарьяльский, но все точно конфузятся, тупятся, поворачивают спины.

— Ничего: надо только понять, что все ничего: вы посмотрите — блеск, паутина, солнце; на столе у вас, отец Вукол, золотистый медок; красные уже там, за окном осинки... Ха-ха: все благополучно — и уже себе прошел медовый Спас. К Третьему Спасу подкатывает — еге!.. А вы про смерть; нет смерти — ха-ха! Какая там смерть?.. — Все отворачиваются: в окошко бесшумно влетает муха с пакостным желтым пушком на спине и усаживается около кисейной кофточки уткинской барышни.

— Ах! — вскрикивает барышня: муха бесшумно мертвенный описывает круг и усаживается на прежнем месте.

— Странная муха!..

— Это — трупная...

— К епидемии...

— И мушка, и мушка тоже — хорошо! — продолжает Дарьяльский. — Ну чего вы: я спокоен; уже Третий подкатывает Спас, неужели же нам горевать: Бог даст, доживем до Усекновения Главы — будет тогда лучезарный денечек... А вы — муха!

— А скажите, пожалуйста, господин Дарьяльский: правду говорят, что вы о младых богинях книжечку написали-с?

— Хи-хи-хи, — подфыркивает уткинская барышня и с чего-то тупит глаза.

— Вот то-то и оно, — подмигивает Дарьяльскому попик, — сами чуть ли не об «Откровении» поговариваете, а под шумок книжицы с фиговым листиком выпускаете — пфа, пфа... Вот отец Бухарев все читал-читал «Откровение»; под старость же лет взял, да и женился... Вы бы с «Откровением» не шутили...

— Ничего, — продолжает Дарьяльский, — все ничего: все можно: будем же радоваться; гитарой бы, батя, трыкнули, сладкой струной увеселились, до колеса в груди. Славьте Господа Бога, на гуслях и органах... Матушка, принесите гитару, и восплящем.

Тут произошло что-то невообразимое: уткинская барышня, фыркая, выбежала из комнаты, спотыкаясь о половик; лицо урядника стало свирепым и диким, губы же заплясали от смеха; а нелепая и красная в этот миг попадья, задыхаясь, накинулась на Дарьяльского, как свинуха, защищающая от волка свинят.

— Странные даже очень ваши слова: ни смыслу, ни складу в них нет никакого: что ж из того, что отец на гитаре меня просит играть? У других в глазах сучки подмечаете, а у самого-то — во какое в глазах бревнище: на всю округу видно; мы, слава Богу, не какие-нибудь такие: приллиантики не подтибриваем, на босоногих баб не выглядываем из кустов...

— Ах, матушка, я и не подумал: я ничего такого про отца Вукола дурного сказать не хотел.

— Пф-ффф-ффф! — пофыркивало из соседней комнаты, откуда высунулся теперь слюнявый попенок и таращил глаза.

— Кхо! — подавился с чего-то урядник, красный, как рак, и пуще засвирепел, сдерживая смех.

— Вас, — не унималась попадья, — я попрошу дома нашего не посещать...

«Они не видят, они не смыслят, слепые!» — так думает Петр, выходя из поповского палисадника; вслед ему из окна попадья бранные посылает слова:

— Может, ты и есть воришка тот самый, который... — не слышит: солнцу свои протягивает глаза: тянется, тянется ясная в луче паутинка; муха попалась — «жу-жуу!».

Вдали на холме, окруженный детишками, возвращается из лесу с кошелкой грибов Шмидт; Петр ему машет руками, но его тот не замечает, не хочет видеть.

«Что я им сделал? Все они дуются, не понимают, не видят, не хотят видеть!» —думает про избу столяра, где отныне на пяти квадратных саженях исполняется пришествие духа.

— Ой ли! — подразнивает его голос.

— Ой ли! — поддразнивает тот голос Петр.

— Здравствуйте, молодой человек! — будто ему в ответ раздается из-за спины.

Оборачивается: перед ним бритый барин, смеется; руки в перчатках; на одной руке плед; за его спиной — запад; на западе солнце.

— Гуляете: шепчетесь сами с собой!

— Нет, это я считаю по пальцам дни.

— А я вот уже дней не считаю: не считайте и вы.

— Хорошо, тепло — свет!

— Полноте, что за свет, где вы увидели свет? Вот итальянское небо светит и греет; но то на западе...

«Не видит света, — думает Петр, — а руки-то!» — Смотрит на руки, руки не светят: холодные руки, белые.

— Или мне все то привиделось, кажется? — неожиданно для себя говорит он вслух.

— Да, да, — шепчет ему Тодрабе-Граабен, барон, — вам привиделось: это все образы, образы.

Странная в словах властность; а барон ему продолжает шептать:

— Проснитесь, вернитесь обратно, — и показывает по направлению к Гуголеву.

— Куда? — в испуге вскидывается Петр.

— Как куда? На запад: там ведь запад. Вы — человек запада; ну, чего это пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно...

Мгновение: жизнь проносится перед ним, и — Катя: восторга как не бывало. Бог мой, что он сделал: молодую ее раздавил он жизнь; Катя зовет его — слушайте: где-то воркует беленький голубок: где-то стрельнула по воздуху ласточка; «иви-ви» — раздается ее жалобный крик. Там, там, из-за чащи зеленой — времени беспеременный шум: то потоки ветра, его порывы на деревах; и от того шум от дерев беспеременный. На лугу Павла Павловича распластана тень; кончик гуголевского шпица блеснул из-за чащи: там, там ждет Петра старый дом: туда бы, на запад.

. . . .

— Отыди от меня, Сатана: я иду на восток.

ВЕЧЕРЕЕТ

А в поповском домике непрекращаемая идет болтовня, шепотня.

— Нде, странные в округе происходят дела: тот порешился, этот сбежал к сицилистам, а того забодал бешеный бык... впрочем, того не того, — бубе козыри, — сдает карты урядник.

Но попик не отвечает: накуксился в уголку,

кулачки подпер под подбородок и задумался тихо: «уж моя-то, видно, судьба, что в пьянстве всякий меня уличает, что тут скажешь?» Куксится попик: кулачками себе протирает глаза.

— В окрестности тут недавно бегал волчонок; кто-то ему и заглянул в буркулы: кроткие волчонка буркулы, равно человеческие глаза; а помоему, то вовсе не волк; у мужика же опустилась дубина; волчонок убежал под кусты, да оттуда глазами — ну, поблескивать!..

И опять не ответил попик; пуще скорчился попик: закорчился; две слезинки скатились по его глазам: «Что за жизнь — жизнь волчья: от всякого-то зависишь, и все-то, видишь ли, умнее тебя!» — красно-золотой волос било его красно-золотое солнце и пушился поповский волос.

— Надысь видели, как вдали проезжал отряд казаков; все с винтовками и в мохнатых папахах, проехали на восток; народ же стоял и толковал: всюду, значит, бунты; а бунты те всем-то понадоели... Ваша, барышня, карта-то — бита?

— Ндес!

Набил трубочку попик; вот уж скоро и служба; отпотеешь, а там — что? Рябиновки бы!..

— Баба одна по грибы ходила; слышит, в чаще мужик разорался — басище: жутко ей стало; спряталась она за кусты, — глядь, а по тропочке женщина зашагала, юбку подобрала — сапожищи; и ну ревет себе, ревмя ревет: «Христос воскресе из мертвых». Кто же, как не оборотень?..

— Оборотень и есть! — усмехается на слова попадьихи урядник. — Знаю я оборотня: это Михайло стражник...

— Ах ты, Господи! — вздыхает она. — Где же видно, чтобы мужик в бабу обертывался?

— Каторжанина ищет, — подмигивает уряд-

ник: — каторжанин тут у вас ползает по кустам, но об этом — прошу вас очenно пока умолчать...

— Но пора и ко всенощной; после всенощной же — ну, да завтра не оскоромлюсь! — оправляет попик красные волоса, оправляет серую рясу; вышел на луг, — соломенной помахать шляпой для церковного сторожа. Уже сырой росянистый луг пожелтел, как солнечный луч; и оба теперь чуть краснеют: щурится попик в луче, розовенькие на заре веснушки; хохлится попик.

Вдали запевают песню:

Трансвааль, Трансвааль, странаа маая...
Ты вся в огне гааришь.
Под деревцом развесистым
Пачтенный бур сии-диит.

Попик делает знак рукою и уже сторож плетется к колокольне; уже Ивана Степанова запирается лавка: скоро сам поплетется он в церковь.

Мальчиии-иии-шка наа-апоа-зиц-ию
Пииш-ком паат-рон прии-неес... —

раздается откуда-то издали.

Вот, и еще — клинькнула в красную бездну заката целебеевская колокольня; далеко продрожал этот звон; далеко, далеко от Целебеева отозвался тот звон: снимали шапки крестьяне.

Посмотрел поп на крест, унизанный красными искрами, и тоже перекрестился; и пошел поп совершать всенощное бдение.

А вдали продолжали горланить:

Мааа-лиии-ии-тес-сь жаа-аа выы, женшшыны,
За ваа-аа-ших сыы-нааа-веей.

Вдруг затеренькал вдали треугольник. Это пьяная сволочь шаталась вокруг. А уже народ степенный потянулся к церкви: мужики бородатые,

в зипунах, в смазных сапогах; кумачовые бабы, и девки, и Матрена Семеновна в аграмантовой баске, а за ней ковыляющий колченогий столяр.

В окне же поповского домика разговор продолжался:

— За этим барином, Лукич, вы уж поприглядите.

— Не сумлевайтесь! — усмехнулся урядник...

Вдруг ветер нашелся в пространстве, и все хлынуло: тысячи дерев издалека кивали, ходили; тронулся кряжистый, трехвенцовый дуб, хлынул листом угрожающе на село; тронулось зеленое его вретище; зеленые парчовые шелестели купы; когда утих благовест осин, красная нашумелась досыта на село семья; и опять притаилась до новых потоков, лишь золотые вились в воздухе с лепетом листья, да бренчал жестяной петушок на нарядной избе; да на бедной избе с обветшалой крыши поднялся соломенный клок и упал. В воздухе оказалось много куриного пуху.

ДЕЛАНЬЕ

В кудеяровской избе были наглухо притворены ставни, самый был наглухо заперт двор; лишь чваканье порося да тупое пофыркиванье кобылы раздавалось из-под гнилой подворотни. Ни единая, казалось, душа не дышала тут в этот час; но то не правда: жарко и жадно четыре дышали души, законопаченные снаружи; жадно и жарко молчали уста голубей; и молчание разливалось на пространстве пяти квадратных саженей; и комнаты налились благодатью, что полная чаша: Духа сошествие здесь совершилось на пяти квадратных саженях; на четырех человечьих телах-столбах

купол держался небесный, упавший на землю, и те четыре столба были сама белогрудая духиня Матрена Семеновна, да колченогий столяр, да Петр, да еще космач. Все те нити, что ночами и долгими днями столяр из себя выпрядал, — все те нити, невидные прежде, теперь засверкали тысячами великолепий; будто желтое дерево стен оклеили золотою бумагой и ярче солнца светилась комната в тусклом свете четырех коптящих свечей. Ярче солнца, отдаваясь в трех лицах, лицо осветилось Митрия Мироновича Кудеярова, столяра.

Все уже сидели тут за столом; не надевали они белых рубах; белиться им было не от чего, не от кого переряживаться; как в чем кого накрыл вечер, так тот в том и остался за столом; в аграмантовой баске грузно сидела в венском стуле Матрена Семеновна; перед ней на тарелке лежала французская булка, — для ради преломления; наискось от Матрены сидел Петр, иногда поглядывая на нее. Дивное дело: он теперь понимал, что притекала в Матрену от столяра дивная тайна, а сама же Матрена тут ни при чем, сама же она была, как звериха; искоса он поглядывал на Матрену и рябое, по́том покрытое, будто помятое, но белое-белое такое ее лицо, и до ужаса синие, будто лазурью сквозившие под глазами круги, пыльного оттенка ее грязно-красные волосы, и вздутья кровью припекшихся губ дико его разволновали; он вспоминал и нежность ее объятий, и бешенство их; он думал: «звериха ты или ведьма?» Но ведьма сидела неподвижно в аграмантовой, на ней напяленной как на вешалке баске; корявые руки сложила она на животе: взор же вперила во французскую булку, которую должна она была преломить и раздать; но как, сладостно облизнувшись,

ведьма уставилась на него, так в ее глазах синие заходили густые волны, из глаз ее гульливое глянуло окиан-море; тогда ему показалось, что до второго Христова пришествия он забарахтается, утопая в этих синих морях, до зычной архангеловой трубы все будет к губам этим тянуться, коли будет еще второе Христово пришествие, коли ту судную трубу не украл с неба диавол. Но он уже начинал понимать, что то — ужас, петля и яма: не Русь, а какая-то темная бездна востока прет на Русь из этих радением истонченных тел. «Ужас!» — подумал он и вспомнил бритого барина, его приметные для уха слова, будто крик ночной испуганной птицы, путника извещающей, что он заблудился в ночи, приглашающий обернуться, вернуться на родину: «вернитесь обратно».

Гуголево мелькнуло на миг перед ним, и он подумал: «чисто там все и непорочно; там хотя нет тайного зова, издалека сладостного, а вблизи грязного».

Столяр строго сидел перед ним с белосолнечным ликом и со свечкой в руках; он был, в высоких дегтем смазанных сапогах по случаю праздника, при часах, и в «спинжачной паре»; из его головы бил света зеленый поток переливчатым кругом; но всего страшнее в нем было то, что поверх спинжака, как поповская епитрахиль, с шеи падала широчайшая алая лента атласа, шурша и свиваясь складками, а над ней трепыхалась жалкая его бороденка.

«Странное дело, — думал Петр, — вот ведь — весь он светится сладостью; но отчего же лик его неприятный и страшный?»... Смотрит Петр — видит: долгоносик просто какой-то сидит перед ним и весь светится: хотя и пресветлый долгоносик.

Все они так сидели, молчали, крестились, вздыхали, ожидая желанного гостя: не постучал ли желанный гость: тук-тук-тук; то стучали сердца; в лица же им лизали четыре красненьких пламенька с четырех восковых свечек; в жестяном ковше на столе запузырилось пеной только что пролитое вино; нынче был день молчаливой молитвы; вздох и хриплые стоны вырывались из уст столяра; порой же казалось, что это угрозы; порой, — что то глухой рев приближающегося потопа; иногда по столу пробегал прусак, замирал перед булкой, шевеля усами; и быстро переползал потом на краешек стола; Дарьяльский думал о том, что его не могли соблазнить ни богатая мудрость сего века, ни чистая девичья любовь от бегства не остановила его; а вот увели его в бездну звериха да долгоносик; но долгоносик строго смотрел на Петра. Петр вздрогнул.

Ему показалось, что вот уже он в бездне; и четыре стены — ад, в котором запытают его; но отчего в бездне той душа зажигается, и пальцы истекают светом; бездна то иль поднебесная высота? Если высота, то к чему столяр — долгоносик? Долгоносик строго на Петра посмотрел: Петр вздрогнул.

Смотрит, — света круг, потрескивая, над столяром ширится, и будто столяр — не столяр, а так что-то, световое явленье; бьют, колют, режут и жгут тело Петра острые лучи, будто пронизывая его мысли; ему кажется, — грозное что-то такое в столяре: нет — то мгновенное привиденье.

Ковш пенистого вина обходит их всех; засыхает вино на желтых усах столяра прикипевшею черною кровью: преломляется французская булка; белую жадно глотают мякину, смоченную вином; и уже тают стены, тают сомненья, тает желтень-

кий воск свечей; капает воск на атласа алую ленту: тает все и уже веселье и легкость.

Друг на друга глазами блеснули; пьяные счастьем смеются, плюются; загрохотал басом космач; все плеснули в ладоши, пошла в пляс Матренка: пляшет жёнка, приговаривает столяр: «Сусе, Сусе, стригусе: бомбарцы... Господи помилуй». Топотом, ропотом, щекотом себя услаждают, смеются; блестят зубы; блестят очи; Матренка юбки задрала и отделывает стрекоча-ягоча; слепнут очи от этих молитвой озаренных тел; блестит для чего-то на столе оставленный нож; вдруг лезвие запищало: «Тела белого — молодецкого». Космач перед Матреной пустился вприсядку. И уже вот — тронулось все: казалось, четыре стены, наглухо отделяющие это пространство от мира, снялись с места: по всему видно, что это — теперь, улетающий в синее небо корабль; войди-ка, братик, теперь за порог дома — за порогом дома теперь, как есть, пустота лишь внизу, далеко, глубоко под ногами, в тьме ночной, далеко поблескивают целебеевские огоньки, как далекие звезды, или отблески лунные луж под ногами; отделенные от жилья сладчайшими воздухами, все четверо летят в пустоту.

Все тронулось: стены трещат; изба-корабль наклоняется направо, стол наваливается на Петра; опорожненный вина ковш скатывается на землю, над Петром поднимается сам столяр... Стены трещат — все тронулось; изба-корабль накреняется налево, стол отваливается от Петра: проваливается и столяр, подбрасывается Петр: адское ли то наказанье бездне, или райское, блаженное увеселенье, — кто знает, кто скажет?

Пляшет Матрена, подол высоко она подобрала; но лицо ее синее, а глаз не видать; белки, изли-

вающие под глаза синеву; белые зубки укусили губу; полусапожками притопатывает, скувырнулся в угол космач и сопит. Пляшет Петр; непристойно так у него выходит! вдруг Матрена начала с себя скидывать одежу да одумалась: полураздетая, хикая, глядит на столяра, подбивает сапожками. Сам столяр пускается в пляс: с головы ленту долой, руки в боки: серьезно это у него выходит. А Матрена ладошками подбивает, нежным голосом подпевая в лад: забавная песенка, веселая, славная:

Старик —
Тартараровый тартарарик!

А космач из угла подхватывает:

Тартарара-тартарара!..
Тартара-тарарик...
Ух, да, поп —
Хлоп!..
Лбом —
В гроп!..
Тартарара-тартарара —
Тартара-тарарик!

Лихо это у них выходит: пляшут все четверо, а будто их пять...

Кто же пятый?

. . . .

— Да, брат — тут все возможно, — подхихикивает столяр; невидная благодать воздуха и внизу и вверху; за этой за крепостью воздушной ни мир им не виден, ни они миру не видны.

Вскакивает Матрена и выбегает со смехом из комнаты, неизвестно зачем за нею выбегает Петр; бегут по тому благодатному месту, где был дворик, выстланный навозом, только это не дворик — куда там, и не навоз под ногами, а мягкий прохладный

бархат; открыли ворота, а за воротами, — как есть, ничего: ни Целебеева тут нет, никакого иного места: черный холодный бархат свищет им в уши: стоит изба в воздухе.

Все прегрешения — там остались, внизу, здесь — все возможно, безгрешно, ибо все — благодать; возвращаются в горницу.

А столяр-то уже на ногах, поднимает светлую руку над ними; будто он — будто не он, будто говорит, а будто и нет: так себе, в воздухе слова совершаются: «Что видите, детушки, ныне — в том отныне пребываю я и довека, ибо я к вам посланный в мир оттуда, где пребываю довека, совершить то, что подобает. Веселитесь, пойте, пляшите, ибо все спасены благодатью».... Так слышится Петру, только это не слова столяра; так себе завелись в воздухе.

А вот и слова столяра: тихонько подошел, рукой своей хворой поглаживает то Петра, то Матрену: «Ядреная баба — что? Вот тоже... Ну-ка, Матрена, барина свово абними... Нут-ка, детушки». Посмеивается тою стороною лица, которая подмигивает: «Я вот ух как»...

Жаркий уже пламень Петра с Матреной связал; дым столбом между их грудями; ушли на постель. И оттуда снова вернулись к столяру. Глядь, а уже все — иное; как вошли в парадную горницу — видят: космач-то перед столяром на коленях, кланяется земно, столяр же на лавке раскинулся — светлый-пресветлый; сладко так стонет, распоясался; грудь обнажена — прозрачная, как голубоватый студень, тихо колышется, а из груди, что из яйца, выклевывается птичья беленькая головка; глядь — из кровавой, вспоротой груди, пурпуровую кровушку точащей, выпорхнул голубок, будто свитый из тумана, — ну, летать!

«Гуль-гуль-гуль» — подзывает Петр голубка; крошит французскую перед птицей булку, а голубок-то бросается к нему на грудь; коготками рвет на нем рубашку, клювом вонзается в его грудь, и грудь будто белый расклевывается студень, и пурпуровая проливается кровь; смотрит Петр — головка-то не голубиная вовсе — ястребиная.

— Ах! — и падает Петр на пол; и кровавое отверстие его расклеванной груди изрыгает фонтаном кровь.

Тогда голубок кидается на Матрену: и вот уже четыре расклеванных тела безгласно лежат — на полу, на столе, на лавке с бескровными, мертвыми, но пресветлыми лицами, и ластится к ним, и порхает, и гулькает голубок с ястребиной головкой; сел на стол — побежал: коготками «ца-ца-ца» подклевывает хлебные крошки.

. . . .

И тогда расплываются мертвые их тела, омыляясь будто туманной пеной, будто раскуриваясь дымом, и друг с другом сливаясь в сверкающий туман: и то не туман — в одно лучистое туман собирается тело: одно белое тело, сотканное из блистаний, явственно обозначается посреди комнаты; и в теле обозначаются, будто разрываются, глаза: далекие, грустные: безбородый, дивно юношеский лик, в белой, льна белее, одежде, и на той одежде золотые звезды; будто золотого струи вина пенятся, вьются на его голове кудри и текут по плечам; а распластанной руки, между нежных, что лилии лепестки, пальцев, далекие грезятся звезды близкими: тихо блистают звезды вокруг пресветлого юноши — дити; голубиное дитятко, восторгом рожденное и восставшее из четырех мертвых тел, как душ вяжущее единство — кротко

ластится голубиное дитятко к предметам; испивает дитятко красное вино: пурпуровые уста великой посмеиваются любовью. И уже стен нет: голубое рассветное с четырех сторон небо; внизу — темная бездна и там плывут облака; на облаках, простирая к дитяти руки в белоснежных одеждах, спасшиеся голуби, а там — вдали, в глубине, в темноте большой, красный, объятый пламенем шар и от него валит дым: то земля; праведники летят от земли, и новая раздается песнь:

Светел, ох, светел воздух холубой!
В во̀здухе том светел дух дорогой!

Но все истаивает, как легколетный чей-то сон, как видѐние мимолетное, и уже нет ни дити, ни красного, объятого пламенем шара: сверху — голубое небо; вдали — розовая заря; на западе мгла ночная да дым; в дыме же том зловеще погасающий, еще недавно багровый и тусклый, тусклый теперь месяца круг. Внизу, к скату притаилось село; белая колокольня еще в ночной мгле, а уже крест ее золотится так ясно: э — да Целебеево это: там горластые поют петухи да кой-где из хаты вырывается дым, да раздается мычанье коровы. Скоро оттуда поднимается пыль и лениво тронется на желто-бурую жниву рогатое стадо.

По дороге из Лихова громыхает телега: это мужик Андрон возвращается с погулянок; у него в телеге кульки, бутыль казенного вина, да связка баранок. И Андрону весело.

Вдруг телега спотыкается о чье-то тело.

— Тпру!.. Никак ефта гуголевский барин? — наклоняется над телом Андрон.

— Барин, а, — барин!

— Ах, где ты, дитё светлое, голубиное? — сонно бормочет Петр...

— Ишь, дитю поминает, — соболезнует Андрон: — да никак пьян он... И впрямь нахлестался...

— Барин!

— Ах, не моя ли расклевана голубем грудь?..

— Вставай, барин...

Тупо поднимается Петр и начинает подплясывать:

Старик —
Тартараровый тарарик.

Андрон берет его поперек пояса и укладывает на телегу: «А ты, быдлом бы тебя... бутыком бы чебурахнул»...

— Матрена, ведьма: пошел прочь, долгоносик, — продолжает бормотать Петр; но Андрон не обращает на него больше никакого внимания; чмокает губами Андрон; «дырдырды» подплясывает телега и уже вот — Целебеево перед ними.

Тут Петр очнулся: он вскочил на телеге; смотрит: прямо — канава; оттуда в бирюзовое утро свищет полынь.

— Где я?

— Повыпивал, барин, маленька: тут бы табе на дороге астаться, кабы не я.

— Как это я сюда попал?

— Немудрено; и не в такие места попадают спьяну.

Петр вспоминает все: «Сон то иль не сон?» — думает он и его охватывает дрожь.

— Ужас и яма, и петля тебе, человек, — невольно шепчут его уста; он благодарит Андрона, соскакивает с телеги; пошатываясь с перепою, он бредет к столяровской избе.

Все тихо: у избы Кудеярова столяра хрюкает выпущенный на волю хряк: дверь во двор не прикрыта: «Значит, я выходил со двора», — думает Петр, но он этого не помнит, помнит он только пляску, да Матренку с приподнятым подолом, да кидающуюся на грудь его хищную птицу, взявшуюся Бог весть откуда... Помнит еще он какое-то светлое виденье; и — ничего не помнит.

Он входит в избу: в избе храп, да сап, да тяжелый угарный запах: на столе — жестяной опрокинутый ковш; на столе на полу пролитое вино, будто крови пятна.

Равномерно тикают часики.

УГРОЗЫ

После долгого исчезновенья нищий Абрам, уходивший куда-то, с утра, наконец, заходил под окнами хат; он распевал псалмы глухим басом, посохом отбивая дробь: сухо беззвучные молньи блистали с оловянного его голубка: белая, войлочная поганка то здесь, а то там — за яйцом, за краюхой, копейкой — протягивалась в окно; из окна протягивалась рука то с яйцом, то с краюхой, с копейкой — д л я у м и л о с т и в л е н и я р а д и; но хриплый нищенский басок-голосок вовсе не умилостивлялся: он становился суше, грознее; так же грозил неизвестными бедами нищего голос, как и бедами угрожал сухой августа день: в сухом августа дне Абрам отбивал посохом дробь, и в окно протягивалась поганка, и беззвучная молнья блистала с оловянного голубка.

Было всего три нищих в целебеевской округе: Прокл, Демьян да Абрам, четвертый же по прозванью «б е з д н а» редко показывался в наших местах; Прокл был пьянчужка с добродушной

улыбкой, Демьян воровал кур, четвертый же нищий по прозванью «б е з д н а» был припадочный.

Как бы то ни было, нищих ублажали и принимали; нищие были свои люди: и Абрам, обходя хаты, требовал положенного себе; и протягивались руки с ломтями, копейками, яйцами, и весьма распухал нищенский мешок.

Вот появился Абрам у двери лавочки, своей постукивая дубинкой, и уже не псалом он запел, а старинную песню:

Братия, вонмите,
Все друзья мои,
Внятно преклоните
Ушеса свои.
Братия, явите
Милости свои,
Себя не соблазните,
Зря грехи мои.

Но приятное это, тихой угрозой прикрытое пение, произвело суматоху; выскочил лавочник Иван Степанов, из лавки с очками на носу, припадая на подбитую ногу, и поднес фигу под самый Абрамов нос.

— Я те подам, дармоед, стервец, сектанская собака, погоди, погоди ужо до вас доберутся!

А уж из лавки выходит урядник и гымкает себе в нос.

Абрам поклонился и тихо пошел по дороге к Гуголеву.

. . . .

Над гуголевским окном вяло висли красные листья блекнущего винограда; Катя стояла у открытого окна, положив руки на плечи бабке; бабка наматывала шерсть; Павел Павлович, барон, стоя над старой, с почтительной снисходительностью на пальцах держал шерстяные нитки.

Вдруг под окном раздалась песнь:

Рай пресветлый на востоке,
Вечной радости страна
Незамечена в пороке,
Девам будешь отдана.
Лучше царских там палаты,
Вертограды и сады,
Терема, чертоги златы,
В са́дах дивные плоды.

Под окном стоял нищий Абрам, отбивая посохом дробь и в окно протягивая поганку; оловянная молнья сухо блистала с беззвучного голубка; уже серебряная монета скатилась в поганку, а еще он продолжал:

Плавно катятся там реки,
Чище слез водна́ струя, —
Там вселишися навеки,
Дочь любимая моя...
Все погаснут в душе страсти,
Там лишь радость да покой...

— А-аа!.. — раздалось рыдание Кати; она упала в кресло, закрыв пальчиками лицо...

— Пошел прочь, негодяй! — ударила бабка тяжелою тростью; но Абрам уже скрылся в окне; поднялась суматоха...

В глубоком безмолвии раскуривая цигарку, Абрам сидит под образами в красном углу; перед ним же столяр на колченогих таскается ногах — из угла да в угол, колупая палец; крепкая злоба глядит из его бесноватых глаз; жалуются друг другу:

— А с лавочника содрать бы шкуренку да присыпать бы сольцею: подлая бестия; все-то выслеживат!..

— Ну, да ждет его наказанье!..

— Все ли готово?..

— Все: и сухая солома, и пакля, и керосин: полно ему палить окрестность, — сам развеется пеплом!

— А назначен ли кто для запала?..

— А никто не назначен — вот тоже... Попалю его взором.

Молчание.

— Вот тоже парнишка: не ндравитца мне парнишка; как бы не убаялся деланья?

— А вы делали?

— Делали.

— Али у вас там что не так?

— Так-то оно так: да мало — боится парнишка деланья. Силы в иём мало; делали мы; оно, положим, дите от молений телесное образовалось; да некрепкое дите — рассеиватца паром, боле часу не держитца; а все от парнишкиной слабости... А я ли силушки не накачивал на иево! Матренка ли иево не... А все же молодчик боится...

— Ты бы ему сказал, — и Абрам зашептал столяру.

— Куда там: испугатца — еще сбежит.

— А коли сбежит?

— Так поймаю...

— А коли вовсе?..

— Пропащее это дело: сбежать ему ноне нельзя никак.

— А коли все-таки?..

— А-а-а... я-я-я... — стал заикаться столяр, — тта-а-а-а-гда... — и крепкими глазами своими указал на нож.

— Ха-ха! стало быть, не уйдет?..

— Уйти-то ему некуда от меня; уйдет — перережу глотку.

Молчание . . . .

. . . .

В тот день как раз в поповском смородиннике затарарыкала гитара: струна заливалась на

все село; выпивались рюмки, проливались попадьихины слезы, заливалась гитара так лихо, так гладко: поп же Вукол делал крепость из стульев и потом, вооружившись кочергой, брал эту крепость с дьячком; как на грех, в крепости очутился попенок: поп попенка — в полон; да вмешалась тут осерчавшая попадьиха; и ее гитара так-таки заходила на поповской спине: бац-бац-бац; гитара — в осколки; а в кустах — хихикали; поп же от попадьихи — спасаться в колодезь; ухватился за веревку, ноги расставил к колодезным доскам, да на самое дно колодца и съехал; сидит там по колено в воде, глядит над собой в голубой неба вырез; видит он, что убивается там попадья: «горемычная», попа упрашивает слезно подняться обратно; а поп сидит по колено в воде да на все приставанья — «не хочу, да не хочу: здесь мне прохладно». Хотели уж лезть за попом; да, наконец, набравшись великодушия, дал поп согласие добрым людям на изъятие его из колодезного отверстия; опустили веревку с нацепленным ведерцом, да и вытащили попа; в ведерцо ногами уперся, сам весь закоченел, с ряски льется вода — точно мокрая курица... Нехорошо посмеялись парни, нехорошо посмеялась учительша издали.

День выдался грозный: уже за деревьями тарабарил с деревьями гром; и деревья глухо отшептывались; там же, где пыльная убегала в Лихов дорога, отчаянно на село помахивала руками та темная, годами село дозиравшая издали фигурка, и сухие потоки пыли вставали, неслись на село и лизали прохожим ноги, в небо кидались, там желтыми облаками клубились; и само грозное солнце, красное из-под пыли, сулило долгую засуху изнемогавшим от жара обитателям нашего села.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ

РЕЧИ ВЕЧЕРНИЕ

Красное, злое солнце пятиперстным венцом лучей кидалось на Целебеево из-за крон желтого леса; сверху была нежная неба голубизна; и казалось, что то холодные стекла; на закате стояли тучи, как тяжелые золотые льды; там вспыхивала зарница; весь тот блеск уставился в маленькое оконце столяровской избы.

У окна были Петр да Матрена.

— Знаешь ли ты, что столяр замышляет меня погубить?

— Молчи: вот он сам.

Так сказала Матрена, высовываясь из окна; высунулся и Петр: меж кусточков и кочек, покрытых красными кусками зари, как ковровыми платами, медленно приближался столяр, поплевывая семечками; на нем были надеты новые сапоги; красная рубаха, как кровь, алела среди кустов, а на плечо был накинут зипун; за столяром же шел гость: это был бескровный мещанин с тусклыми глазами и толстыми губами, вокруг которых топорщились жесткие, бесцветные волоса; весь он был дохлый, но держался с достоинством.

— Кто это будет, Матрена?

— А Бог его знает: нешто я знаю!..

А гость уже стоял у порога избы; «четвертый», — со страхом подумал Петр (это он себе отвечал на одну свою мысль); и он уже чувствовал, как слабеют его силы, и как тает его решимость противиться наваждению всех этих последних дней; «четвертый!» — подумал он, и уже слабел явно: так крепкий прозрачный лед истаивает на солнце, поставленный на припек июльским деньком...

— Ставь самовар, Матрена: дорогого гостя встречай... Вот тоже.

И гость вошел, достойно перекрестясь на иконы, и потом, ткнув пальцем в сторону Дарьяльского, соизволил заметить:

— А он, стало, тот самый, который, сказывал ты, Митрий Мироныч: ейный, стало быть, претмет?..

— Он самый, — засуетился, заерзал столяр вокруг дорогого гостя, поглядывая на Дарьяльского и делая знаки, чтобы тот не перечил.

Солнце уже опустилось за желтые кроны леса: пятиперстный венец царственно возносился в нежную неба голубизну; вечер был багряный, порфирородный.

— Десь... — процедил гость, играя медной цепочкой, и потом уселся без зова в красный от зари угол избы.

— Здравствуйте! — наконец, сказал Петр, подавая руку дохлому мещанину...

— Здравствуй, здравствуй, — снисходительно сунул два пальца ему мещанин. — А я тебя знаю... Духовным занимаешься ты делом...

— Занимается помаленечку, — вставил столяр, и на его лице набежали приниженные мор-

щинки в то время, как половина лица, обращенная к Петру, грозила бедой.

— Занимайся-ка, братец мой, делом духовным; это, знаешь ли ты, хорошо: заниматься духовным делом; я вот тоже занимаюсь этим делом — стараюсь малую толику...

— А вы кто такой сами будете? — не удержался Дарьяльский...

— А я буду тем самым медником: Сухоруковым; ты, конечно, слыхал обо мне: Сухоруковых знают все: и в Чмари, и Козликах, и в Петушках.

Петр вспомнил вывеску, что на Лиховской площади, где жирными было выведено буквами «Сухоруков».

Между тем, подан был самовар, бублики, сахар и с гостем уселся столяр чайничать, а тот, откусывая кусочек колотого сахарку, чванно дул в кипяток толстыми губами; странно было одно: не вздували огня; так и сидели в густом красном сумраке упадающего на село вечера.

— Важные, паря, дела для нас Сидор Семеныч обделыват — вот тоже, — подмигнул столяр Петру; и еще прибавил: — холупь заправский...

А заправский голубь прибавил:

— Уж таковы Сухору́ковы все: весь род Сухоруковых, можно сказать, одной масти... А у вас тут — как?

— А у нас вот так: помаленечку-полегонечку, занимамся вот тоже, деланьем...

— Ну и штошь, ён делает?..

— И ён делает...

— С бабой?..

— С бабой моей...

— И баба делает?..

— И баба моя...

— Да ты, паря, — обратился столяр к Петру с какой-то особой сладостью, — не сумлевайся насчет таво, што... и протчее: Сидор, вот тоже, Семеныч, — как-то размяк вдруг столяр, — и ён, тоже: самый что ни на есь, холупь заправский.

А заправский голубь, сидя за столом, чванно дул в кипяток толстыми губами; странно было одно: не вздували огней.

Но никакого страха к дохленькому мещанинишке не чувствовал Петр; видел, что сидят вот они за столом втроем: он, Митрий да космач; а Сухоруков меж ними — четвертый; но страха Дарьяльский не испытывал вовсе; правда, чувствовал он какое-то отвращенье, почти гадливость к этому меднику; скоро ему стало ясно, что мещанин был способен на всякую гадость, какую только не измыслит человеческий род; это было ясно Петру по тому виду, с каким столяр потчевал гостя. Петр догадывался, что легла между ними позорная тайна; медник же, бесстрастно, дул в кипяток с потрясающим чванством, будто и столяр, и Петр, и Матрена — предметы, которые в руки медниковы попались, да так, что добычи своей уж больше медникова рука не выпустит.

Петра затошнило; он вышел; пятиперстный багровый венец еще все стоял вдалеке; Петр вспомнил, как день за днем проходил неприметно, как уже осень сходит и писком синиц, и желтым убором широкошумных деревьев.

Перед избой, под коровой сидела Матрена, у коровы вытягивая «титьки»; молоко попрыскивало в медное ведерцо.

Петр задумчиво стал над Матреной:

— Знаешь ли ты, что столяр замышляет меня погубить?

— А ну те к дьяволу: нашел, што придумать!..

— Да и тебя он погубит.

— А для ча?

— Да и добрым людям от него зло.

— Никак ета нивазможна; натапнасти такой, стало, нет.

— А что ж он все супится на меня, подглядывает?..

— Для хасяйска хлаза: так себе, пасматривает.

— Разве не замечаешь, Матрена, что мы у столяра в полону: ты и я; ни тебе, ни мне без него шагу сделать нельзя; чуть что, и за нами потащится в лес; чуть что, и свесится с полатей...

— Хрех табе, Петр Петрович, клепать!..

А молоко попрыскивало в ведерцо и вытягивались коровьи «титьки»; пурпурные струи облак так ясно горели где-то там, вдалеке; на востоке же мгла пепела становилась мглой сине-черной, и оттуда, из сине-черной мглы, робкие теплились звезды, а холодный, осенний ветерок уж шушукал с кустом.

Петр вспомнил, и Бог весть отчего, свое далекое прошлое; и Шмидта, и книги, которые некогда ему давал читать Шмидт; вспомнил он, Бог весть отчего, трактат Парацельса «Archidoxis magica» и слова Парацельса о том, как опытный магнетизер может использовать людские любовные силы для своих целей; вспомнил еще книгу физика Кирхера «De arte magnetica»; вспомнил он и слова великого Флюдда; ох, сказал бы Петр, ох, сказал бы Матрене насчет столяра и всего, что ни есть, между ними; да Матрене того не понять; вздрагивает Дарьяльский и смотрит: косолапая баба задумалась под коровой и тонкую из рук коровью выпустила «титьку»; кирпичного цвета клоки вылезли из-под платка: сидит на корточках, в зубах колупает пальцем, причмокивают навозом

толстые ее пальцы: ведьма ведьмой; только вот глаза у нее — глаза! только вот над ней лучи зари холодные, красные; и вечерних туда облачков в неба голубизну тончайшие теперь закурились струи. Красными струями раскидалось все небо — и туда, и сюда.

— А эти моленья? Разве мы знаем, Матрена, какой на нас сходит дух? Ведь то его, столяра, наважденье; а ты ему, Матрена, нужна, как и я ему нужен; столяра без нас его же сила убьет; есть слово такое, сказал бы его, да нет, того ты не поймешь слова...

— А како тако слово?..

— Сказал бы: не поймешь.

— Бог с тобой, чудное слово вымозговал; оставь Митрия Мироныча, Христом Богом прошу: не ндравятца мне твои речи, вот што...

Взяла ведро с молоком и пошла в избу; входит в избу, а столяр с медником все шушукаются в черном углу, все огня не засветят; в избе — темно; прусаки шелестят из-за хромолитографий; и с легким шелестом многих прусачьих ног легкий шелест голосов человечьих: «шу-шу-шу»...

Как Матрена вошла, ее они не приметили вовсе: расшушукались; боязно что-то стало Матрене Семеновне; и она сказала:

— Митрий Мироныч, а, Митрий Мироныч!

Не слышат: расшушукались — друг другу на у́шко: «шу-шу-шу-шу — шу-шу-шу»...

— Митрий Мироныч!

— Ась? — тоненьким отозвался столяр из угла голоском, спугнутый ее окликом; будто и не Митрий он Мироныч, а какой-то петушишка.

— Чтой-то вы там?

— Ась? — скрипнул из угла медник, как немазаная телега.

— Чавой-то вы там шукаетесь?..

— А мы так; молитвы творим: иди себе с Богом, голубка...

— Иди себе, баба, — скрипнул и медник; Матрена вышла к корове.

Там стоял Петр и грустную свою додумывал думу: «И она, — обернулся он на Матрену, — моя люба».

Петр думал о Кате (облачков легкие струйки сгорали в любви); и нет: Кати ему теперь, как вот тех облачков, не достать: нет для него Кати; и щемит сердце.

— Ох, — вздыхает Матрена, — чтой-то спать хочетца...

Говорить им не о чем.

— Хочешь, бежим отсюда, Матрена: я тебя увезу далеко; я тебя спрячу от столяра; будет жизнь наша, будет: будет она вольна и свободна (вспоминает, что те же слова говорил он когда-то и Кате): убежим отсюда, Матрена.

— Молчи: не равно сам услышит...

— Сам не слышит: убежим, Матрена!

— Молчи: сам все слышит, все видит; всюду сумеет разыскать; никуды ат ниво ни пайду; да и ты никуды ат ниво ни пайдешь.

— Уйду я от вас, Матрена.

— К Катиньке-то твоей, к французенке, што ль, пайдешь: пагонит тибя от сибя французинка.

— Тяжело мне, Матрена!

— Полно языком-то чесать!..

Думает Петр о Кате — подумает: бросит думу; Кати ему теперь, как вот тех облачков, не достать; нет для него Кати; и щемит сердце.

Тучек легкие прогорали крылья, будто крылья любви, превращаясь в пепел небесный, в золу; вся окрестность с избами и кустами становилась

небесной и пепельной; пепла грозные ворохи повалились с востока, еще недавно прозрачного; скоро вся эта мгла и все это воздушное гарево должно было синеть, чернеть, как лицо мертвеца, засыпая окрестность до нового утра, — как лицо мертвеца вчера еще свежее, розовое еще вчера и улыбающееся приветом да добрым словом; день — наливное яблочко — сгнил в вечере, и уже вечер-няя гниль ломилась в окна, опрокидывалась на стоящих перед порогом избы, так что лица их си-нели, чернели, как у покойников.

— Знаешь ли ты, что столяр замышляет меня погубить?

— Молчи: он все слышит.

— И тебя погубит.

Но Ма́трена, повеся голову, рыжую повела корову, причмокивая навозом.

— Скольких добрых людей загубил столяр!..

Матрена входит в избу; все огни были не за-свечены: «шу-шу-шу — шу-шу-шу» все стоит там в темном углу.

— Митрий Мироныч, а, Митрий Мироныч?

— Шу...

— Митрий Мироныч!

— Шу-шу-шу...

. . . .

Уронила Матрена, будто невзначай, ковш.

— Асенька? — сладко вдруг столяр отозвался из угла, как молоденький петушишка.

— Что вы бормочете там?

— А мы молитвы творим...

— Да, молитвы творим, — отозвалась и не-мазаная телега.

Засветили огонь...

. . . .

— Што ж он — ейный претмет? — тыкал пальцем то в Петра, то в Матрену лиховский мещанин; раскраснелась Матрена и уставилась себе на живот.

— Как же-с, как же, Сидор Семеныч, как же-с: холупями они друх с друшкай милуются; цалованьем друх друха забавлят...

— Хе-хе-хе: голубки, — заскрипел медник, будто немазаная телега.

— Што шь, пусть милуются!

— И то сказать: пусть, Сидор Семеныч, пусть; я вот тоже им гаварю...

— Пфф!.. — фыркнула красная от стыда Матрена и забилась в угол.

Петру стало стыдно и гадко до тошноты. Он вышел вон, хлопнув дверью; скоро гость опрокинул чашку, и вместе с хозяином пошел со двора.

Еще вдали было ясно: пятиперстный столб над селом не угас.

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ В ЧАЙНОЙ

Копоть, дым, чад, гвалт, мужики, на полу лужи — вот что встретило Петра в чайной лавке; Петр спросил себе чаю и уселся за столиком, покрытом скатертью, всю усеянною желтого цвета пятнами; кое-кто на него повернулся, кое-кто подтолкнул друг друга под локоть, кое-кто шепнул: «красный барин», кое-кто харкнул и выругался; пьяный урядник прищурил глаза; тем дело и кончилось.

А Петр ничего того не видел: локтями он оперся на стол, да так и застыл в думах.

Крепко задумался мой герой над своею судьбою; он странную свою любовь и дикие эти раде-

нья, у столяра свою службу никак себе не мог объяснить; чудилось ему: что-то огромное, тяжкое на него навалилось, и душит, подкатывается к горлу, горло сжимает, греховным не то сладострастьем, не то горло щекочет удушьем, так что не мог он подчас понять, переживает ли неслыханные восторги, или души и духа терзания бесконечные; только странное дело: всякий раз, когда не было радений, тяжкое это чувство претворялось в сладкую радость: обреченный на боль и на крестное распятие, которого уже нельзя никак избежать, силится ведь это распятье еще и благословлять; так тоже и зубною страдающий болью: он готов раздробить себе челюсть о камень, чтобы только усилить боль: и в том боли своей травленье — для него и вся сладость, и все сладострастье; так-то и Петр: сладко томился он, ожидая раденья; и вот в сладком том ожиданьи чудилось ему тогда среди бела дня и загадки, и тайны; и диковинная вещь: в эти дни начинал он пуще любить свою Русь: то была любовь сладострастная, то жестокая была его любовь; и в эти же дни всем для него становилась Матрена; а вместе с Матреной ждал он, как столяр Кудеяров ответит ему на его, Петра, ожиданье; пред ним ясней тогда открывался и новый мир, в котором столяр, Митрий Мироныч, за сладкой вина чашей его поджидал, то новое вино предлагая всем человекам.

Но вот стоило той чаши вина отведать, как уже начинало казаться ему невесть что; он не знал: наяву ли, во сне ли, приключения странные с ним бывали; после же тех радений с тупой болью головы он вставал, с тошнотою, с пресыщеньем душевным, — и все, что случалось с ним накануне, теперь казалось ему мерзким, стыдным и страшным; со страху оборачивался он среди

бела дня на кусты, на пустые углы, и ему все казалось, что некий за ним следом ходит по пятам; душную невидимо чувствовал руку он у себя на груди; и боялся удушений; и с того стыда не подымал он глаз на людей, лошадей и скотов; и ему все казалось будто и скоты и люди указывают на него глазами; небывалую чувствовал о себе он молву, он своего стыдился позора.

Вот сейчас вздрогнул он, стал озираться: копоть, дым, чад, гвалт, мужики; и среди всего этого явственный такой голос: «посмотрите-ка, добрые люди: вот сидит красный барин».

— А приллианты, стало, у ния ни нашлись, — довольно явственно раздалось за соседним столом и два мужика укоризненно поглядели на Дарьяльского: слава Богу, всех этих намеков он и не понимал, да и не слышал: «красный барин» все стояло у него в ушах; но как раз этими-то словами не обмолвились мужики; и Дарьяльский снова уткнулся в скатерть.

Вот и Матрена: она казалась ему все последние дни не той уже любой, за которую следует отдать жизнь с душою в придачу; нет, не такой любой казалась ему Матрена: она ему казалась бабёхой грязной, глупой и притом чересчур жадной до грубых ласк; одна обоюдно содеянная срамота его еще, пожалуй, удерживала при ней; а всего более его удерживали глаза столяра: ведь как на кого столяр глянет, так, милый ты человек, и будешь к тому взгляду, как пес на цепи, привязан.

Уже он незаметно спросил себе водки, колбасы, да коробочку папирос (по названию «Лев» — пять копеек десяток); наливал водку из чайника и опрокидывал в рот жгучую влагу: уже горло драло, в груди разливался огонь и в голове начиналось приятное такое шумленье, как

вдруг он увидел пьяненького старичка с седыми бачками, во всем в сером, который, снявши картузик, протирал слезливые свои глаза красным платком.

— Евсеич!

— Батюшка, Петр Петрович: похудели-то как, голубчик, почернели, бородой обросли... Господи, Боже мой, батюшка ты мой!..

— Садись со мной, старина: давай водку пить...

И Евсеич почтительно присел за столик.

— Барышня-то наша с бабинькой ихней, да с Павлом Павловичем, сынком, в город уехали. Ах, Петр Петрович, барин хороший: что вы только наделали с нами; барышня убивалась — хорошая барышня: дитё Божье, Катинька... И как то вам ни грех-с себя да ее, ребенка малого, мучить: ведь ребеночек-с, барышня Катинька... Ах, Петр Петрович!

— Выпьем, старина.

— За ваше здоровье...

— Не будем поминать прошлое: что было — прошло...

— Вернитесь к нам, барин, голубчик; вся дворня вас поминает: не любят они ефтава ахвицера.

— Каково такого?

— Корнета-с Лавровского...

— Это еще что за корнет?..

— Барынин сродственник: гостит у нас, погоди: с Третьего Спаса приехали не то из Питербурха, а не то из Сарани, деревни ихней.

— Выпьем же, старина!

— За ваше здоровье-с!..

. . . .

— А помните, батюшка, как я за вами бежал, а вы от меня, старика, изволили, да вприпрыжку: ведь меня, почитай, кажный день барышня,

Катинька, на село гоняла — с письмами: думали мы, што вы у Шмидта-барина остановитесь: а оно вон што, — задумался старик, исподлобья поглядывая на Петра, — а вышло-то вон што: нехорошо, нехорошо...

Как нож в сердце, впивались те в Петра слова.

— И похудели же вы: опять-таки скажу — почернели, бородой обросли, еще вот...

Но Петр не слушал: вниманье его отвлеклось: он видел, как столяр с медником пробирались между столов, заняли столик, и, увидев Петра, да еще в «компанействе» с Евсеичем, почему-то сделали вид, что и вовсе не замечают их встречи; Евсеич же к тому был и пьян: всхлипывая, вовсе он говорил невнятные речи; но Петр уже больше взглядом не отрывался от того далекого столика, возле которого столяр да медник расположились повыпивать: он видел, что им уже несли водку: «Что бы такое их сюда привело? — думал Петр. — Одна эта гадость», — почему-то заключил он; и знакомая дрожь пробежала по его спине; но столяр и медник занялись своим делом: они наклонили друг к другу свои лица и тусклыми очами своими уставились друг в друга, с нежностью даже такой, да с томностью, будто они не могли ни единой минуты друг без дружки теперь пробыть.

— Ты, ты, значит, и всыпал ему, купцу-то?..

— Не я, Анка всыпала...

— Ты, стало быть, Анке приносил порошка?..

— А я, стало быть, Анке снес порошка, малую толику...

— А купец-то и?..

— А купец-то и вовсе стал дохлый.

— Лишимшись языка?

— Лишимшись языка.

— И всего протчава?
— И всего протчава...
— Ай да, Сидор Семеныч!..
— Мы все Сухоруковы на одну стать...
— Народ твердый!..
— А то как же!..

. . . .

— Ах, барин, барин: с кем вы связались: можно сказать, с отребьем, с гулящей бабой; и как вам не стыдно; да я за барышню за свою сколько ночей проворочился, не спамши: жалко барышню-то было!..

. . . .

— Што ж ты, Сидор Семеныч, маленечко оплошал: ты ему бы еще всыпал...

— А уж ты миня не учи: я себя человека умней не встречал — па палитичности; ежели б всыпал больше, оно бы стало ясно, што, значит, атрава...

— Да я и не говорю, а только ты слухай...

— Нет, пагади: я тебе должен, странный ты субъехт, доложить, што купец больше месяца не протянет...

. . . .

— Тили-тили-бим-бом, — задилинькал в углу треугольник; три мужика хлебали из блюдечка чай, а вокруг них толпилась кучка; то были захожие по осени мужики: молотильщики, народ ученый; каждую осень показывались они в наших местах; один все рассказывал, какая звезда п л а н и д а, а какая нет; другой же мужик машинку такую выдумал, что могла сама от себя бесконечно вертеться;[1] третий же мужик шибко дилинькал в треугольник; была осень: и появлялись с ней на

---

[1] Полагаю, что речь идет о perpetuum mobile. *(Примеч. А. Белого.)*

селе три осенних мужика: один мужик говорил, что покажет свою машинку, другой мужик разъяснял, какая звезда п л а н и д а, а какая и нет; третий мужик шибко дилинькал в треугольник; четвертого мужика — не было.

— Тили-тили-бим-бом. . . . .

. . . .

Как оскаливший зубы волк, загнанный гончими, щетинясь, готовится на последний бой с подлыми псами, так и Дарьяльский: приподнявшись на локоть, жадно пытался он уловить в шуме, гаме и гвалте, о чем такое парочка там расшепталась; но он слышал только дилиньканье треугольника, да наставительный голос:

— Земля, братцы мои, есть шар: и мы, значит, на том шаре и обитаем...

— А я палагаю, — выскочил голосишко, — што мы проживаем в шаре...

— Чудак, а как же там в шаре-то без воздуха: што шь ты думаешь, форточки в шаре-то открывают для слаботнава духа?..

Только всего и слышал Дарьяльский: думы опять совершались в его душе: он вспоминал, что в дни, следовавшие за моленьем, ему казалось, до очевидности, что кто-то промеж людей, с ним завязывающих беседу, есть, кого ни ухом, ни глазом, ни обоняньем ты не откроешь; столярничает ли он в избе, полдничает ли с хозяевами — все ему это кажется: ведь вот они трое строгают; ан нет: опустишь глаза и кажется, что четверо: кто же ч е т в е р т ы й? Поднимешь глаза, — опять-таки трое; вновь опустишь — и все-то кажется, будто столяр зашушукался с тем, с ч е т в е р т ы м; а ч е т в е р т ы й-т о на Петра показывает пальцем, посмеивается, столяра подуськивает на Петра: «да ты бы его, да я бы его, да мы

бы их!» А столяр-то рубанок отложит, высморкается, будто бы даже переконфузится, долбоносый свой нос оботрет, да на слова четвертого потешается, а все же прислушивается:

— Да я уж и так, да куды мне, да мы все — да ты бы сам...

— Нет, нет, нет: вы без меня, вы сами с усами, — подуськивает столяра четвертый и все вместе смеются, и даже Матрена вытягивается из двери посмотреть, каков из себя этот четвертый; тут Петр не выдержит: пилу отшвырнет да уставится на четвертого, а четвертого-то и нет: в пустой уставится угол и видит, бывало, что как было их в рабочей комнате трое, так трое и осталось. Вспоминая все это, как оскаливший зубы волк, загнанный псами, что готовится на бой, Петр вытягивается к меднику.

. . . .

— Да ты думаешь, земля-то мяч, што ли, будет, на веревки подвешенный к небосводу?..

— А я тебе говорю, земля — шароподобна...

. . . .

— Да я и так, да мне куды, да мы все — да ты сам, — шептал столяр, отстраняясь от медника.

— Нет, нет, нет: вы без меня, вы сами с усами...

. . . .

— И мы, значит, в пространстве летаем...

— Как же!..

— Нет, уж, ежели земля — шар, наподобие, скажем, мяча, так мы в том мячике, скажем, сидим, а черти-то нас перекидывают друг другу; аттаво, как ты баешь, и кружение планид.

«Земля — чертов мяч», — подумал Дарьяльский и опять погрузился в думы...

Или еще вот, как начнут они выходить из избы: смотришь — в горнице трое; а вышли на улицу да пошли по деревне: ей, ей, не трое, а четверо; остановится Петр да станет считать: и опять-таки — всего трое: четвертого как и не бывало.

Так ему все эти дни казалось, а столяру он про свое душевное состоянье — ни гугу: говорил с Матреной...

— Матрена, люба моя, а сколько нас всех в избе?

— Как сколька: вот сколька — я, ты да Мироныч.

— А еще кто, четвертый?

А глупая баба возьми, да скажи про то столяру, а столяр ничего на это не ответил: себе в ус усмехнулся.

Все то быстро теперь пронеслось пред Петром, когда он издали разглядывал медника; вон, значит, кого он все ждал: вот он кто, этот четвертый; только какие же у него могли с этим медником произойти приключения? Да и к тому же вовсе он не похож на четвертого: весь-то он из себя никакой — нулевой.

С диким смехом Петр поднял чайник:

— Выпьем, Евсеич!

— За ваше здоровье!..

. . . .

— Видит Бох, што ефтат твой с купцом паступак церкве нашей дело угодное.

— А ты зубы-то не заговаривай: кака там церква!..

Прилетела желтая муха и села на нос к столяру.

— Да ведь тах-та ано, без церквы, хрех...

— Коли так, без церквы, оно грех, то оно и по-всякому выходит, что грех...

Столяр согнал муху: она описала круг и мертвенно уселась на скатерть, обтирая ножками поганое, желтое брюшко.

— Ну, вот: нашел с чем равнять: са смерта-убивством.

— А то разве не убивство? Да ты не дыхай: греха-та ведь нет.

— Как нет?

— Да так: все ведь то адна бабья рассказня; а муху-то ты придави; ана — трупная...

— Да што же есть, кали и хреха нет?

Трупная муха снялась и улетела.

— Да ничаво нет...

— А Он, праведно судящий на небеси?

— Чево-сь?

Муха села на палец Дарьяльскому.

— Ты уж миня не учи: я еще умней сибя не встречал; уж ты мне паверь: ежели грех есть, то касательно Луки Силыча травления ты, почитай, супостат явный; уж я это тебе аткрываю по дружбе: и церквой ты не пакрывайся; только — греха нет: ничаво нет — ни церквы, ни судящего на небеси.

— Да пастой!..

— А чаво мне стаять: как я ему всыпал, так вот и понял, што и нет ничаво; хошь шаром покати; адна пустота; што курятина, што человеческое естество — плоть единая, непрекословная...

. . . .

— И стала быть, — ходим мы галавами вниз?

— Етта не мы, а американцы.

— Ни за што в етту Америку бы я ни поехал!

Копоть, дым, чад, гвалт, мужики; с другого конца лавки зашумели:

— А я, гврю, табе, гврю, Митюха, гврю — да: кол, гврю, асинавай — гврю: всадить... за тваю, гврю, паскудную, гврю, писулю...

— Так, так...

— Мутьянят народ!

— Стервецы!..

— Скубенты!

— Ну и что же он? — допытывался урядник.

— Он — гврит: стаим, гврит, за правое дела... А я, гврю: дела, гврю, жидовские, гврю; народ, гврю, портите, окаянные, гврю.

Так наперерыв плевались мужичонки, лезли из кожи вон, чтобы угодить уряднику; пьяный урядник в компании курносых парней бражничал в этот день по случаю праздничного кануна; и с ним дебелая пила потаскуха-бабёха.

. . . .

Копоть, дым, чад, гвалт, мужики: Петр открыл окно — из окна тянула прохлада; Евсеич, уже совершенно пьяный, спотыкался за соседним столиком:

— Пра приллианты ты, старина, зубы не заговаривай; пра приллианты ты етта аставь; прапали у вас приллианты...

— Вот те хрест, — приллианты нашлись!

— Ври больше!..

— А хочешь к уряднику?

Петр ничего не слышал, погруженный в думы; он лишь думал о том, что с некоторой поры тот на себе хмурый взор столяра испытывал, — тот самый взор, от которого, как говорили в народе, падают куры; пуще хмурился на Петра столяр, дозирая за ним неустанно; дозирал и Петр за столяром, подмечая все новые его для себя ухватки; так и следили они друг за другом.

Столяр же Петра невзлюбил и за то, что тот волю его на Матрене не так выполнял, и за то, что не было у Петра той силы, на какую столяр рассчитывал; а под ту столяр силу, как под процент с верного капитала, положенного в банку, речи свои о дити усугублял; выходило же, речи-то он усугублял зря; а коли Петр Матрену не до дна души возлюбил, выходил — факт неважный: обыденная житейская срамота; оттого-то скверные бывали случа́и с призра́чной дитей, возникающей от испарений четырех человечьих дыханий.

Пуще же всего столяр Петра невзлюбил за то, что к Петру крепко-накрепко привязалась Матрена: глупую бабу от него теперь вовсе не оторвешь, а отрывать приходилось, да еще как!

И пока ходили они друг за другом, высовываясь из углов, из кустов, свешиваясь с полатей, Петр догадывался, что ходит меж них и четвертый, страшные свои он нашептывает речи, подсматривает, подуськивает, грозится, но все же крепко-накрепко связывает всех одной роковой, позорной и страшной тайной.

Помнит Петр, как недавно, когда он вовсе засыпал, растянувшись на лавке (уже от него вернулась Матрена и полезла к себе на постель), — помнит Петр, как ему показалось, будто накрепко у него на шее стянули веревку, да, упершись ему ногой в грудь, как рванули, сапогом раздавливая грудь и затягивая шею; охнул Петр и открыл глаза; смотрит — столяр над ним в задумчивости стоит и теребит бороду, рассматривает так внимательно его раскрытую грудь; Петр с лавки как вскочит. Мироныч же, тот его видя испуг, от него повернулся, руку за ковшом протянул, будто бы испивая водицы: испил, жалобно так раскашлял-

ся и пошел себе спать, не сказавши ни худого, ни доброго слова. Петр же долго не мог успокоиться; все на лавке сидел да давил тараканов, пока желтое око рассвета не глянуло в избу из окна, выслеживая на полу соринки да крошки; с той с самой поры на ночь Петр спать уходил к сеновалу: душно было ему в избе от дыханий четырех человечьих, жаром пышущих тел; и биения сердца делались.

Все то, Бог весть почему, проносилось в его голове, когда издали дозирал он за медником: «вот они теперь там сидят, — думал он, — столяр, да четвертый; четвертый ли? А может, никакой, нулевой? Сидят, подуськивают друг друга, а скажи вот тому или другому: добрые люди, или у вас глаз на это все нет? — засмеют, не поверят».

И пока он так думал, в противоположном углу продолжали шептаться, искоса поглядывая на Петра: но дым, чай, ученые мужики да урядник заглушали тот шепот...

. . . .

— И видел я, братцы мои, сон: будто у меня три халавы, и каждая халава на свой образец: адна псиная, а друхая щучья; и только адна собственная; и те холовы про самих аспаривают себя; и от того у меня трешшали мозги — очченно...

— Ну, и ты тилилюй же!

— А што?

— Быдлом тебя пабычить...

. . . .

— Черт бы его подрал: а решенье нашшот таво приять должно; ты сам, Сидор Семеныч, рассуди: атпустить на чатыри на стараны его никак нивазможна; етта ты сам понимашь; и опять-таки, зачем мне ево держать — лишний рот — коли про-

ку ат ниво никакова; даром только аткармливать.

Когда Петр проходил мимо них, направляясь к выходу с твердым решеньем, в котором он себе даже не признавался, ласково его так окликнул столяр.

— Подь сюда, подь сюда...

— Ну? — повернулся на них Петр да так, что вздрогнули оба: с вызовом, с гордостью, с высоко закинутым лбом; в эту минуту в нем обнаружился барин, хотя клочкастая (в этом месяце выросшая) борода, и шапка нечесаных волос, и дырявые на рубахе локти барства в нем выказывали мало.

— Слухай-ка, барин, — сладко к нему подъехал столяр, — дело есь да табя: Сидор, вот, Семеныч, паутру едет абратна; ты бы с ним съездил: там тебе Еропегиха, купчиха, передаст мне заказ па мебельнай части...

— Что ж, пожалуй!

— Так уж вы постарайтесь пораньше: едем-то мы — чуть свет, — обратился к нему Сухоруков, удостоивая этим в ы неизвестно по какой причине.

Молньей что-то в голове Петра пронеслось, и он даже радостно чуть было не улыбнулся, но ради каких-то целей счел нужным поломаться.

— Эх! — деланно почесался Петр...

— Нет, уж ты, етта, друх, для меня сделай, — и столяр положил руку свою ему на плечо; странная вещь: почтенное это лицо с длинной, протянутой вниз бородою (смесь свинописи с иконописью), — внушало Петру все еще уважение и страх; а то, что столяр был пьян (первый раз видел Петр столяра пьяным) и взволнован — все это внушило сквозь ненависть его к столяру и еще какую-то нежность. «Как это я прежде не

замечал, — подумал он, — что свинопись в этом лице перемешана с иконописью?» Это слово он только что придумал и, как ему казалось, придумал удачно.

— Хорошо: поеду.

— За ваше здоровье, — протянул ему медник водку.

Выпили.

И Петр вышел: темный на него бросился вечер с все еще красной зарей; и обвил его этот вечер темнотой да зарей; Петр пошел на зарю...

. . . .

Шум, гром, гвалт, тяжелый дух: подавались на стол тарани, селедки, в больших чайниках водка, всякая иная дохлятина и в красненьких коробках папиросы «Лев» (пять копеек десяток); не всякому был тот «Лев» по карману, а курили — для ради шикозности; вокруг пьяненького урядника кучкой теснились пьяненькие мужики:

— А ты их лови, да в воду.

— Да што, да я...

— Да мы...

— Истинная, позволю себе заметить, правда: потому такое их, значить, дело.

— Потому, дубатол ты эдакий, они и мутьянят народ...

— Истинная, позволю себе заметить, ваше благородие, правда: потому, значит...

— А потому ты лови их, да в воду...

И урядник, проведя ногтем по красной коробочке, вытащил трясущимися перстами папиросу «Лев» и с наслаждением закурил.

. . . .

— Ну, и што шь?..

— Да што: а по-моему, сбежит.

— А ежели бы он убёг?..

— Тагда, Мироныч, пиши прапало...

И столяр задумался.

— Никак ефтава случая нельзя допустить...

— Помяни ты мое сухоруковское слово: сбежит.

— А ты бы всыпал?

— А я бы и всыпал...

Молчание...

— Только как етта ты мне предлагаешь, так я должен тебе сказать, што за такое дело должен ты будешь мне...

— Вво — как: пакланюсь я табе...

— И тыщами еропегинскими поклонишься?

— Пакланюсь табе в ноги еропегинской тышшой.

— То-то: теми тыщами и поклонись...

— И поклонюсь...

Молчание...

— Только вот...

— А я тебе говорю; греха никакого тут нет: ничаво нет — как есть пустота, плевое дело...

— Ладно, вези его в город...

— И повезу...

— Здесь-та с им не спадручна; здесь с им нельзя пaступить никак: баба тут у миня, Матрена...

Молчание...

— А кагда с им поступлено будет?..

— Да уж будет поступлено: не сумлевайся... В наискорейший срок...

— О, Господи, Господи!

— Мы, Сухоруковы, за что, брат, ни возьмемся; спроси ты, каво хочешь, какие мы такие: порода известная...

— А он от тебя не сбежит?

— Так вот тебе и убежит!..

— Так ефта я...

— Убежит: ат миня еще нихто не бегал!..

Молчание...

— А только я табе говорю, а ты слушай внимательно: што куренок, што человек — одна плоть; и греха никакого тут нет; одинаково завелись и люди, и звери, и птица — на адин фасон; и как я тебе это по дружбе сказал, то ты меня должен за это благодарить... Понял?..

. . . .

Завизжала гармоника; к урядникову столу прилетела желтая муза и села; пьяная баба пошла в пляс; она выбивала пыль из-под юбок с жеманством, с достоинством даже поджимая губы и держа руки в боки:

Д'ах, пошла я
Пад винец —
Д'мужинек мой
Был стервец...

Пьяный урядник гоготал, а курносые парни дружно разорвали рты и гаркнули:

Я и едак,
Я и так:
Мижду прочим —
И никак...

Лихо топотала баба и голосила:

Ели редьку
Да капусту —
С галадухи
В брюхе пуста...

А парни подхватывали:

Д'я и едак,
Д'я и так:
Мижду прочим,
Все никак...

Новая была песня, модная: перед тем пели *сицилистические* песни в округе; а как попика Николая скрутили да в тюрьму сволокли, струхнула окрестность маленечко; прекратились митинги, побросали оружие, пошли доносы; пошли новые распевать песни:

Миня деверь
Учит, жучит:
Ат капусты
Брюха пучит...
Вот и весь та
Мой сказ...

А парни подхватили:

А ну вас —
Пейте квас!..

Новая была песня, модная...

Долго бы еще топотала оголтелая баба, долго бы еще гоготал урядник, раскуривая папиросы «Лев», всякие пелись бы песни — и веселые, и срамные, и жалкие, — кабы тут не произошло одно чрезвычайное происшествие: среди чада, гари, мглы и табачных окурков кто-то как гаркнет:

— Братцы, пожар!..

Все стихло: баба остановилась, парни застыли с раскрытыми ртами, а урядник — с зажженной спичкой в смраде, гари и мгле; на селе раздавались крики; взглянули на окна — окна красные.

— Никак пожар? — удивился медник.

— Пожар и есть...

Не успели опомниться, как уже грянула целебеевская колокольня; непривычно забила медная медь в вечера мглу: быстро сменялся удар за ударом; и когда народ повалил из чайной, в небе стояла черно-багровая мгла, а в ней трещало, шарахалось, прыгало светлое пламя, туда и сюда змеи-

лось и сверкало многим множеством искр; будто мириады красных и золотых ос, спрятанных в улье, вылетели теперь в ночи мглу, чтобы жалить людей, покрывать их смертными красного жала укусами — и роились, свивались, светились золотые злые осы, вылетая из улья; и подпрыгивали в ночь головешки, как кровавые шершни; ясные раскуривались там змеи и быстро-быстро они выползали из-под углов, протягивали свои шеи, шипели, и тянулись к соседним избенкам, освещая теперь целебеевский луг; медленно, низко над лугом суровые черные дыма клубы перекатывались смрадом, опрокидываясь на луг и упадая на землю темно-красной завесой, из-под которой двуногие тени так быстро перебегали и взад и вперед; не были видны их лица, не были слышны их возгласы: одни черные контуры размахались там нелепо руками, визжали, бесились; казалось, что недобрая стая теней, слетевшая отовсюду, справляла свое пированье в красном блеске огней.

— Будто там и не люди, а бесы, — усмехнулся какой-то насмешник у медника за спиной, когда стали они поодаль от пламени среди трав и цветов; но лишь на нелепую ту шутку обернулся урядник, уряднику мгла залепила пьяные глаза; поди там, разыскивай в черноте...

— Нашли время для шуток! — заворчали кругом.

— Их бы поколотить!..

— Не свои, а чужие: из Кобыльей Лужи парни...

В темноте же дружно гаркнули пьяные голоса:

Вставай паадымайся, рабочий народ...

И удалялись в ночь.

Колокольня кидалась медными криками: и ту-

да, и сюда — и туда, и сюда: дон-дон-дон-дон; перекатывались душные дымы, упадая на землю кровавой завесой, из-под которой двуногие тени с криками продолжали бегать взад и вперед; был шип, треск, крик и бессильный детский плач; громким голосом возопила старуха; оголтелые хозяева выкидывались из соседних изб, и летели в дым сапоги, сарафаны, подушки, перины, юбки; полетел большой, в ночь подброшенный, куль; но пылала не лавка, а соседний с лавкой амбар.

— Тащи-тащи-тащи-тащи! — разорвался зычный окрик, и с десяток рук из-под самой красной завесы длинный за собой потянули от пламени крюк; раскаленным железным зубом крюк выкусил из стены ослепительно пышущее бревно; оно глухо рухнуло и опалило траву; и туда и сюда попрыскивала кишка, обливая вовсе не пламя, а соседние с пламенем избы и крыши, и траву, и людей, копошащихся с ревом под самым навесом огня; только что перед тем от усердья разорвали сельскую кишку и кабы не Уткин, прискакавший с кишкой да крючьями из соседней деревни, скоро торчали бы из золы одни черные трубы вместо села.

— Тащи-тащи-тащи-тащи! — раздавались громкие окрики, и алая завеса, будто протянутый атлас, вздрагивала из дымов; и — хлоп: грохнула крыша; водопад искр вскипел над жалящим жаром, точно золотое кружево кубка, пенного через край; и трескучий, ясный язык с веселою злостью протянулся под небо.

В этот миг неожиданно осветился луг, будто вспыхнул, да так, что и стоящим вдали стало жарко, а люди, суетившиеся у огня, с криком бросились прочь, закрывая рукавами закоптелые лица; у смородинника тогда увидали тощенькую фигур-

ку, всю в белом; издали показалась молящаяся фигурка с высоко на огонь воздвигнутым запрестольным крестом; это попик Вукол с развевающимися кудрями вступал теперь в единоборство с огнем Христовой молитвою; его глаза не видели красного ада; Бог весть, что видели эти глаза, вознесенные горе.

Лишь на миг на один осветилась так ясно окрестность, и потом все стало снова темнеть; и опять в ночь погрузился смородинник; погрузились в ночь и протянутый крест, и попа тощенькая фигурка; ясный язык, на минуту подкинутый в небо, быстро стал опадать; и упал; село отстояли; отстояли и лавку.

Гоголем выступал расторопный лавочник: борода кустом, ворот расстегнут, в глазах — у, какие огни! его обступали сельчане; полутрезвый урядник составлял протокол.

В народе ходили слухи, что поджигатели — из Кобыльей Лужи; указывали на одного молодца; но лавочник усмехался; и, странное дело: разговор о поджоге он старался замять.

О ТОМ, ЧТО ЕМУ СКАЗАЛА ЗАРЯ

Вечер осенний!

Хорошо ли ты помнишь, как он бывает тих: как все, что ни есть в душе горестного, безропотно примиряется с невзгодой в тихий, осенний вечер, когда поля из пепельной полумглы видятся поднебесными, кажут свою кроткую пустоту, и благородный покой разливается в твоих членах, когда смотрят поля на тебя огнями селений, будто полными слез глазами, негромко беседуют издалека песнями без слов, когда многие дни душу душив-

ший страх улыбнется безобидно тебе последней зарею: «Да меня и нет вовсе...»

— И нет вовсе.

Но пустоте ты не веришь; вон там недожатая полоса никлым колосом протянулась к полыни; ты глядишь в пустоту, ей не веря, потому что здесь, там, и стоят, и машут руками — оттуда, отсюда: тебя зовут; все они там уставились на тебя, кивают, бормочут; и пустоте ты не веришь.

Но пойди ты на зов, откликнись на голос; только седую метелку полыни разотрешь на ладонях да увидишь скачущего прочь небольшого зверька; горько-пряным упьешься полынным запахом вместе с прелым запахом земляным: вечером осеннее поле пусто; по краям его разливается зорька, а по ней тянется длинная вереница ворон, да оттуда, где ночь темный цвет по земле расстилает, лес пробормочет старую свою сказку все о том, об одном: как пора ему осыпаться; вдалеке осыпается лес будто падают воды, будто ночь, наступая на землю, бьет в нее грустным рокотом снов.

Кто в такие миги не испытывал души просветленья, в том душа умерла, потому что все люди — все — плакали в эти миги по своим прожитым годам; кто пустые поля не оросил ни единой слезинкой, не смотрел в уходящие с зарей на поля желтоватые жемчуга, кто не знает легких перстов на груди касанья, целованья в уста нежно-трепетных уст, — от того уходите, бегите и люди, и звери, и вы, травы, осыпайтесь, если только заденет грубая поступь ваши тонкие стебельки: нужно плакать в такие ночи и гордиться покорным рыданьем, отдавшим себя полям: это слезы святые, в них смывается преступленье, в них душа беспокровно предстает пред собой.

И душа Петра омывалась в слезах: он шел за зарей по пустому полю, растирал горько-пряные травы, смотрел в уходящие с зарей за поля желтоватые жемчуга; на его груди были перстов незримых касанья, на устах — целованья нежно-трепетных уст; и все дальше он шел по пустому полю; убегала по полю в желтоватых жемчужинах вечерница-заря; иногда ему начинало казаться, что уже вот совсем настигает он вечерницу-зарю, лишь под ноги ему протягивалась жнива, лишь звучали ему негромко бессловесные песни, да все тот же голос, — искони знакомый, давно забытый, опять зазвучавший голос: «Приди ко мне — приди, приди».

И он шел:

— Я слышу, я возвращаюсь, — не уходи, подожди... — Легких перстов он слышал к груди касанье, за родными руками протягивал руки: но в его объятьях холодных посвистывал ветерок; а искони знакомый, давно забытый, и опять прозвучавший голос безответно рассыпался негромкой песнью без слов: нет — были и слова у той песни; вот они — далеко по росе убегающие слова:

— «Унее-сии тыы маа-ее гоо-рее-ее быыстраа реечуушка... с саабой», — отозвалось на перекрестке и замерло: слышалось громыханье телеги, виделся огонек папироски и... больше ничего.

— «Все-все-все унесу: все-все-все-все-все-все», — пробормотала струйка у его ног.

— Я и сам понесу...

Тревожный набат гулко бросился за Петром по пустым полям; Петр обернулся: над Целебеевом стоял огненный столб.

О ТОМ, КАК ОНИ ПОЕХАЛИ В ЛИХОВ

Еще не выглянуло и солнце, еще первый утренний заморозок на колеи натягивал легкохрустные ледяные пленки, а дорога, будто каменная, еще все бледнела морозной своей мертвизной, как под окнами Шмидтиной дачи остановилась тележка; нацепив на руку кнут, с нее соскочил подпоясанный медник и довольно-таки решительно застучал в окно кнутовищем.

— Выходи, што ль!

Он стал прислушиваться у окна, поджидая Дарьяльского; право, чудное дело; с поля не вернулся Дарьяльский в столярову избу; прямо с пожара да к Шмидту; о чем дачник с Петром тарабарил, какие промеж них выходили такие дела, ни медник, ни столяр не понимали; только видели оба, как во всю долгую сентябрёвскую ночь не угасали на окнах Шмидтиной дачи огни; оттого и беспокоились оба, оттого и ранее сроку поспешал медник с своею тележкой.

Так он думал, раскуривая цигарку, перекладывая в тележке сено, бутыли и запихивая в передок серый кулек; все это он разложил, подумал; да и опять забарабанил кнутовищем в окошко.

— Выходи, што ль!

Дверь отворилась — и черт бы их всех побрал! Заморгали, заерзали сухоруковские злые глазенки, за его толстые пальцы ухватилась трясучка; он было даже ухватился за картуз, да одумался вовремя: чтобы их всех побрал черт!

Главная же причина чрезвычайного такого волнения была та, что медник в Петре не узнал давишнего молодчика, потому что на том был довольно-таки помятый, но все же плотно сидевший пиджак, а крахмальный воротничок высоко подпирал Петрову небритую шею; серенькое пальте-

цо трепыхалось по ветру, широкополая шляпа накренилась на лоб, а — что больше всего волновало медника — рука в перчатке сжимала тяжелую трость с костяным набалдашником; заморгали, заерзали недоуменные злые глазенки, когда Петр, пожимая руки седому дачнику, довольно-таки высокомерно меднику так-таки бросил:

— Ну, подавай!

— Садитесь же, барин! — не выдержал медник такого тону и уронил неожиданно для себя суховоровскую свою спесь перед столь чудесным превращением драного молодца в барина.

— Вещи же мои, — обращался Петр к дачнику, — ты мне вышлешь, коли понадобятся.

Сели: тележка тарарыкнула, захрустели морозные пленки, на широкий простор высовывалось солнце; день обещал быть холодным, высоким и бледно-голубым.

Круто Петр повернулся; махнул дачнику на прощанье носовым он платком; последнюю свою благодарность Петр посылал тому, кто не только сумел обернуть в дело Петрово решенье и дать ему силу для предстоящей тяжелой борьбы, но и самое его позорное поведенье и гибель в ночь одну обернул только в необходимый искус, посылаемый на жизненном пути; будут дни, — и странные этих недель приключенья издалека покажутся ему разве что эпизодом, разве что тяжелым, давно забытым сном; нет, никогда не задумается он более над нелепым судьбы узором, который он сам невольно с таким старанием расшил.

И еще раз обернулся он на свое прошлое: но, должно быть, там он увидал такое, что лучше бы ему никогда не видать; потому что вздох сожаленья, похожий на стон раскаянья, внезапно вырвался из его груди; и уже он его подавил.

Что же он видел?

Там, там стояла она, с коромыслом, над прудом, вслед глядела ему из-под того же все красного с белыми яблочками платка; знала ли она, что они последним обмениваются взглядом? если б знала, в траву упала бы она с коромыслом, платок сорвала бы она с головы; и долго-долго бы билась она о землю, забывая честь и женский свой стыд; нет, не упала она; нет, не знала она; там вон стояла она над прудом, с коромыслом на плечах, ему будто бы даже весело вслед глядела она, приложив руку к глазам; и красный ее платочек трепыхался по ветру. Столяра же Петр не приметил и вовсе. И как только они от села поднялись, и теперь уже вовсе вдали и внизу расстилалось село, так что в утреннем дыме пропали и избы, и огороды, а блистал только большой резной целебеевский крест, — Дарьяльского охватила бурная радость; точно все наважденья, которые за последние месяцы грянули над его головой, — жениховство, Гуголево, Целебеево, Кудеяров, Матрена — теперь от него уносились туманом, как и он уносился с медником от Целебеева; и мир, еще безмерный вчера для него самого, собрался там вдали в одну волокнистую прядь дымов; и в глаза ему бил колкой искрой своей целебеевский колокольный крест; о городе он подумал, об оставленных там он подумал друзьях; и он думал о Кате, как оттуда, из нового мира, к Кате вернется своей, улыбаясь, — и свободный от прежних бредней.

Прикосновенье к шее медниковой руки заставило его передернуть гадливо плечами:

— Ты что?

— Я сукно щупаю: ничего себе, харошее сукно...

— Что?

— Из хорошава, говорю, сукна у вас пальтецо сшито, а вы по скольку платили?..

— А зачем ты его щупал?

— Ворот пальта у вас приподнялся: а сукно, верно, это я говорю, — аглицкое...

Дарьяльский сунул руку в карман: бульдог был с ним.

— Вы уж, сударь мой, меня не обессудьте, што вчера обошелся я с вами не так; кто ж вас знает, какие вы? Вижу, у столяра служите; ну, думаю, из прастова звания... А вы кто же такой?

— Писатель.

Молчание... Тарарыкает тележка; крутом — пустые поля...

— Вы не думайте, што я што-либо такое имею в мыслях: мыслей никаких особенных у меня нет: я отдельнава от столяра придерживаюсь мненья, вы меня с ним не мешайте: вполне порядочный я человек; кого хотите спросите — медники мы...

Дарьяльскому становилось противно в присутствии эдакого попутчика; на самый он отодвинулся край тележки; но неприятный попутчик обнаружил удивительную наклонность незаметно прижиматься к нему.

— Што шь, а как жа насчет мебельнава заказа?

— Насчет заказу? Закажу, а после вернусь: ты это не смотри, что я барин; я оттого только столярничал, что мне нужно ближе узнать народ.

«Соглядатай! — расстревожился пуще прежнего про себя медник; руки его тряслись: — и сплоховал же столяр, пади, теперь, как с таким поступить? А поступить надо: нельзя так оставить, — все, все погибнут, ни за грош!»

— Так, стало быть, вы не в Москву?

— Нет, я вовсе не намерен уехать; я еще вер-

нусь... — А сам думал: «что это он меня про Москву выспрашивает и откуда он знает?»

Не без легкого опять шевельнувшегося под сердцем страха Петр на медниковы поглядывал руки и на его бегающие глазенки; некоторое время оба они друг возле друга тяжело пыхтели. Вдруг Дарьяльского охватила дрожь; и, выхватывая из бокового кармана пальто маленькую книжку с фиговым листком на обертке, он ткнул ее под нос меднику и почти закричал ему в ухо:

— Это вот мое сочиненье; я — писатель; все меня знают; тронь меня кто-либо, сейчас напишут в газетах.

Но, должно быть, в крике его что-то нескладное про себя понял медник: тотчас он дышать перестал, подтянулся и, мало-помалу, забрал себе прежний тон:

— Мы, Сухоруковы, испокон веков лужением занялись; конечно, я етта не про господ, а к слову сказать: умней нас в Лихове нет...

Так ехали они по пустым полям, оба красные, оба взволнованные и, Бог весть почему, громко они кричали, перебивая друг друга, друг перед другом выхваливая себя...

Верст на пятнадцать уже они отъехали от села, как стал Петр замечать, что с Целебеева с самого впереди них на изрядном-таки расстоянии кто-то гнал во всю прыть караковую лошаденку; это были беговые, легкие дрожки, а на дрожках бочком поместилась темненькая фигурка; все нахлестывала она лошаденку, беззвучно она точно их вперед за собой манила, будто с ними она без слов говорила.

Скоро стал примечать мой герой, что та, темная сидящая в дрожках фигурка, будто с ними нарочно придерживалась одного расстояния; они тише, — и дрожки тише, быстрее они, тоже и дрожки; иног-

да пропадали дрожки в оврагах и их уже не было видно в полях; и никого в полях не было; и потом снова ныряли те из пологого лога дрожки и, вынырнув, мчались во всю прыть по горе. Скоро праздное любопытство охватило Дарьяльского.

— Погоняй-ка ты прытче, — и, поводья выхватывая из рук мещанина, он принимался, что есть мочи, нахлестывать лошадь, думая те беговые дрожки обогнать; но темненькая фигурка пуще прежнего принималась нахлестывать лошадь; и мчались они во весь дух по полям и никого больше в полях не было; у Петра же окрепло тайное одно намеренье; и он украдкой поглядывал на часы, думая, что еще поспеет к поезду, отходящему в Москву: «Только бы сесть в вагон!» — думал он; уже ему рисовалось то, как, устроившись в вагоне, будет он беззаботно покуривать папиросы «Лев», под чугунный качаясь грохот колес: дивная песня, уносящая из этих мест.

Но лиховский мещанин за плечами Петра что-то опять распыхтелся, и Петр искоса обернулся назад: он ясно видел и поганый взор, устремленный ему прямо в спину, и поганую руку, с трясущимися пальцами, прямо протянутую за его палкой; тогда в другую руку незаметным движеньем перекинул он вожжи, а свободной своей рукой ухватился за сбоку торчащий палки конец; палка теперь была у него в руках, но так, что это меднику не могло быть заметно; с бьющимся сердцем Петр ждал, что́ будет, но ничего не было; уже они подъезжали к Мертвому Верху, уже грачихинский шпиц давно прободал неба голубизну; уже с дрожками темненькая фигурка опрокинулась вниз под верх; почему-то Петр стал придерживать вожжи, ожидая, что дрожки поднимутся вверх; но дрожки, как нырнули, так и не поднимались, темненькая фи-

гурка, знать, в овраге застряла и не хотела оттуда выехать; ясно Петр чувствовал у себя за спиною жаркое медниково дыханье; шею жгло то дыханье, забираясь за ворот.

Над Мертвым Верхом Петр осадил лошадь: никого не было внизу; обернувшись назад, он увидел, как озабоченно медник оглядывал и подовражные земли, и к Грачихе в глубине верха убегающую дорогу; ему стало понятно, что оба они думают об одном; на один только миг встретились их глаза и закрылись ресницами.

— Эта дорога ведет к селу?

— К селу...

На один только миг встретились ему медниковы глаза, а все же успел он прочесть в тех глазах волненье, будто даже на что-то досаду.

Петр пустил лошадь под гору, и когда они были в самой глубине верха, жаркое дыханье лиховского мещанина обожгло ему снова темя:

— Остановите-ка, барин, лошадку...

— А что?

— Да хомут-то развязался, думается мне...

Лошадь стала: конец палки был у Петра в руке, кто же сойдет с тележки?

Но медник не сходил; еле заметно Петр тронул палку; палка не поддавалась: значит, другой конец был у медника в руках: «вот сейчас он сойдет поправлять хомут, и палку из рук я уж не выпущу больше; сойдем, и увижу, что вся эта нелепица мне мерещится».

Но медник с тележки и не думал сходить.

— Что же хомут?

Наступило неловкое молчанье; Петр повернулся: глаза их встретились.

В самое это мгновенье он заметил на ощупь, как медникова рука явственно потянула палку к себе,

но Петр палки не выпускал; и палка мгновенно перестала двигаться; тогда Петр в свою очередь ее к себе потянул: но медникова рука явственно палки не выпускала.

Все это произошло в одно только краткое мгновенье, но в это мгновенье пристальный взгляд Петра, на один только миг, старался уплыть в бесцветно моргавшие, убегающие от него глазки.

— Едемте с Богом: етта мне показалось; хамут цел...

Петр понял, что медник с тележки не слезет, и палки не выпустит: «для чего ему нужна моя палка?» Он старался поставить себе этот вопрос и старался себя уверить, что действительно это — вопрос: в бессознательной же души глубине в с е э т о для него с некоторого времени перестало быть даже вопросом.

Тогда Петр свободной рукой что есть мочи хлестнул лошаденку; они теперь вылетели вверх; он повернулся к меднику; он видел прямо перед собой и медникову руку, державшую набалдашник палки, и всю дохленькую фигурку, подпрыгивающую в тележке; но, заметив глаза Петра, вопросительно следящие за его движением, лиховский мещанин принял невинный вид, будто он внимательно разглядывает резьбу костяной ручки.

— Что, хорошая палка? — криво улыбнулся Петр.

— Ничаво себе палка, — криво улыбнулся и медник. — Я вот сматрю, какую она из себя представляет кость?

— Дай сюда, я тебе покажу...

— А вот тут, пагадите-ка — есть клеймо.

— Да нет же — вот оно.

И после легкой, едва заметной борьбы, Петр с силой выдернул палку из рук медника...

Они были на другой стороне верха; и снова мчались по полю.

А когда они были от верху уже опять далеко, Петр, оглянувшись, увидел, как из того верха беговые вылетели дрожки и все та же темненькая фигурка беззвучно махала рукой, нахлестывая лошадь, точно призывно она манила, точно она без слов говорила; но случай в овраге внушил Петру бодрость: «Нет, нет, нет, в с е э т о мне показалось», — уверял он себя; «да, да, да — в с е э т о есть» — стучало сердце в ответ... И палки из рук Петр уже не выпускал.

Медник же, сидя теперь на краю тележки, и не сопел, не пыхтел: казалось, он вовсе не волновался; но его надутые губы еще надулись и он довольно-таки явственно повернул Петру спину.

— А вы знаете этих купцов Еропегиных? — кинул ему, будто невзначай, Петр.

— Их у нас все знают: спросите последнего лиховского мальчишку...

— Нет, а так: вы у них лудите посуду? (Невольно Петр с медником перешел снова на «вы», когда ему показалось, что успокоились его подозренья.)

— Нет: я у них посуды еще не лудил; у них другой медник; и даже медника етава я не знаю...

Так: сомнения успокоивались.

Петр задумался; утренней веселости все же как не бывало; уже они подъезжали к Лихову. «Как бы теперь только спровадить э т о г о; а там — и на станцию; еще, пожалуй, увяжется медник, вызовется к Еропегиной провожать!»

Едва они въехали в Лихов, как стали подпрыгивать, да так, будто под тележку были нарочно подброшены самые что ни на есть неудобомостимые камни.

Петр поехал по мягкому; они огибали высокий острожный частокол, около которого разрослись курослепы; вдали поблескивал одинокий штык; в острожных, решетчатых окнах видел он бритое лицо в сером халате: «вероятно, это кто-либо из Фокиных, либо кто из Алехиных», — Петр подумал; и пока он разглядывал бритое это лицо, соскочивший с тележки медник подбежал к низкому домику и упорно о чем-то шептался с таким же картузником, как и он; картузник кивал головой в знак согласия, с любопытством искоса поглядывал на Петра и поплевывал семечками; все то произошло незаметно; и когда Сухоруков влез на тележку и завладел вожжами, Петр разглядывал бритое то лицо, ему улыбнувшееся из решетчатого окошка; они поехали дальше.

— Что так тихо?

— Сами видите, какая у нас тут дорога.

Картузник следовал вслед за ними; теперь к тому дому, около которого только что медник шептался, подъезжали и дрожки; если бы Петр обернулся, он увидел бы темненькую фигурку, слезавшую с дрожек, и обступившие его две другие фигурки увидел бы он; но Петр соображал теперь, как избавиться ему от медника; и он был удивлен, когда медник остановил лошадь при въезде на базарную площадь под вывеской «Сухоруков».

— Ну, барин, прощай: я тебя подвез, а теперича уж ты ходи на своих ногах; мне пора восвояси.

— Так, спасибо, спасибо! — Петр, слезая, протянул ему плату.

— Нет, погоди: деньги-то ты аставь при себе; мы — Сухоруковы: и денег за такие дела мы не берем (он опять держался с достоинством; он опять перешел на «ты»).

— Ну, все же спасибо! — вместо платы Петр протянул ему свою руку (правда, в перчатке — и замашки же у Петра с вчерашнего дня завелись, прямо сказать, барственные!).

Он вздохнул облегченно, что с медником у него так все это обошлось просто; он корил себя за позорные подозренья; быстро, свободно теперь он шагал по направлению к станции; еще полчаса — и все будет кончено; его постыдная связь с этой местностью оборвется навеки. Так он шагал и помахивал тростью, и никто из встреченных мещан при виде этого горожанина не мог бы сказать, что вчера горожанин ходил в заварызганной красной рубахе и с продранным локтем; проходили мещане — не оборачивались; только все один мещанин, неотступно следовавший за Петром, с его спины не спускал глаз; ни обгонял, ни отставал лиховский мещанин, равномерно следуя по пятам.

СТАНЦИЯ

— Черт бы побрал медника!

Подходя к кассе, Дарьяльский видел, что она заперта.

— Когда же поезд?

— Э-э, барин, поезд ушел, тово более часу!..

— Когда следующий — в Москву?

— Только завтра.

— А куда есть поезд?

— В Лисиченск...

Из упорства чуть-было не уехал в Лисиченск, но раздумал вовремя: делать нечего в Лисиченске — все равно; денег же с собой у него только всего до Москвы.

И остался.

А подкрадывался вечер; и все Петр сидел тут, отхлебывал пиво — золотое пиво, запекавшееся пеной у него на усах.

О чем же он думал? Но разве думают в т а к и е минуты? В т а к и е минуты считают пролетающих мух, в т а к и е минуты глухо молчит та души половина, которая ранена насмерть: проходят так дни, недели, года.

Петр катал катушки хлеба, отхлебывал пиво и испытывал одну только приятную теплоту да удивленье, что все это легко кончилось и что просто так он вырвался из бесовских сетей; сладостное он испытывал волненье; и глотал пиво; пересчитывал мух, да следил, как в стороне осанистый офицер подзывал другого:

— Корнет Лавровский, вы еще пьете?

— Пью-с...

— Еще по одной — тиснем!

Тиснули: и осанистый офицер снисходительно сказать соизволил:

— Ах вы, эдакий гвардафуй!..

«Где я слышал все это? Все это уж было, — но где, но когда? — подумал Петр: — К о р н е т Л а в р о в с к и й: и это имя я слышал».

Что было, то есть; что есть, то будет: все бывает; и проходит все.

Лиховский мещанин, следовавший за спиной у Петра, взад и вперед теперь одиноко шатался по станции.

О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

День был лазурный, когда он входил на станцию; день был... — но нет: когда он оттуда стал выходить, дня не было; но ему показалось, что нет и ночи; была, как есть, темная пустота; и даже не

было темноты: ничего не было на том месте, где за час до того суетились мещане, шумели деревья; стояли домишки — одно сплошное ничто кинулось на него, или, верней, он в него кинулся; ни звука, ни шелеста, ни стукушки; ему показалось, что прибыл он из лазурного мира в вокзальное помещение; и оттуда прямо выбыл — в город теней; между тем городом Л и х о в о м, по которому так недавно он проезжал, и этим Лиховом было, по крайней мере, миллион верст расстояния: то был — город людей; это был — город теней.

Кое-что все же он разобрал. Как будто на серой плоскости, прилипавшей к его глазам, робкой рукой провели кое-где, кое-как черные пятна и кое-где, кое-как снимкой посняли тушь: он даже стал ощупывать и темные эти, и белесоватые эти пятна; скоро он убедился, что пятна — не пятна, а самые настоящие предметы, третье имеющее измерение; вот даже издали он увидел глаз фонаря, другой, и огни: но все это было тускло и будто под траурным крепом.

Куда же теперь он пойдет?

Отчего заблаговременно не уехал он в Лисиченск? Но разве он знал, что все так быстро и бесповоротно изменится.

Озираясь, он только всего и видел, как какая-то там вовсе темненькая фигурка выдавалась из всего, темного не вовсе.

— Как пройти? Как пройти тут? Ей, послушайте!

Но фигурка всего только и делала, что беззвучно выдавалась на фоне белесоватой стены: отвечать на вопросы, видно, она совсем не могла: может, темненькую ту фигурку углем мальчишка намалевал на стене, и то вовсе не человек. И Петр тронулся от нее в пустоту.

Но когда тронулся он, тронулась и фигурка.

Петр стал подходить к фонарям; хотя и тускло, а все же вырисовывался перед ним мертвый город. Петр даже видел, как в открытом окошке, среди всего пыльного, пыльный лиховец у самовара сиротливо пиликал на скрипке...

. . . .

— Все нумера заняты!

Так сказали ему в гостинице; пустота — как есть ничего: город теней, город Лихов!

Опять стал пробираться Петр в пустоте; скоро он затерялся на базарной площади; и скоро опять в белесоватую он уткнулся стену: на стене опять-таки, как где-то там, — намалеванная фигурка; знать, какой-то шутник вычернил набеленные стены тенями: человеческая тень зарисовала свою тень. И когда прочь тронулся Петр от фигурки, тогда она вновь тронулась за Петром.

Вдруг у самого носа слышит знакомый он голос, хриплый, как немазаная телега; вдруг у самого уха слышит знакомое еще так недавно дыханье: смесь махорки и чесноку.

— Так етта вы, сударь?

Он узнал медника, но он не видел его: он только слышал его и еще, пожалуй, обонял: и как он обрадовался!

— Эх, сударь, и какой же вы, простите за выраженье тилилюй:[1] в тимнате да одни, не равён час — лихие люди.

Петр чуть было ему не сказал: «Все тут у вас люди — лихие», — но вовремя удержался.

— Вот не знаю, где и остановиться, где тут у вас постоялый двор?

— Как где, а след вам ночевать у Ерапегихи!

---

[1] По смыслу «простофиля». (*Примеч. А. Белого.*)

Да: вот счастливая мысль; и к тому же там он хоть увидит людей; здесь же не люди, а тени.

— Да вот только, как пройти-то мне к ним?

— Я бы вас проводил, да мне недасуг... Эй, любезный, — табе идти не па Ганшиной ли?

— Па Ганшиной! — раздалось где-то недалеко от Петра.

— Праведи вот барина к Ерапегихе.

Петр обернулся и удивился, что от темной фигурки, перед которой только что он стоял, исходил теперь голос.

— Пайдем.

И фигурка тронулась по стене; за ней тронулся Петр: предварительно он здорово свистнул в воздухе палкой, чтобы удостоверить фигурку, какой интересный предмет у него находится в руках.

Потом, когда миновали эти минуты и уже остались в прошедшем, то, сидя за чашкой чаю среди ковров, Петр сообразил, что такое ему казалось, когда он шел в этой тьме: ему казалось, что шли они долгие годы, обогнав грядущие поколенья на много миллионов лет; ему казалось, что конца у этого пути нет, да и быть не может, как не может быть и возврата назад: бесконечность была впереди; позади же — она же, бесконечность; и даже не было бесконечности; и в том же, что не было тут никакой бесконечности, не было и простоты; ни пустоты, ни простоты — ничего не было; белесоватая только стена; на стене же — лиховский мещанин; тщетно пытался Петр уразуметь подлинные черты лиховца, чтобы найти этим чертам хоть какой-нибудь вразумительный смысл, хоть какое-либо для здравого смысла оправданье, или хоть спасительную лазейку для простой человеческой слабости; но, видно, у людей, вступающих за черту оседлости, безжалостно отымается снисхож-

денье, окутывающее их взор обыденною простотой; как ни тяжело, а приходится здесь эти слова повторить, потому что скользящий с Петром рядом лиховец был ни высокий, ни низкий, но беззвучный и тощий, и притом с двумя явственными рогами...

. . . . . .

— Ась?

— Гм — ничего...

— А мне пачудилась, сударь, што вы черным изволили словам ругнуться...

— Скоро ли?

— А вон, там ихняя и фатера, где еще моргает фонарёк.

. . . .

Нет, это не был черт, потому что сзади шел черт.

ОСВОБОЖДЕНЬЕ

Бледные, бледные, бледные лица — знаете ли вы их? И с синевой под глазами? Эти лица обычно миловидные, не красивые вовсе; но вас это-то в них и пленяет: будто из далеких снов возникают те лица и проходят через всю вашу жизнь — ни наяву, ни даже в снах, или в воображеньи, а только в предощущунье; но, тем не менее, вы их видите, или, по крайней мере, хотите видеть: эти лица начинают мерещиться вам (всегда только начинают — никогда вполне не мерещутся) в женщинах; женщинам же они мерещутся только в белокурых мужчинах, и безбурно, насмешливо проходят, никогда не вызвав, впоследствии, встречи.

Как удивился Петр, увидев теперь такое лицо — и где же? В еропегинской передней. И в ком же? В самой невзрачной на вид, простоволосой горнич-

ной, отворявшей ему дверь. Тихая, она не удивилась, будто даже его ждала, неизвестная ему доселе, и все же милая,— при виде его улыбнулась знакомой улыбкой, будто могла что-то такое ему рассказать, что касалось гибели или спасенья жизни; а стеариновая свеча у нее так и ходила в руке: «Все, все, все расскажу», будто она ему говорила.

Но в прихожую вкатилась безобразная лепешка в шоколадного цвета платье с бородавкой на губе.

— С кем имею честь говорить?

— Дарьяльский, писатель — честь имею представиться!

— Очень приятно: что же вам, собственно, нужно?

— Будучи лично знаком с вашим супругом и приглашаем к вам в июне месяце, я, опоздав на поезд, решился просить вашего гостеприимства; не могу ли я у вас переночевать?..

— Но ведь тут есть гостиница! — видимо, Фекла Матвеевна не доверяла странному, не в урочный час, появлению Петра.

— В том-то и дело, что гостиница полна.

— А муж-то мой ведь — без языка...

— Что вы? Недавно я видел его в добром здоровье.

— А где вы с ним виделись?

— У баронессы Тодрабе-Граабен, где я этим летом гостил! — (последние слова он произнес с гордостью: бедный, так он боялся, что его вернут в темное небытие, где тот, четвертый, его ожидает под домом).

Последнее заявленье имело последствие:

— Аннушка, приготовь во флигеле барину постель.

Петр видел, как свеча, капая, задрожала у той, кого неизвестно по какому предчувствию он хотел назвать р о д н е н ь к о й сестрицей, чьи черты что-то напомнили — только вот что?

— Милости просим! — пролепетала лепешка, сложив ручки на животе, и зашлепала в комнаты мимо пузатых ваз, кресел, зеркал. . . .

. . . .

И когда миновали минуты, во время которых он превозмог бесконечность, опередив с странным спутником грядущие поколенья на много миллионов лет, когда восседал он в мягком удобном кресле за чашкою чаю, с «Львом» во рту, он думал, что Москва осталась уже позади и даже миновал Лихов, город теней; куда же он теперь тронется? Ему было удобно, и он расточал свое красноречие перед вот этой лепешкой, с добродушным лицом и скромно опущенными глазами.

Думая быть гостем приятным во всех отношениях, он ей предложил сыграть в дурачки; но она отказалась.

Только одно появленье или, верней, п р о х о ж д е н ь е нарушило эту идиллию — прохожденье, потому что... Но что бы ты, читатель, сказал, если бы мимо тебя проволочили смерть в погребальных свечах и с бормочущими старицами в окруженьи из вот темной той анфилады. Ты привык в романах читать о таких приключеньях, но ведь тут ни роман, ни фантазия, а... — Петр видел, как темная анфилада комнат вся занялась свечами: две старухи вели за руку — смерть, в халате и в черных очках; смерть плелась, едва передвигая ногами, и шлепала туфлями. Сзади Аннушка со свечой, проходя, улыбалась Петру, как родная сестрица, и, казалось, она его за собой манила, с ним без слов говорила.

— Извините... мой больной муж, — поясняла Петру лепешка, — только всего с неделю, как он начал ходить...

— Дааа... А язык?

— Доктора сказали, что, может быть, еще и заговорит...

— Когда-нибудь?..

Она опустила глаза.

— Может быть, никогда . . . .

. . . .

Петр задумался; но о чем думал Петр?

Разве в такие минуты о чем-либо думают? В такие минуты считают пролетающих мух; в такие минуты глухо молчит души половина, которая ранена насмерть: глухо она молчит дни, недели, года — и только после тех уже дней, недель и ушедших лет медленно начинаешь ты сознавать, что сталось с погубленной души половиной и есть ли еще душа у того, у кого погублено полдуши; а пока ты не знаешь, умерла ли душа, или то обморок, и душа тебе вновь отдается; но первое ее к тебе благотворное возвращенье дикой в тебе отзывается болью или сказывается телесной болезнью, приносящей убожество; тебе явленная смерть — ты забыл? А души половина, вся-то она еще гробовая; и, восставая от смерти, она страшному подлежит суду: сызнова она переживает все то, что тобой уже давно пережито, чтобы нелепицу прежних дней претворить в небесную красоту; если же силы такой у души твоей нет, то ее зараженные части сгнивают бесследно.

Что же мог думать Петр в такие минуты? Он только знал, что от вчерашнего дня его отделяют миллионы прошедших верст, миллионы протекших дней . . . .

. . . .

— Так, может быть, ваш муж никогда уж больше не скажет?

— Никогда.

— Но пора вам на отдых: Аннушка, проводи барина!

Уже Петр давно ушел восвояси, а все еще в кровавом блеске лампад, средь перин, подушек, пуховиков, перед изображением птицы-голубя, вылитым из тяжелого серебра, в одной исподней сорочке и с распущенною косой поклонялась Фекла Матвеевна в своей душной опочивальне, куда не было доступа никому, кроме Аннушки-Голубятни.

Мужа она теперь не боялась, потому что муж теперь был вовсе без языка; ежели б видел он что и понимал, то и то бы не мог сказать; а он, еще вдобавок, не понимал, лишившись рассудка, да и был он при одном своем отдаванье Богу души; только крепко душа Луки Силыча, знать, была привязана к телу; из недели в неделю, тянулось это Богу души отдаванье; и даже странно сказать: доктора ждали смерти со дня на день, а вот уже более недели к Луке Силычу слабое вернулось и руками обладание и ногами; последние же дни он все что-то ворочал языком и тянулся с постели; а три дня назад взял, да и спустил ноги с кровати; и заставил-таки себя по комнате провести; с этих пор каждый день старухи его по комнатам перед сном проводили: доктор же уверял, что это последние Луки Силыча дни.

Грех сказать, чтобы Фекла Матвеевна мужа смерти хотела, а только, думалось ей, — ну, как слово к нему вернется, да он ей и скажет: «А что, матушка, это у вас завелось: а правда ли?» Только если бы и вернулся язык, никак не вернулся бы разум: мозги потрясенные были у Луки Силыча; так вот вчера: как мужнину комнату Фекла

Матвеевна посетила, все трясущейся он рукой невнятные перед ней чертил знаки, а у самого-то слезы, слезы ручьями: пришлось снять очки, да глаза обтирать; а он смотрит в глаза ей, так жалобно и, что малый ребенок, заливается в три ручья; поплакала с мужем и Фекла Матвеевна; и запомнились ей дрожащие мужниной пораженной руки знаки: все будто «о» у него выходило, потом «т е» буква и «е р»: о т р..., а дальше Фекла Матвеевна понять не могла: думала слово продолжить и вышло: Отрыганьева (родом она была Отрыганьева); думала, не ей ли, Отрыганьевой родом, смерть Лука Силыч пророчит: эти нищие духом, у которых мозги болят, тоже ведь иной раз не хуже мудрых провещиваются.

— Осподи, Осподи! — вздыхала купчиха в красном свете лампад.

— Осподи!

И тяжелая серебряная птица простирала над ней свои крылья...

Вдруг — в пустой зале стук, и легкий туфельный лепет; туфлями кто-то шаркнул; выбежала «лепешка» в одной исподней сорочке в коридор и выглядывает в залу; и видит: посреди-то залы сам стоит Лука Силыч с дрожащей в руке свечой: встал-таки ночью, да и поволочил ноги по комнатам, еще свечку сил хватило с собой забрать (видно, сиделка уснула, а он встал да пошел); только какой же это Лука Силыч? Смерть черными окнами очков уставилась на купчиху; видит ее, за ней, Отрыганьевой родом, протягивается: одна рука пляшет со свечой, другая о-т е-е р выводит в воздухе, дрожа; а губы-то Лука Силыч раздвинул, рот раскрыл и ворочает бессильно языком: может, оскалился он на «лепешку»?

Только «лепешка» и ахнула, да присела на корточки, прикрывая руками груди (так как была раздевшись), на мужа глядит.

А он от тихого ее «а х у» свечу уронил, и обоих супругов тьма обуяла; слышался Феклы Матвеевны плач да легких туфель к ней в темноте приближенье, да тяжелое грохотанье подсвечника, покатившегося в угол.

ДОМОЙ!

Из-под бледного-бледного, черным покрытого платком лица глядели Петру в лицо Аннушкины большие глаза так задумчиво, так уверенно, так спокойно; строго она там стояла с приподнятым в руке фонарем, ей бросавшим в восковые черты легкосветный, кровавый отсвет; другая же ее рука дверь распахивала в темноту; и протянутая та рука будто ему указывала беспрекословно снизойти туда, где не видел он ничего, кроме тьмы, да лепета листьев, да ему в лицо оттуда бившего ветру; родненькая сестрица, за собой его она туда уводила, без слов с очами его очи ее внятно так ему говорили: «Все-все-все расскажу, все-все-все...»

— Да я и сам...

— Нет, уж нам это сказать предоставьте . . .

. . . .

Но ничего такого промеж них сказано не было: то говорили их друг другу глаза; уста же их произносили речи иные.

— Как — разве мне т у д а?

— Туды: во флигеле вам постелено!

— А флигель-то где?

— В плодовом саду: пожалуйте, барин.

На минуту подумал Петр, что ему не мешало

бы захватить с собой и пальто; но раздумал: близко, ведь, было.

Он прошел за ней в дверь.

И странно: все то отсутствие света и тьмы, в котором барахтался он так недавно в лиховских переулках, теперь было наполнено тьмою, но трепетало, шумело, но ликовало под порывами холодного такого ветра, будто по мановению руки новой его водительницы; тьма трепетала тысячами листочков; грушевые деревья им бросались навстречу под световой круг фонаря; в этом света кругу зацветали зеленью; а спокойная ночь раздалась необычно над их головами, указывая на свои миры и созвездье: Петру казалось, что они направлялись к звездам, и он твердо шел за мелькавшим пред ним фонарем.

Вот он, флигелек, в глубине плодового сада, приветно моргавший в нем уже засвеченным огоньком.

Но когда Аннушка отпирала дверь, на минуту Петр вздрогнул:

— А флигель-то — пуст?

— Пуст.

— Здесь я и буду? Один?

— Я останусь, при вас останусь, — сказала она и просто так улыбнулась; на пороге стояла она с приподнятым фонарем, а другою рукой она перед ним настежь распахивала дверь, и, казалось, что эта рука, лежавшая на двери, властно показывала ему его новую дорогу.

Петр обернулся и все надышаться не мог бурно бившим ветром ему в могучую грудь, налюбоваться не мог он теми звездами, которые ему открывала спокойная ночь; сколько раз он уже видел все это, но будто сегодня увидел все это он

впервые и старался запомнить, чтобы уже не забывать никогда.

А она стояла, ждала, указывала на дверь с высоко приподнятым фонарем.

Петр прошел под ее фонарем: спертый его охватил запах; она заперла дверь; они были теперь с глазу на глаз в этом душном преддверье.

Проходя в отведенную ему для ночлега комнату, он замечал, что полы здесь были вымыты квасом и прилипали к подошвам; коридорчик заворачивал вправо и влево; посреди его была дверь; они прошли в эту дверь; Петр увидал чистую комнатку, белую, с пышно взбитыми подушками, постель, красного дерева комод, ночной столик, рукомойник, прочие принадлежности ночи — все в исправном порядке: даже письменные на столе части, конверты, бумага, марки; увидел он и веревку, брошенную под постель; все то пузатенькая освещала лампа.

«Давно в этакой роскоши мне не приходилось спать», — подумал он.

И еще раз взглядом окинул комнатку; и тут он заметил, что над дверью было отверстие с вынутым из него стеклом, в которое можно бы было при желании просунуть голову, предварительно перед дверью подставив табурет; все это он бесцельно разглядел (как и все рассеянные люди, в глазах которых ненужные мелочи запечатлеваются мгновенно, главное же неискоренимо ускользает от наблюдения).

В последний раз оглянулся он на своего нового, без слов его понимавшего друга: «Милая, родненькая сестрица», дрогнуло жалостью его сердце, и всего его потянуло к ней рассказать, сказать, поделиться, братски поцеловать эти без единой

кровинки уста и шепнуть, как шепчут только после. долгой разлуки.

— Ну?

И он сказал:

— Ну?

Но она низко, серьезно ему поклонилась; будто молодая монашка, отдавшая в храме иконе земной, поясной поклон.

— Ну?

Она плотно притворила за собой дверь; она осталась за дверью. Петр был один.

Долго еще он сидел, нагнувшись над столом; он писал Кате, лихорадочно, спешно, точно желая в одном этом письме высказать ей всего себя, объяснить ей все эти дни себе самому непонятное, а теперь вдруг ставшее ясным до очевидности поведенье; и мы поверим Петру, что слова эти свои — он нашел; он надписал конверт, наклеил марку, сунул письмо в карман пиджака; а все еще он сидел за столом: «Сестрица, родненькая — ты открыла мне очи; ты мне вернула меня самого...» Душа Петра омывалась в слезах: уже был он в забытье: и ему казалось, что далеко Лихов остался у него за плечами, а что шел он по пустому полю, растирал горько-пряные травы, смотрел в уходящие с зарей за поля желтоватые жемчуга; на его груди были перстов незримых касанья, на устах — целованья нежно-трепетных уст; все дальше он шел по пустому полю на негромко звучавшие ему песни без слов; и все тот же искони знакомый, давно забытый, сестринский слышался ему голос: «Приди ко мне — приди, приди!»

— Я слышу, я возвращаюсь...

И возвратился из забытья: должно быть, его разбудил шорох и, когда он обернулся, была открыта в его комнату дверь.

— Ну?

В дверях он увидел грустное, чуть насмешливое Аннушкино лицо во всем белом:

— Вам не надать ли еще чево-либо?

— Ну?

Она вызывающе засмеялась; и казалось, что ей самой было трудно сказать эти бессвязные, ухо Петра резнувшие слова:

— Я иетта к таму, што маладым людям ни услужливала...

— А что же мне может быть нужно?

— Не знаю, в чем маладые люди нуждаются...

— Нет, не нужно, — грубо отрезал Петр.

Тут он увидел, что рука ее тянулась за ключом, вставленным в дверь с его стороны.

— Нет, оставьте: на ночь я запру дверь.

И быстро он кинулся к двери, и быстрым движеньем она перед носом его дверь захлопнула, тихо смеясь и поддразнивая, но неземным задором.

Петр был теперь заперт на ключ.

Тут он все понял: он погасил лампу и остался в совершенной темноте; когда же он подбежал к невыставленному окну, чтобы выбить стекла, у самых стекол увидел он какую-то харю, нагло глядевшую на него в упор; он увидел под окном и несколько быстро перебегающих фонарей в руках у темненьких, суетливо руками ему махавших фигурок; тогда он бросился к двери и с ужасом стал прислушиваться, и поглядывать на окна; в окнах продолжали мелькать темненькие фигурки, за стеною же все было тихо, хотя из отверстия над дверью колебалось пламя свечи; мгновенно Петр подставил к двери табурет, и, вскочив на него, высунул в отверстие голову: четыре прижатые друг к другу темных спины и четыре таких

же картузика он увидел, склоненных над дверью; лиц он не видел; отскочил, чтобы выхватить свой бульдог; и тут только вспомнил, что бульдог-то его остался в доме, вместе с палкой и сереньким пальтецом. Тогда он понял, что все кончено.

— Господи, что же это такое, что же это такое?

Закрыл пальцами лицо, отвернулся и заплакал, как покинутое дитя.

— За что?

Но голос нелукавый кротко ему ответил:

— А Катя?

Стоя в углу, он понял, что ему бесполезно сопротивляться; с молниеносною быстротой метнулась в его мозгу только одна мольба: чтобы скоро и безболезненно о н и над ним совершили то, что по имени он все еще не имел сил назвать; все еще верил он, все еще он надеялся:

— Как, через несколько кратких мгновений буду... «этим»?

Но эти несколько кратких мгновений тянулись, как тысячелетия.

— Отворяйте же скорей, отворяйте! — крикнул он не своим голосом, а внутри его все дрожало:

— Господи, что же это, Господи, такое, со мной? Что же это такое?..

Своим криком и приглашеньем н а д н и м и с п о л н и т ь з а д у м а н н о е он себе как бы сам под прожитой жизнью подписывал: «смерть».

Тогда щелкнул замок, и о н и появились; до того мгновенья о н и все еще размышляли, переступать ли им роковой порог: ведь и о н и были люди; но теперь о н и появились.

Петр видел, как медленно открывалась дверь и как большое темное пятно, топотавшее восемью ногами, вдвинулось в комнату; это он видел потому, что видимая свеча из коридора освещала им

путь; чья-то там, свечу держащая, дрожала рука. Но они еще его не видали, хотя с осторожностью двигались прямо к нему; и остановились; и чье-то над ним наклонилось лицо, обыденное до чрезвычайности и скорей испуганное, чем злое, и прошел промеж них от того лица шепот...

— За что вы это, братцы, меня?

Бац: ослепительный удар сбил его с ног; качаясь, он чувствовал, что уже сидит на корточках: бац — удар еще ослепительней; и ничего; рвануло, сорвало —

. . . .

— Давай-ка!..

— А?

— Тащи, тащи!..

«Ту-ту-ту», — топотали в темноте ноги.

— Веревку!..

— Где она?..

— Давни ошшо...

«Ту-ту-ту», — топотали в темноте ноги; и перестали топотать; в глубоком безмолвии тяжелые слышались вздохи четырех сутулых, плечо в плечо сросшихся спин над каким-то предметом; потом явственный такой будто хруст продавливаемой груди; и опять тишина...

«Ту-ту-ту», — затопотали в темноте ноги . . .

. . . .

В эфире Петр прожил миллиарды лет; он видел все великолепие, закрытое глазам смертного; и только после того уже он блаженно вернулся, блаженно глаза полуоткрыл и блаженно он видел. . . . .

. . . .

что какое-то бледное над ним склонилось лицо, темным покрытое платом; и с того лица на его грудь капали слезы, а в вознесенных руках этого

грустного лица, как водруженное распятье, медленно опускалось тяжелое серебро.

— «Родненькая сестрица», — пронеслось где-то — там.

— «Почий, братец», — отозвалось оттуда.

Она ему еще живому прикрыла глаза; он отошел; он больше не возвращался...

В хмуром, едва начинающемся рассвете, на столе плясало желтое пламя свечи; в комнатушке стояли хмурые, беззлобные люди, на полу же — судорожно дышало тело Петра; без жестокости, с непокрытыми лицами о н и стояли над телом, с любопытством разглядывая то, что они наделали: и смертную синеву, и струйку крови, сочившуюся из губы, прокушенной, верно, в горячке борьбы.

— Жив ошшо...

— Дыхает!

— Давни-ка ево...

Простертая женщина накрыла его серебряным голубем.

— Оставь: он, ведь, — наш братик!

— Нет, ён придатель, — отозвался из угла Сухоруков, свертывая цигарку.

Но она обернулась и укоризненно сказала:

— Ведь ты не знаешь: а може и он — братик.

И стоял кругом соболезнующий шепот:

— Сердешный!

— Не додавили...

— Коншается!

— Сконшался!

— Царства ему небесная!..

— Заступы-то готовы?

— Готовы.

— А куда?

— А на агород.

И явственный из угла опять-таки дошел голос:

— Еттой я ево сопсвеннай ево палкай, которую он у меня в дороге вырывал.

Одежу сняли; тело во что-то завертывали (в рогожу, кажется); и понесли.

Женщина с распущенными волосами шла впереди с изображением голубя в руках . . . . .
. . . .

Утро стояло свежее: лепетали деревья; пурпýровые нити перистых тучек, ясная кровь, проходили по небу ясными струйками.

К о н е ц

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛУГ ЗЕЛЕНЫЙ

(Фрагменты)

Вспомни, вспомни луг зеленый —
Радость песен, радость пляск.

В. Брюсов

...Или общество — машина, поедающая человечество, — паровоз, безумно ревущий и затопленный человеческими телами.

Или общество — живое, цельное, нераскрытое, как бы вуалью от нас занавешенное Существо, спящая Красавица, которую некогда разбудят от сна.

Лик Красавицы занавешен туманным саваном механической культуры, — саваном, сплетенным из черных дымов и железной проволоки телеграфа. Спит, спит Эвридика, повитая адом смерти, — тщетно Орфей сходит в ад, чтобы разбудить Ее. Сонно она лепечет:

Ты ведешь — мне быть покорной.
Я должна идти — должна.
Но на взорах облак черный,
Черной смерти пелена.

В. Брюсов

Пелена черной Смерти в виде фабричной гари занавешивает просыпающуюся Россию, эту Красавицу, спавшую доселе глубоким сном.

Только тогда, когда будет снесено все, препятствующее этому сну, Красавица сама должна вы-

брать путь: сознательной жизни или сознательной смерти, — то есть путь целесообразного развития всех индивидуальностей взаимным проникновением и слиянием в интимную, а следовательно религиозную жизнь, или путь автоматизма. В первом случае общество претворяется в общину. Во втором случае общество поедает человечество.

Еще недавно Россия спала. Путь жизни, как и путь смерти — были одинаково далеки от нее. Россия уподоблялась символическому образу спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы пытать и мучить ее в чужом замке. Пани Катерина должна сознательно решить, кому она отдаст свою душу: любимому ли мужу, казаку Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием, чтоб сохранить для своей красавицы родной аромат зеленого луга, или колдуну из страны иноземной, облеченному в жупан огненный, словно пышущий раскаленным жаром железоплавильных печей.

В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины, — Красавицы, стоящей на распутье между механической мертвенностью запада и первобытной грубостью.

У Красавицы в сердце бьется несказанное, но отдать душу свою несказанному значит взорвать общественный механизм и идти по религиозному пути для ковки новых форм жизни.

Вот почему среди бесплодных споров и видимой оторванности от жизни, сама жизнь — жизнь зеленого луга — одинаково бьется в сердцах и простых, и мудреных людей русских.

Вот село. Сельский учитель (радикал с длинными волосами) спорит яро, долго, отягощая речь иностранными словами, вычитанными из дрянной книжонки. Зевает ослабевший помещик. Зевает волостной писарь и крестит рот.

А вот вышли из душной избы на зеленый луг. Учитель взял гитару, тряхнул длинными волосами, и здоровая русская песня грянула таким раздольем, трепетом сердечным: «Каа-к в степии глу-у-хоой уу-мии-раал ямщи-ик...»

И дышит луг зеленый. И тонкие злаки, волнуясь, танцуют с цветами. И над лугом встает луна. И аромат белых фиалок просится в сердце. И вспоминается тысячелетняя жизнь зеленого луга. И забытая, мировая правда — всколыхнулась, встала, в упор уставилась с горизонта, как эта большая золотая луна.

Вспоминается время, когда под луной на зеленом лугу взвивались обнаженные юноши, целомудренно кружились, завиваясь в пляске. Бархатно-красные, испещренные пятнами, леопарды, ласково мяуча, мягко скакали вокруг юношей. И носилось над лугом бледное золото распущенных кос: то в ласковой грусти взлетали юные девушки над тонкими травами. Их серебряные хитоны, точно струи прохлады, вечно слетали, пенясь складками.

Это на зеленом лугу посвященные в жизнь несказанную вели таинственный разговор душ.

...Есть несказанные лица. Есть улыбки, невозвратные. Есть бархатный смех заликовавших о лазури уст. Есть слова, веющие ветром — сквозные, как золотое, облачное кружево на пылающем горизонте.

Есть слова тишины, в которых слышатся громы неимоверного приближения души к душе — громы вселенских полетов и молнии херувимской любви.

Когда тишина говорит на зеленом лугу и глаза передают глазам несказанное, когда люди невольно брошены в вечную глубину, к которой еще нельзя прикоснуться ни формой, ни словами, как понятен тиховейный зеленый луг, таящий воспоминания.

Помнит он песни и пляски священного экстаза, в котором глубокие души сливались с зарей и друг с другом.

Зеленый луг хранит свою тайну. Вот почему так невыразимо щемит сердце на зеленом лугу, когда ветер, блеском озаренный, уносит сердца,— и кружит, и кружит их в тихой пляске неизреченного. Еще ближе становятся охрипшие звуки гармоники и нестройная жалоба подгородных мещан, вышедших на зеленый луг вспомнить о несказанной старине в час несказанный: «Уу-ноо-сии тыы маа-ее гооо-ре быы-ии-ии-страа рее-чуушкаа с саа-боой...»

...Есть тайная связь всех тех, кто перешагнул за грань оформленного. Они знают друг друга. Пусть не знает каждый о себе, другой, взглянув на него несказанным, взволнует, откроет, укажет.

Бирюзовая сеть неба опутает сердца посвященных — бирюзовые нити навеки скрепят. Души становятся, что зори.

Душа одного — вся розовая зорька, задумчиво смеющаяся нетленной радостью. Душа другого — бархатно-пьяный закатный пурпур. А вот

душа — прекрасная шкура рыси, тревогой глянувшая с горизонта.

Когда я один, родственные мне души не покидают меня. Мы всегда совершаем полет наш — *возвращение наше* — на голубую, старинную родину, свои объятья распростершую над нами. Ты близка нам, родина, голубая, как небо, — голубая, как наши, затосковавшие о небе, души. Голубое пространство наших душ и голубое небо, нам смеющееся, — одна реальность, один символ, высветляемый зорями наших восхождений и приближений. Вижу, вижу тебя, розовая зорька — знаю, откуда ты! И душа моя, черная ласточка, канувшая в небо, с визгом несется тебе навстречу.

Я знаю, мы вместе. Мы идем к одному. Мы вечные, вольные. Души наши закружились в вольной пляске великого Ветра. Это — Ветер Освобождения.

...Россия — большой луг, зеленый. На лугу раскинулись города, селенья, фабрики.

Искони был вольный простор. Серебрилась ковыль. Одинокий казак заливался песнью, несясь вдоль пространств, над Днепром — несясь к молодой жене Катерине.

Пани Катерина, ясное солнышко, ты в терему,

Открыла веселые окна.
День смеялся и гас: ты следила одна
Облаков розоватых волокна.

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои».

Но пришел из стран заморских пан, назвавшийся отцом твоим, Катерина, — казак в крас-

ном жупане; пришел и потянул из фляжки черную воду, и вот стали говорить в народе, будто колдун *опять* показался в этих местах. И все предались болезненным снам. И сама Ты заснула в горнице, пани Катерина, и вот чудится тебе, будто пани Катерина пляшет на зеленом лугу, озаренная красным светом месяца — то не месяц, то старый пан, пан отец — казак, в красном, задышавшем пламенем жупане, на нее уставился.

Эй, берегись...

Пани Катерина, безумная, что завертелась бесцельно в степи, одна, когда муж твой лежит неотомщенный, простреленный на зеленых лугах? Он защищал родные луга от поганого нашествия.

Эй, безумная, ну чего ты пляшешь, когда дитя твое, твоя будущность — задушена?..

Но нет, еще есть время, сонная пани: еще жив твой муж, еще дитя твое — твоя будущность не погибла, а ты пляшешь во сне, озаренная красным светом месяца... То не месяц: то неведомый казак, тебе из заморских стран ужас приносящий... Вот покрывает он зеленые луга сетью мертвых городов; вот занавешивает небо черным пологом фабричных труб — не казак, а колдун, отравляющий свободный воздух родного неба — души.

Россия, проснись: ты не пани Катерина — чего там в прятки играть! Ведь душа твоя Мировая. Верни себе Душу, над которой надмевается чудовище в огненном жупане: проснись, и даны тебе будут крылья большого орла, чтоб спасаться от страшного пана, называющего себя твоим отцом.

Не отец он тебе, казак в красном жупане, а оборотень — Змей Горыныч, собирающийся похитить тебя и дитя твое пожрать.

Верю в Россию. Она — будет. Мы — будем. Будут люди. Будут новые времена и новые пространства. Россия — большой луг, зеленый, зацветающий цветами.

Когда я смотрю в голубое небо, я знаю, что это — небо моей души. Но еще полней моя радость от сознания, что небо моей души — родное небо.

Верю в небесную судьбу моей родины, моей матери.

Мы пока молчим. Мы о будущем. Никто нас не знает, но мы знаем друг друга — мы, чьи новые имена восходят в душах вечными Солнцами. Голубое счастье нам открыто, и в голубом счастье тонут, визжат, и кружатся, и носятся — ласточки...

Мы говорим о пустяках, но наши души — души посвященных в тишину — вечно улыбаются друг другу.

И зеленый луг хранит воспоминания. И сидишь, успокоенный, на зеленом лугу. Там... из села, раздаются звуки гармоники, и молодые голоса заливаются тоской на зеленом лугу:

«Кааак в стее-пии глуу-хоой паа-мии-раал ям-щиик».

ГОГОЛЬ

1

Самая родная, нам близкая, очаровывающая душу; и все же далекая, всё еще не ясная для нас, песня — песня Гоголя.

И самый страшный, за сердце хватающий смех, звучащий, будто смех с погоста, и все же тревожащий нас, будто и мы мертвецы, — смех мертвеца, смех Гоголя!

«Затянутая вдали песня, пропадающий далече колокольный звон... горизонт без конца... Русь! Русь!» («Мертвые души») и тут же строкой выше в *«полях неоглядных», «солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью «такой-то артиллерийской батареи»* («Мертвые души»). Два зрения, две мысли; но и два творческих желания; вот одно: *«Облечь ее в месячную чудную ночь и ее серебряное сияние, и в теплое роскошное дыхание юга. Облить ее сверкающим потоком солнечных ярких лучей, и да исполнится она нестерпимого блеска»* («Размышления «pro domo sua» по поводу ненаписанной драмы»). А другое желание заключалось в том, чтобы *«дернуть»* эдак многотомную историю Малороссии без всяких данных на это.

«Глаза... с пением вторгавшиеся в душу» («Вий»). Всадник *«отдающийся»* (вместо «отражающийся») в водах («Страшная месть»). «Полночное сиянье... *дымилось* по земле» («Вий»). *«Блистательная* песня соловья» («Майская ночь»). «Волосы, будто *светло-серый туман»* («Страшная месть»). «Дева светится сквозь воду, *как будто бы сквозь стеклянную рубашку»* («Страшная месть»). «Из глаз *вытягиваются клещи»* («Страшная месть»). *«Девушки... в белых, как убранный ландышами луг, рубашках»* и с телами, *«сваянными из облаков»*, так что тела просвечивали месяцем («Майская ночь»). Быть может, чрез миг *ландышевая* белизна их рубашек станет *стеклянной* водой, проструится ручьем, а ручей изойдет дымом, или оборвется над камнем пылью у Гоголя, как валится у него серой пылью вода («Страшная месть»), чтобы потом засеребриться, как *волчья шерсть* («Страшная месть»), или под веслами

сверкнуть, как *из-под огнива огнем* («Страшная месть»).

Что за образы? Из каких невозможностей они созданы? Все перемешано в них: цвета, ароматы, звуки. Где есть смелее сравнения, где художественная правда невероятней? Бедные символисты: еще доселе упрекает их критика за «голубые звуки»: но найдите мне у Верлэна, Рембо, Бодлера образы, которые были бы столь невероятны по своей смелости, как у Гоголя. Нет, вы не найдете их: а, между тем, Гоголя читают и не видят, не видят доселе, что нет в словаре у нас слова, чтобы назвать Гоголя; нет у на способов измерить все возможности, им исчерпанные: мы еще не знаем, что такое Гоголь; и хотя не видим мы его подлинного, все же творчество Гоголя, хотя и суженное нашей убогой восприимчивостью, ближе нам всех писателей русских XIX столетия.

Что за слог!

Глаза у него с пеньем вторгаются в душу, а то вытягиваются клещами, волосы развиваются в бледно-серый туман, вода — в серую пыль; а то вода становится стеклянной рубашкой, отороченной волчьей шерстью — сиянием. На каждой странице, почти в каждой фразе перехождение границ того, что есть какой-то новый мир, вырастающий из души в *«океанах благоуханий»* («Майская ночь»), в *«потопах радости и света»* («Вий»), в «вихре веселья» («Вий»). Из этих вихрей, потопов и океанов, когда деревья шепчут свою *«пьяную молвь»* («Пропавшая грамота»), когда в экстазе человек, как и птица, летит... *«и казалось... вылетит из мира»* («Страшная месть»), рождались песни Гоголя; тогда хотелось ему песню свою *«облечь... в месячную чудную ночь...* облить ее сверкающим потоком солнечных ярких лучей, и да исполнится

она нестерпимого блеска» (из «Набросков» Гоголя). И Гоголь начинал свое мироздание: в глубине души его — рождалось новое пространство, какого не знаем мы; в потопах блаженства, в вихрях чувств извергалась лава творчества, застывая *«высоковерхими»* горами, зацветая лесами, лугами, сверкая прудами: и те горы — не горы: «не задорное ли море выбежало из берегов, вскинуло вихрем безобразные свои волны, и они, окаменев, остались неподвижными в воздухе» («Страшная месть»). *«Те леса — не леса... волосы поросшие на косматой голове деда»* («Страшная месть»); *«те луга — не луга... зеленый пояс — перепоясавший небо»* («Страшная месть»); и пруд тот — не пруд: *«как бессильный старец держал он в холодных объятиях своих далеко темное небо, осыпая ледяными поцелуями огненные звезды...»* («Майская ночь»). Вот какова земля Гоголя, где леса — борода деда, где луга — пояс, перерезавший небо, где горы — застывшие волны, а пруд — старец бессильный, обнимающий небо. А небо?.. В «Страшной мести» у Гоголя оно (небо) наполняет комнату колдуна, когда колдун вызывает Катеринину душу; само небо исходит из колдуна, как магический ток — так вот какое небо у Гоголя: колдовское небо: и на этом-то небе возникает у него земля — колдовская земля: оттого-то лес оказывается головой деда, и даже из печной трубы «делается ректор»; таковы же у Гоголя и дети этой земли — страшные дети земли: это или колдун, или Вий, или панночка, тела их сквозные, сваянные из облаков; даже свиньи на этой странной земле, по меткому наблюдению Эллиса, — *«поводят очами»:* та земля — не земля: то облачная гряда, пронизанная лунным сиянием; замечтайся — и мечта превратит тебе облачное очер-

танье по воле твоей и в русалку, и в черта, и в град новый — и ты найдешь здесь сходство, хоть с Петербургом.

Нестерпимого блеска песнь Гоголя; и свет этой песни создал ему новую, лучшую землю, где мечта — не мечта, а новая жизнь. Песни его — *сиянье, «как сквозное покрывало, ложилось легко»* (Вий») на землю, по которой ходил Гоголь; *«дамасскою дорогой и белой, как снег, кисеею»* («Страшная месть») закутал Гоголь от нас, от себя подлинную землю; и складки этой кисеи рождали, будто из облаков *сваянные,* преображенные тела летающих панночек. Действительность в первый период творчества является у Гоголя часто под романтической вуалью из месячных лучей; потому что действительность у него подобна той даме, которой наружность выносима только под вуалью; но вот срывает Гоголь вуаль со своей дамы — посмотрите, во что превращает действительность Гоголь: «Погонщик скотины испустил такой смех, как будто бы два быка один против другого замычали разом» («Вий»). «Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова у Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх»... «У Ивана Ивановича... глаза табачного цвета, и рот... несколько похож на букву ижицу; у Ивана Никифоровича... нос в виде спелой сливы...» «Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья, так сказать... А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран, и нелегкая подстрекни его заблеять» («Тяжба»).

Вот так действительность! После сваянных из облачного блеска тел выползают у него бараньи хари, мычащие на нас, как два быка, выползают редьки с хвостами вверх и вниз, с табачного цвета

глазами и начинают не ходить, а шмыгать, семенить — бочком-бочком; и всего ужасней то, что Гоголь заставляет их изъясняться деликатным манером; эти *«редъки»* подмигивают табачного цвета глазками, пересыпают речь словечками «изволите ли видеть», и докладывает нам о них Гоголь не просто, а со странной отчаянной какой-то веселостью; у заседателя нижняя часть лица не баранья, а *«так сказать»* баранья — *«так сказать»*, от незначительного обстоятельства: оттого, что в момент появления заседателя на свет баран подошел к окну: ужасное *«так сказать»*. Здесь Гоголя называют реалистом, — но помилуйте, где же тут реальность: перед нами не человечество, а дочеловечество; здесь мир населяют не люди, а редьки; во всяком случае этот мир, на судьбы которого влияет баран, подошедший к окну, пропавшая черная кошка («Старосветские помещики»), или «гусак» — не мир людей, а мир зверей.

А все эти семенящие, шныряющие и шаркающие Перепенки, Голопупенки, Довгочхуны и Шпоньки — не люди, а редьки. Таких людей нет: но в довершении ужаса Гоголь заставляет это *зверьё* или *репьё* (не знаю, как назвать) танцевать мазурку, одолжаться табаком и даже более того, — испытывать мистические экстазы, как испытывает у него экстаз одна из редек — Шпонька, глядя на вечереющий луч; даже более того: амфибии или рептилии у него покупают человеческие души. Но под какими небесами протекает жизнь этих существ? *«Если бы... в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом»*, — замечает Гоголь в одном месте. *«Темно и глухо* (в ночи), *как в винном погребе»* («Пропавшая грамота»). Гоголь умел растворять небо восторгом души и даже за небом провидел что-то, потому что герои его соби-

рались разбежаться и вылететь из мира; но Гоголь знал и другое небо, как бараний тулуп и как крышка винного погреба. И вот, едва снимает он с мира кисею своих грез, и вы оказываетесь уже не в облаках, а здесь, на земле, как это *«здесь»* земли превращается в нечто под бараньим тулупом, а вы — в клопа или блоху, или (еще того хуже) — в редьку, сохраняемую в погребе.

И уже другая у Гоголя начинается сказка, обратная первой. Людей — не знал Гоголь. Знал он великанов и карликов; и землю Гоголь не знал тоже — знал он *«сваянный»* из месячного блеска туман или черный погреб. А когда погреб соединял он с кипящей месячной пеной туч, или когда редьку соединял он с существами, летающими по воздуху, — у него получалось странное какое-то подобие земли и людей; та земля — не земля: земля вдруг начинает убегать из-под ног; или она оказывается гробом, в котором задыхаемся мы, мертвецы; и те люди — не люди; пляшет казак — глядишь: изо рта побежал клык; уплетает галушки баба — глядишь: вылетела в трубу; идет по Невскому чиновник — смотрит: ему навстречу идет собственный его нос. И как для Гоголя знаменательно, что позднейшая критика превратила Чичикова — этого самого реального из его героев — не более не менее, как в черта; где Чичиков — нет Чичикова; есть *«немец»* со свиным рылом, да и то в небе: ловит звезды, и уже покрался к месяцу. Гоголь оторвался от того, что мы называем действительностью. Кто-то из-под ног его выдернул землю: осталась в нем память о земле: земля человека разложилась для него в эфир и навоз; а существа, населяющие землю, превратились в бестелесные души, ищущие себе новые тела: их тела — не тела: облачный туман, пронизанный

месяцем; или они стали человекообразными *редь-ками,* вырастающими в навозе. И все лучшие, человеческие чувства (как-то: любовь, милосердие, радость) отошли для него в эфир: характерно, что мы не знаем, кого из женщин любил Гоголь, любил ли? Когда он описывает женщину — то или виденье она, или холодная статуя с персями, *«матовыми, как фарфор, непокрытый глазурью»,* или похотливая баба, семенящая ночью к бурсаку. Неужели женщины нет, а есть только *баба,* или русалка, с *фарфоровыми персями,* сваянная из облаков?

Когда он учит о человеческих чувствах, — он резонирует и даже более того: столоначальнику советует помнить, что он — как бы чиновник небесного стола, а в николаевской России провидит он как бы *«град новый, спускающийся с неба на землю».*

Радость — радуется ли Гоголь? нет, темнеет с годами лицо Гоголя: и умирает Гоголь со страху.

Невыразимые, нежные чувства его: уже не любовь в любовных его грезах — какой-то мировой экстаз, но экстаз невоплотимый; зато обычные чувства людей для него — чувства подмигивающих друг другу шпонек и редек. И обычная жизнь — сумасшедший дом. «Мне опротивела пьеса («Ревизор»), — пишет Гоголь одному литератору: — я хотел бы убежать теперь...» «Спасите меня! Дайте мне тройку, как вихорь, коней!.. Садись, мой ямщик... взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего...» («Записки сумасшедшего»).

Но должен ли Гоголь в этом мире своих редек и блистающих на солнце тыкв с восседающим среди оных *Довгочхуном* воскликнуть вместе со своим сумасшедшим: «Далее, далее — чтобы не было видно ничего...»?

2

Я не знаю, кто Гоголь: реалист, символист, романтик или классик. Да, он видел все пылинки на бекеше Ивана Ивановича столь отчетливо, что превратил самого Ивана Ивановича в пыльную бекешу: не увидел он только в Иване Ивановиче человеческого лица; да, видел он подлинные стремленья, чувства людские, столь ясно глубокие разглядел несказанные корни этих чувств, что чувства стали уже чувствами *нечеловеков*, а каких-то еще невоплощенных существ: летающая ведьма и грязная баба; Шпонька, описанный как овощ, и Шпонька, испытывающий экстаз, — несоединимы; далекое прошлое человечества (зверье) и далекое будущее (ангельство) видел Гоголь в настоящем; но настоящее разложилось в Гоголе. Он еще не святой, уже не человек. Провидец будущего и прошлого зарисовал настоящее, но вложил в него какую-то нам неведомую душу. И настоящее стало прообразом чего-то... но чего?

Говорят, реалист Гоголь: да. Говорят, символист он — да. У Гоголя леса — не леса; горы — не горы; у него русалки с облачными телами; как романтик, влекся он к чертям и ведьмам и, как Гофман и По, в повседневность вносил грезу. Если угодно, Гоголь — романтик; но вот сравнивали же эпос Гоголя с Гомером?

Гоголь гений, к которому не подойдешь со школьным определением; я имею склонность к символизму; следственно мне легче видеть черты символизма Гоголя; романтик увидит в нем романтика; реалист — реалиста.

Но подходим мы не к школе, — к душе Гоголя; а страдания, муки, восторги этой души на таких вершинах человеческого (или уже сверх-

человеческого) пути, что кощунственно вершины эти мерять нашим аршином; и аршином ли измерять высоту заоблачных высот и трясину бездонных болот? Гоголь — трясина и вершина, грязь и снег; но Гоголь уже не земля. С землей у Гоголя счеты; земля совершила над ним свою *страшную месть.* Обычные у нас чувства — не чувства Гоголя: любовь — не любовь; веселье — и не очень веселье; смех — какой там смех: просто рев над бекешей Ивана Ивановича и притом такой рев, как будто *«два быка, поставленные друг против друга, замычали разом».* Смех Гоголя переходит в трагический рев, и какая-то ночь наваливается на нас из этого рева: *«И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю, — и вот тьма и горе, и свет померк в облаках»,* — говорит Исаия (V, 30). Гоголь подошел к странному какому-то рубежу жизни, за которым послышался ему рев; и этот рев превратил Гоголь в смех; но смех Гоголя — колдовской; взглянет на землю Гоголь, рассмеется — *«и вот тьма и горе»,* хотя солнце сияет, *«ряды фруктовых деревьев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом».* Так прибирает поверхность земли Гоголь сказочным великолепием в своих реалистических рассказах (как, например, в «Старосветских помещиках»). Но за этим великолепием, как за неким ковром золотым, накинутым над бездной ужаса, *«бездна»,* по слову пророка Аввакума, для Гоголя *«дала голос свой, высоко подняла руки свои»* (Аввакум, III, 10). И вот вслед за описанием мертвой жизни Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, — описанием, в котором, казалось бы, нет ничего таинственного, описанием, в котором все ясно, как днем, где жизнь их озарена великоле-

пием идиллии, как залит их сад *багрянцем вишен и яхонтовым морем слив,* — даже за этим великолепием золотого полудня посещает Гоголя *бездна* страха, как и Пульхерию Ивановну посещает *бездна* в образе *черной кошки.* И тут же, обрывая идиллию, Гоголь нам признается: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась с человеком... Я помню, что в детстве я часто его слышал... День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик переставал трещать; ни души в саду. Но признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня» («Старосветские помещики»). Этот страх полудня, когда земная отчетливость явлений выступает с особенной ясностью, другие называли паническим ужасом; и в Библии отмечен ужас этот: *«Избавъ нас от беса полуденна».* Великий Пан или бес (не знаю кто) из лесных дебрей души подымал на Гоголя лик свой, и, ужаснувшись этого лика, Гоголь изнемогал в полуденной тишине среди яхонтовых слив, дынь, редек и Довгочхунов; и в каждом Довгочхуне виделся Гоголю Басаврюк, и каждый чиновник именно *днем,* а не ночью становился для него *оборотнем.*

Но почему же? Дневное приближение *бездны* духа к поверхностям дневного сознания, рев ее (*«и заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря»*) в солнечной тишине — обычное состояние высокопросвещенных мистов. Все мистерии начинались в древности страхом (*бездна*

развертывалась под ногами посвящаемого в мистерии в Египте, *бездна* выпускала оборотней с песьими головами пред посвящением в эпопты на больших мистериях Елевзиса), и этот страх переходил в восторг, в состояние, которое являет мир совершенным и которое Достоевский называет «минутой вечной гармонии» — минутой, в которую испытываешь перерождение души тела, и она разрешается подлинным преображением (Серафим), подлинным безумием (Ницше), или подлинною смертью (Гоголь). Да: в образах своих, в своем отношении к земле Гоголь уже перешел границы искусства; бродил в садах своей души, да и набрел на такое место, где уже сад не сад, душа не душа; углубляя свою художественную стихию, Гоголь вышел за пределы своей личности и вместо того, чтобы использовать это расширение личности в целях искусства, Гоголь кинулся в бездну своего «я» — вступил на такие пути, куда нельзя вступать без определенного оккультно разработанного пути, без опытного руководителя; вместо того, чтобы соединить эмпирическое «я» свое с «я» мировым, Гоголь разорвал связь между обоими «я» и черная бездна легла между ними; одно «я» ужасалось созерцанием шпонек и редек, другое «я» летало в неизмеримости миров — там за небесным сводом; между обоими «я» легло мировое пространство и время биллионами верст и биллионами лет. И вот, когда наступал зов души («вам, без сомнения, случалось слышать голос, называющий вас по имени, которой... объясняют тем, что душа стосковалась с человеком») — когда наступал этот зов, черная бездна пространств и лет, разделявшая оба «я» Гоголя, разрывала перед ним покров явлений и он слышал «как бы рев разъяренного моря».

«Признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня среди... леса, я бы не так испугался», — вздыхает Гоголь; оттого-то метался он безвыходно — все искал *посвященного в тайны*, чтобы тот спас его, и напал на о. Матвея; что мог сделать о. Матвей? Он не мог понять Гоголя. Самый кроткий и доброжелательный человек, не глядящий туда, куда глядел Гоголь, мог бы лишь погубить его. Гоголь взлетел на крыльях экстаза, и даже вылетел из мира, как безумная пани его, Катерина, которая *«летела... и казалось... вылетит из мира»*. Вылетела, и сошла с ума, как вылетел Гоголь уже тогда, когда кричал устами своего сумасшедшего: *«Несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего»*. Далее — по слову Исаии: *«И вот — тьма, горе и свет померк в облаках»* (V, 30). Гоголю следовало бы совершить паломничество к фолиантам Беме, к древним рукописям востока: Гоголю следовало бы понять прежде всего, что тому, *в чем он*, есть объяснения; тогда понял бы он, что, может быть, найдутся и люди, которые могут исправить страшный вывих души его; но у Гоголя не было терпения *изучать*, и потому-то искал он руководителя вовсе не там, где следовало; не изучал Гоголь восточной мистической литературы — не изучал вообще ничего: хотел *«дернуть»* историю Малороссии, эдак томов шестнадцать. Между тем, Фалес и Платон путешествовали в Египет: в результате — учение Платона об идеях и душе — той *душе*, которая, стосковавшись с телом, зовет человека (и Гоголь этот зов слышал). Учение Платона — только внешнее изложение мудрости Тота-Гермеса; оно опирается на мистерии, как опирается на *Иогу* учение некоторых школ Индии об Алайе (душа мира, с

которой соединяет свое «я» посвященный). *Душа* стосковалась по Гоголю; Гоголь стосковался по *душе* своей, но *бездна* легла между ними: и свет для Гоголя померк. Гоголь знал мистерии восторга, и мистерии ужаса — тоже знал Гоголь. Но мистерии любви не знал. Мистерию эту знали посвященные; и этого не знал Гоголь; не знал, но заглядывал в сокровенное.

Восторг его — дикий восторг; и вдохновений сладость — дикая сладость: и уста — не улыбаются, а *«усмехаются смехом блаженства»*. Пляшет казак — вдруг *«изо рта выбежал клык»* («Страшная месть»). *«Рубины уст прикипают кровью к самому сердцу»* (не любовь — вампирство какое-то). Во всем экстазе, преображающем и Гоголя, и мир («травы казались дном какого-то светлого... моря») («Вий») — во всем этом экстазе *«томительное, неприятное и вместе сладкое чувство»* («Вий»), или *«пронзающее, томительное сладкое наслаждение»* («Вий») — словом *«бесовски сладкое»* («Вий»), а не божественно сладкое чувство. И оттого преображенный блеск природы начинает пугать; и *«Днепр»* начинает серебриться *«как волчья шерсть»* (почему *«волчья»*?). А когда преображается земля, так что изменяются пространства (под Киевом *«засинел Лиман, за Лиманом... Черное море... Видна была земля Галичская»*), почему *«дыбом поднимаются волосы»*, а *«бесовски сладкое»* чувство разрешается тем, что конь заворачивает морду, и — чудо! — смеется? Не мистерией любви разрешается экстаз Гоголя, а дикой пляской; не в любви, а в пляске безумия преображается все: подлинно — в заколдованном месте Гоголь: «и пошел... вывертывать ногами по всему гладкому месту... сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего... вокруг

провалы; под ногами круча без дна; над головой свесилась гора... из-за нее мигает какая-то харя» («Заколдованное место»). Душа позвала человека — восторг, пляска: а в результате: круча без дна да какая-то харя. И только? Так всегда у него: Хома Брут тоже *пошел писать* с панночкой на спине, а потом рев: «приведите Вия». И Вий, дух земли, которую оклеветал Гоголь, указывает на него: «вот он»; и превращенные Гоголем в нечистей люди бросаются на Хому-Гоголя; и убивают его; это потому, что имел Гоголь видение, Лик, но себя не преобразил для того, чтоб безнаказанно видеть Лик, слушать зов Души любимой, чей голос по слову Откровения *«подобен шуму вод многих»;* этот шум стал для Гоголя *«ревом»*, блеск преображения — *«волчьей шерстью»*, а Душа — *«Ведьмой»*. Оборотни вместе с Гекатой не трогали посвящаемых в Мистерии, выходя из элевзинского храма. И они грызли Гоголя, как грызли мертвецы колдуна. И Лик, виденный Гоголем, не спас Гоголя: этот Лик стал для него *«всадником на Карпатах»*. От него убегал Гоголь: «В облаке пред ним светилось *Чудное лицо*. Непрошенное, незванное, явилось оно к нему в гости... И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него» («Страшная месть»). И в ясный солнечный день Гоголь дрожал, потому что казалось ему, что *«мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем»* («Страшная месть»). Это — тень *чудного лица,* которое, несмотря на то, что оно — *чудное,* ужасало Гоголя всю жизнь: это потому, что мост любви, преображающий землю, рухнул для Гоголя и между *Ликом Небесным* и им образовалась черная, ревущая бездна, которую занавесил Гоголь смехом, отчего смех превратился в рев, *«как буд-*

то два быка, поставленные друг против друга, заревели разом». Бездны боялся Гоголь, но смутно помнил (не сознанием, конечно), что за *«бездной этой»* (за миллиардами верст и лет) милый голос, зовущий его: не пойти на зов не мог Гоголь: пошел — и упал в бездну: мост любви рухнул для него, а перелететь через бездну не мог Гоголь; он *влетел в нее, вылетев из мира* (как могли влететь в бездну неофиты, проходящие испытания). Гоголя удручает какое-то прошлое, какое-то предательство земли — грех любви (недаром мы ничего не знаем об увлечениях этой до извращенности страстной натуры). *«Спасите меня!.. И несите с этого света! Далее, чтобы не видно было ничего»*. Ничего: ни шпонек, ни земли, ни Лика.

«Божественная ночь! Очаровательная ночь!» («Майская ночь»). «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи», — восхищается Гоголь. И подлинно: многие ли знают такие ночи, когда воды превращаются в сверкающую *«волчью шерсть»*, а травы кажутся *«дном... какого-то светлого моря»*? И все же чудится нам, что этот восторг и радость эта — «к худу»: и все такие ночи худо кончались для Гоголя. Наконец, Гоголь не захотел уже ни дней с зовом, ни ночей «с волчьей шерстью»; закричал: *«Далее! Далее, чтобы не видно было ничего»*.

Любит Гоголь Россию, страну свою, как любовник любимую, ее любит Гоголь: *«Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?»* («Мертвые души»). Какую-то неведомую никому Россию любит Гоголь; любит Гоголь Россию странной любовью: она для него — как для колдуна дочь его, Катерина; над ней колдует Гоголь: *«Что глядишь ты так?.. Неестественной властью осветились мои очи...»* Что за тон,

что за ревнивая властность — Гоголь заклинает Россию; она для него — образ всю жизнь неведомой ему, и все же его любовницы. Не той ли же властью светятся очи Гоголя, какой осветились очи старика-отца в «Страшной мести»: *«чуден показался ей* (Катерине или России?) *странный блеск очей...» «Посмотри, как я поглядываю на тебя очами»,* — говорит колдун, являясь во сне дочери. *«Посмотри, как я поглядываю на тебя очами»,* — как бы говорит Гоголь, являясь нам во сне русской жизни (русская жизнь — самый удивительный сон): *«Сны много говорят правды»* («Страшная месть»). И какой-то вещей, едва уловимой во сне *правдой* обращается Гоголь к спящей еще доселе, земле русской. «Русь!.. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе?.. Какая непостижимая связь таится между нами?.. Неестественной властью осветились мои очи...» Непостижимо, неестественно связан с Россией Гоголь, быть может, более всех писателей русских, и не с прошлой вовсе Россией он связан, а с Россией сегодняшнего, и еще более завтрашнего дня.

Разве не сон все, что происходит с нами, с землей, нашей родиной; еще недавно странным блеском озарилась страна родная, так что из Москвы стали видны и Лиман, и Черное море, и всадник неведомый. А теперь, даже в солнечный день, когда и туч нет, чья-то мелькает страшная тень: тень ужасной, из глубины души, из глубины земли идущей провокации. Все стало дико и непонятно; и страна наша в смертельной тоске: и здесь и там идет дикая пляска странного веселья, странного забвенья. И, как горы Карпатские, тучи бед нависают над нами: на горах тех — мститель неведомый. И странный в глубине души

поднимается вопль: Русь! Чего ты хочешь от нас? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце?.. Не знаем... А что-то зовет и рыдает: и хватает за сердце.

Пред завесою будущего мы, словно неофиты пред храмом: вот разорвутся завесы храма — что глянет на нас: Геката и призраки? Или Душа нашей родины, Душа народа, закутанная в саван?

Гоголь прежде всех подошел к мистерии этой; и встал перед ним мертвец. Умер Гоголь.

А теперь мы стоим пред тем же видением — видением Смерти. И потому-то видение Гоголя ближе нам всего, что сказано о нас и родине нашей. Мы должны помнить, что покрывало Смерти спадет лишь тогда, когда мы души наши очистим для великой мистерии: мистерия эта — служение родине, не только в формах, но и в духе и истине. Тогда спадет с нее саван, явится нам душа наша, родина.

3

Касаясь Гоголя, невозможно не сказать хотя бы двух слов о его слоге. Можно написать многотомное исследование о стиле и слоге гоголевских творений. И как реализм Гоголя слагается из двух сказок о дочеловеческой и сверхчеловеческой земле, так и естественная плавность его слога слагается тоже из двух неестественностей. Она слагается из тончайшей ювелирной работы над словом, и притом такой, что остается совершенно непонятным, как мог Гоголь, нагромождавший чудо технического искусства на чуде, так что ткань его речи — ряд технических фокусов — как мог Гоголь именно при помощи этих фоку-

сов выражать экстаз души живой? Такова одна сторона гоголевской стилистики, перебиваемая подчас грубым (даже не грамматическим) оборотом речи или совершенно грубым, нелепым и даже пошлым приемом. Такие ничего не говорящие эпитеты, как *«чудный», «роскошный», «очаровательный»,* пестрят слог Гоголя и сами по себе ничего не выражают, но в соединении с утонченнейшими сравнениями и метафорами придают особое обаяние слогу Гоголя. Кто не помнит поразительной повести о капитане Копейкине; но потрудитесь вглядеться, в чем технический фокус этого приема: совершенно банальное изложение злоключений несчастного капитана перебивается буквально через два слова вставкой выражений *«изволите ли видеть», «так сказать»* и т. д.

Именно этим грубым приемом достигает Гоголь ослепительной выразительности. Слог Гоголя одновременно и докультурный, и вместе с тем слог Гоголя превосходит в своей утонченности не только Уайльда, Рембо, Сологуба и других «декадентов», но и Ницше подчас.

Все те приемы, которые характеризуют лучших стилистов нашего времени (именно как стилистов *нашего* времени), налицо у Гоголя.

Во-первых, обилие аллитераций в прозе.

«*С*ветлый *с*ерп *с*ветил» («Вий»). *«Вихрь веселья»* («Вий»). *«Усмех*нуться *смех*ом» («Вий») (здесь аллитерация соединяется с усилением глагола *«усмехнуться»* существительным *«смехом»*). «В ее чертах ничего не было *ту*склого, *му*тного, *ум*ершего» («Вий»). (Здесь *«ту» «ут»* и одновременно *«му» «ум».*) *«Как кло*котанье *ки*пящей смолы» («Вий»). *«Кр*углый и *кр*епкий стан»

(«Вий»). *«Костяные когти»* («Вий»). «*Острые* очи не *открывались»* («Страшная месть») и т. д.

Во-вторых, изысканность расстановки слов.

1) Разделение существительного от прилагательного вставочными словами; некоторые наивные критики вменяют в вину такому тонкому стилисту, как Сологуб, то, что он пользуется этим, якобы модернистическим приемом (*«тяжелые* на его грудь положил *лапы»*). А вот вам наудачу из Гоголя: «*Поглощенные* ночным мраком *луга»* («Вий»). «*Блестели* золотые главы *вдали* киевских церквей» («Вий») (вместо: *«вдали блестели»*). «Он *не утерпел*, уходя, *не взглянуть»* («Вий»). «Страшную муку, видно, терпел он» («Страшная месть») (вместо: «Он, видно, терпел страшную муку») и т. д.

2) Сложные эпитеты также употреблял Гоголь в изобилии: *«белопрозрачное небо»*, *«сутозолотая парча»*, *«длинношейный гусь»*, *«высоковерхие горы»*.

3) Иногда эпитеты эти дерзки до чрезвычайности: *«оглохлые стены»*, *«поперичивающее себе чувство»*, *«ключевой холод»* и т. д.

4) Характерны глаголы Гоголя; в употреблении их мы усматриваем самый откровенный импрессионизм: *«Перси просвечивали»* («Вий»); *«Сияние дымилось»*; *«Вопли... едва звенели»*; *«Голос одиноко сыпался»*; *«Слова... всхлипывали»*; *«Валится... вода»*; *«Холод прорезался в казацкие жилы»*; *«Сабли... звукнули»*; *«Запировал пир»*; *«Шумит, гремит конец Киева»*; *«Гора за горой... обковывают землю»*; *«Очи выманивают душу»*; *«Перепел... гремит»*; *«Пламя... выхватывалось»* и т. д.

5) Я не говорю уже о сравнениях Гоголя; иногда целыми страницами идет описание того, с

чем сравнивается предмет, который иной раз вовсе не описан. Я не стану утруждать внимание примерами. Достаточно привести одну фразу: *«Слышался шум* (какой же шум?)... *Будто ветер* (1-ая степень определения шума); но не просто ветер, а *«ветер в тихий час вечера»* (2-ая степень определения); этот *«ветер»* — *«наигрывал, кружась, по водному зеркалу»* (3-я степень определения шума) и не просто *«ветер наигрывал, кружась»*, а — *«нагибая еще ниже в воду серебряные ивы»* (4-ая степень определения). С одной стороны — *«шум»*, а с другой стороны тончайший анализ (*какой именно* шум). Никто после Гоголя не выбирал таких изысканных сравнений. Характерна для Гоголя трехчленная форма сравнения: «Те луга (1) — не луга (2): то — зеленый пояс» (3) и т. д.

6) У Сологуба характерно скопление многих глаголов, существительных, прилагательных; у Гоголя то же: *«Степь краснеет, синеет, горит цветами»* («Иван Федорович Шпонька»). Или: *«Перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик, и вдруг стройный хор»* (там же). «*Пошли писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни, с самоварами, бабами»*... («Мертвые души»). «Городишки... с *лавчонками, мучными бочками, каланчами... Зеленые, желтые и свежеразрезанные черные полосы»* («Мертвые души»).

7) Особенно характерно для Гоголя повторение одного и того же слова, параллелизмы и полупараллелизмы (иногда замаскированные): «В старину *любили* хорошенько поесть, *еще лучше любили* попить, *а еще лучше любили* повеселиться» («Страшная месть»). «Пировал до позд-

ней ночи и *пировал* так, как теперь уж не *пируют*» («Страшная месть»). *«Из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок»* (здесь параллелизм выдержан до конца). «Под потолком мелькают нетопыри... и тень от них мелькает по стенам» (замаскированный параллелизм).

8) Иногда расстановка слов или параллелизм достигаются необычайной утонченности: «*Снилось мне, чудно,* право *и так живо, снилось мне*» («Страшная месть»). «Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий дождь сеялся на поля, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна». (Здесь двойной параллелизм формы и смысла: параллель в расположении фраз и одновременно параллель между погодой и состоянием души пани Катерины: *«Блеснул день» — «проснулась пани Катерина»; «но не солнечный день» — «но не радостна»; «небо хмурилось» — «очи заплаканы»; «и тонкий дождь сеялся» — «и вся она смутна».)* Или: *«Муж мой милый, муж дорогой»* (пропуск местоимения «мой» усиливает лиризм фразы) и т. д.

9) Иногда параллелизм у Гоголя только подразумевается: «А из окошка далеко блестят горы и Днепр; за Днепром синеют леса... Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило (*фигура нарастания*): глядит он на выдавшийся мыс»... («Страшная месть»).

10) Иногда изысканность формы переходит все пределы, и вот тогда-то ударит по нашим нервам Гоголь намеренно банальной риторикой: *«Божественная ночь! Очаровательная ночь!»* Но странно: именно эта риторика после тончайших красочных сочетаний, после тончайших извивов

фразы загорается невероятным блеском совершенства, и нам начинает казаться, что нет ничего проще, естественней прозы Гоголя; но то — обман.

Я не могу перечислить здесь и сотой части всех тех сознательных ухищрений, к которым прибегает стилистика Гоголя. Знаю только одно: в стилистике этой отражается самая утонченная душа XIX столетия. Нечеловеческие муки Гоголя отразились в нечеловеческих образах; а образы эти вызвали в творчестве Гоголя нечеловеческую работу над формой.

Быть может, Ницше и Гоголь — величайшие стилисты всего европейского искусства, если под стилем разуметь не слог только, а отражение в форме жизненного ритма души.

КОММЕНТАРИИ

Печатается по тексту первого отдельного издания: Белый А. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. М., Скорпион, 1910.

«Серебряный голубь» был задуман А. Белым около 1907 г., что подтверждают заметки в периодике того времени и некоторые архивные материалы. Однако, основываясь на признаниях самого писателя, систематический труд над повестью следует отнести только к 1908 г. Воплощению замысла во многом содействовал сблизившийся в этот период с Белым, известный историк литературы и критик М. О. Гершензон, который предоставил ему обширную литературу о сектантах (книги Пругавина, Бонч-Бруевича и др.)[1].

Своеобразным подступом к повести стал рассказ «Адам», напечатанный в четвертом номере журнала «Весы» за 1908 г. В «Адаме», написанном в экспрессивно-усложненной манере, уже довольно отчетливо звучит тема «возвращения блудного сына» — оторванного от почвы безумца-интеллигента на родную землю. Обращение Белого в «Серебряном голубе» к стилевым традициям прошлого столетия, к гоголевской повествовательной манере было подготовлено соответствующим опытом в его поэтическом творчестве: в кон-

[1] Белый А. Между двух революций, с. 298, 354.

це 1908 г. выходит сборник «Пепел», поэтика которого открыто строится под знаком Некрасова, а в марте следующего года — сборник «Урна», стихи которого пропитаны образами и ритмами Баратынского.

Окончательный текст повести был создан в 1909 г.: в феврале и марте Белый начинает работу над ней, уединившись в имении родственников своего друга Г. А. Рачинского в Бобровке, а летом продолжает ее уже в подмосковном Дедове. В том же году «Серебряный голубь» напечатан в журнале «Весы» (№ 3—4, 6—7, 10—12).

В отличие от многократно и существенно перерабатываемого «Петербурга», текст «Серебряного голубя» при последующих изданиях практически не правился автором. В 1917 г. Белый пытается издать свое собрание сочинений, однако из-за смерти издателя, В. В. Пашуканиса, в свет выходит лишь два тома, четвертый и седьмой. Седьмой том содержит четыре первые главы повести, обозначенные как ее первая часть. Вторая часть не вышла. В 1922 г. в берлинском издательстве «Эпоха» «Серебряный голубь» выходит в двух частях, без авторского предисловия и с изъятием нескольких заключительных фраз.

Резкое своеобразие стилистической манеры Белого (ритмическое начало в прозе, соединение объективных и субъективных ракурсов повествования, разнообразие словесно-речевых систем — «книжной», сказовой, стилизованной) определяет особенности синтаксиса повести. Необычное употребление многих знаков препинания (и столь же необычное их отсутствие в необходимых случаях), особенное построение громадных по величине и сложнейших по составу предложений, частое изменение традиционного порядка слов (инверсия), подчеркивающее ритм, расстановка самим Белым неожиданных ударений над словами (сделанная также в целях

ритмизации) — все это и многое другое безусловно является проявлением авторской воли и в максимально возможной степени сохранено в настоящем издании.

Отдельную проблему составили смысловые «темные места», не выправленные Белым ни в одном из прижизненных изданий. С одной стороны, автор неоднократно подчеркивал неразрывное единство формы и содержания, для него значимой была любая «мелочь», вплоть до буквы и знака препинания. Но с другой стороны, при первой публикации и при переизданиях повести писатель не уделял особенного внимания выверке сложнейшего текста «Серебряного голубя». Текстологические решения, которые необходимо было принимать при многочисленных разночтениях и отступлениях от грамматических и стилистических норм, присущих прозе А. Белого, требовали крайней осторожности и также были нацелены на сохранение смысловой, образной и ритмической цельности повествования.

Стр. 30. *...большинство действующих лиц еще встретятся с читателем во второй части «Путники»...* — Имеется в виду роман «Петербург» (см. вступ. ст. к наст. изд.).

Стр. 32. *Благочинный* — священник, осуществляющий административный надзор над несколькими церквями.

Кика — старинный праздничный головной убор замужней женщины, платок с концами, повязанными в виде рогов.

Стр. 33. *...с бутылями казенки для «винополии»...* — Казенка — водка, продаваемая в государственной винной лавке. Слово связано с государственной (казенной) монополией на торговлю водкой, которая стала вводиться в России с 1895 г. министром финансов графом С. Ю. Витте. «Винополия» — искаженное «монополия».

Стр. 34. *Стрекулист* — мелкий чиновник, в переносном смысле — плут, проныра.

Марциал Марк Валерий (42—103) — римский поэт, автор нескольких книг остроумных сатирических эпиграмм.

Стр. 35. *...к баронессе Тодрабе-Граабеной.* — Символический смысл немецкого (западного) имени Тодрабе-Граабен образует соединение таких корней, как «Tod» (смерть), «Rabe» (ворон) и «Grabe» (могила).

...о мирре уст... о полиелее ноздрей. — Мирра — ароматическая смола, употребляемая в парфюмерии. Полиелей — наиболее торжественная часть православной службы, во время которой звучат все голоса хора и возжены все свечи.

Стр. 36. *Шмидт* — фамилия приятеля Дарьяльского, увлеченного теософией, скорее всего, навеяна именем знакомой Белого, фанатичной теософки Анны Николаевны Шмидт (1851—1905), изводившей самого Белого и его друзей своими полубезумными идеями. О ней см.: Белый А. Начало века. М.—Л., 1933, с. 119, 125.

Стр. 42. *Вальс «Невозвратное время».* — Возможно, имеется в виду вальс А. Сивачева «Невозвратные грезы» (1899).

Стр. 48. *...взятие мощной крепости Карса...* — Город Карс на северо-востоке Турции был взят штурмом русскими войсками 10 декабря 1877 г.

Стр. 50. *Минеи* — Великие четьи-минеи (чтения ежемесячные) — сборник житий святых, составленный по месяцам, в соответствии с днями чествования церковью каждого святого.

Стр. 51. *...в шуйце... в... деснице...* — т. е. в левой и правой руке.

Омофор — часть епископского облачения, надеваемая на плечи.

Стр. 52. *Плезир* — удовольствие, забава (от фр. plaisir).

Стр. 60. *Полпивная* — заведение, торгующее полпивом (то есть легким пивом).

Стр. 68. *Конт* Огюст (1798—1857) — французский философ и социолог, основоположник позитивизма.

...изучающий Беме, Экхарта, Сведенборга как изучал он Маркса, Лассаля и Конта... — Сопоставляются две группы философов — представителей полярных мировоззрений: мистико-идеалистического и материалистического (диалектического и позитивистского). Бёме Якоб (1575—1624) — немецкий натурфилософ и мистик, оказавший большое влияние на романтиков. Мейстер Экхарт (Экхарт Иоганн; около 1260—1327) — немецкий средневековый мистик-пантеист. Сведенборг Эмануэль (1688—1772) — шведский философ, создавший теософское учение о потусторонней жизни и поведении духов. Интерес к учениям Беме, Экхарта и Сведенборга значительно возрос на рубеже XIX—XX вв., особенно в среде символистов. Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист, популярный в то время в среде русской интеллигенции.

...во святых местах, в Дивееве, в Оптине... — Дивеево — женский монастырь в Нижегородской губернии. Оптина пустынь — мужской монастырь в Калужской губернии.

Тибулл Альбий (ок. 50—19 гг. до н. э.) — римский поэт, в своих любовных элегиях воспевающий идиллическую жизнь в деревне.

Флакк Авл Персий (34—62) — римский поэт-сатирик.

Стр. 69. *Аер* — правильно: аир — болотное растение, обладающее острым запахом.

Стр. 72. *...подтенькивал... треугольник...* — Треугольник — музыкальный ударный инструмент соответствующей формы из согнутого металлического прута.

Стр. 74. *...царство Зверя приходит...* — Показательное для Белого (а также и некоторых символистов) отождествление социально-политического кризиса с религиозно-мистической идеей конца света. Образ Зверя — посланника Антихриста, который должен будет продолжительное время править на земле перед наступлением Страшного суда, взят из «Откровения святого Иоанна Богослова», 13.

Стр. 77. *Однодворцы* — сословие, образовавшееся из числа служилых людей, обладавших небольшим собственным поместьем и впоследствии фактически приравненных к крестьянам.

Стр. 78. *...глыбами желтого лесса...* —Лёсс — известковая порода на водоразделах и склонах.

Стр. 81. *Чимиръ,* или чемер — народное название ряда болезней (в том числе, недомоганий живота).

Стр. 82. *...со штундой тарабарил, и к бегунам летось ходил...* — Штунда (штундизм) — сектантское течение среди русских и украинских крестьян во второй половине XIX в., возникшее под влиянием протестантизма и отрицающее обрядность. Бегуны (странники) — толк в старообрядчестве, возникший во второй половине XVIII в., представители которого призывали уклоняться от государственных повинностей.

Стр. 89. *Светлый Праздник* — Пасха.

Стр. 98. *...как бы по ту сторону стояли добра и зла...* — Ироническое переосмысление названия книги Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (1886).

Стр. 100. *Лжица и копие* — атрибуты священника для раздачи причастия. Копием (вилочкой в виде копья) вынимают частицы из просфор и раздают их причащающимся, лжицей (ложечкой) раздается вино.

Стр. 112. *...все теперь восседают... средь белой, райской земли... под Фаворскими небесами... и глотают... вино красное Каны галилейской...* — Фаворские небеса и Кана галилейская — два евангельских образа. На горе

Фавор Иисус Христос преображается перед своими избранными учениками и получает от Бога-Отца подтверждение своего божественного происхождения и предназначения (Евангелие от Марка, 9, 2—7). Кана галилейская — город, в котором Иисус совершил свое первое чудо: присутствуя на свадьбе, превратил воду в вино (Евангелие от Иоанна, 2, 1—11).

Стр. 119. *Огневица* — лихорадка, горячка.

Стр. 123. *...сраженье под Лейпцигом...* — Имеется в виду так называемая «Битва народов», произошедшая около Лейпцига 16—19 октября 1813 г., в ходе которой объединенные силы России, Пруссии, Австрии и Швеции разгромили наполеоновскую армию.

...с бриллиантовым шифром на плече... — Шифр — знак отличия в виде вензеля императрицы, выдававшийся фрейлинам.

Стр. 124. *...Флориан, Поп, Дидерот и отсыревшие корешки Эккартгаузена «Ключ к объяснению тайн природы».* — Перечисляются европейские писатели, показательные, по мнению Белого, для русской дворянской («западнической») культуры начала XIX в. Флориан Жан-Пьер (1755—1794) — французкий писатель, в идиллиях, баснях и романах которого аристократическая галантность рококо соединялась с чувствительностью в духе Руссо. Поп Александр (1688—1744) — популярный в России в конце XVIII — начале XIX в. английский поэт. Дидерот — старинное написание имени Дидро Дени (1713—1784), французского писателя-энциклопедиста. Эккартгаузен Карл фон (1752—1803) — немецкий писатель, юрист и естествоиспытатель, автор оккультных и алхимических сочинений. Многие его книги были переведены и изданы в России в первой трети XIX в. благодаря особому отношению к его учению со стороны русского масонства. «Ключ к объяснению тайн природы» (1794) — одно из самых популярных его мистических сочинений.

Стр. 127. ...*о жуке Аристофана...* — Речь идет о жуке, фигурирующем в сюжете комедии «Мир» древнегреческого драматурга Аристофана (ок. 445 — ок. 385 гг. до н. э.). Ее персонаж, уставший от бесчисленных войн винодел, едет верхом на жуке на Олимп и приводит оттуда в свой дом богиню мира.

Вилламовиц-Меллендорф — правильно: Виламовиц-Меллендорф Ульрих фон (1848—1931) — видный немецкий ученый, специалист по классической филологии.

Бругманн Карл (1849—1919) — немецкий языковед, один из основоположников младограмматизма, автор трудов по сравнительной грамматике индоевропейских языков.

Стр. 136. *Матинэ* — утренняя кофта.

Стр. 138. *Калькомани* (и т.) — здесь: переводная картинка.

Стр. 139. *Олеонафт* — машинное масло.

Стр. 144. ...*седьмая эклога Феокрита...* — Здесь неточность. Древнегреческий поэт Феокрит (ок. 300 г. до н. э. — первая половина III в. до н. э.) писал не эклоги, а идиллии. Жанр эклог появляется лишь в I в. до н.э. в творчестве римского поэта Горация. Седьмая идиллия «Праздник жатвы» признается всеми исследователями творчества Феокрита одним из лучших его произведений.

Стр. 150 . ...*серные эти бездны, выпускающие... саранчу...* — Образ, заимствованный из «Откровения святого Иоанна Богослова» (9, 1—11). Нашествие саранчи в евангельском первоисточнике является одной из «казней», насылаемых Богом на человечество перед концом света.

Стр. 156. *«Бульдог»* — револьвер особой системы с коротким дулом. С «бульдогом» в кармане ходил А. Белый по Москве в дни революции 1905 г., опасаясь нападения со стороны лабазников-контрреволюционеров (Б е л ы й А. Между двух революций, с.40).

Стр. 160. *Бонтонный* — изысканный, светский (от фр. bon ton — хороший тон, светская учтивость).

Стр. 161—162. *...белый генерал, Михайло Дмитрич... проживает... под видом разбойника Чуркина... ни Скобелев он...* — Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал от инфантерии, известный русский полководец, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Его имя соединяется здесь с именем популярного персонажа из лубочных повестей и драм — разбойника Чуркина.

Стр. 163. *Тальма* — женская длинная накидка без рукавов.

Стр. 165. *Танагрские статуэтки* — терракотовые статуэтки из древнегреческого города Танагра (IV в. до н.э.).

Стр. 171. *Чухолка... мистический анархист...* — Пародийное переосмысление фамилии Чулкова Георгия Ивановича (1879—1939), выступившего в 1906 г. с теорией так называемого мистического анархизма, которая вызвала серию язвительных фельетонов Белого.

Дю Прель Карл (1839—1899) — немецкий философ-метафизик, который пытался соединить оккультизм с дарвинизмом, объявляя оккультизм «новым естествознанием».

...коловратная судьба препятствует правильному развитию ментальной моей скорлупы... — Согласно оккультным воззрениям, каждый человек «потенциально» состоит из трех «тел»: физического, астрального и ментального. Конечная цель теософа — выявить в себе ментальное (то есть духовное) тело и достичь «сверхсознания».

Теософия — религиозно-мистическое учение Е. П. Блаватской (1831—1891) и ее последователей, сложившееся под влиянием индийской философии, оккультизма и мистических доктрин Древнего Востока.

Стр. 172. *Кабаллистика,* или каббалистика — «практическая наука» о возможности воздействия человека (с помощью определенных ритуалов и молитв) на божест-

венный космический процесс. В основе своей имеет Каббалу — мистическое учение, созданное в недрах средневекового иудаизма, в котором вера в Библию как в мир символов соединялась с идеями неоплатоников и гностиков.

Крукс Уильям (1832—1919) —английский физик и химик.

Маймонид (1135—1204) — крупнейший вероучитель иудаизма, давший в книге «Мишне-Тора» свод всего еврейского законодательства.

*Малларм*э Стефан (1842—1898) — французский поэт, один из лидеров символизма.

...растут из щепотки порошка фараоновы змеи... — Имеется в виду эффектный химический фокус, основанный на том, что при горении цианокислого серебра из сухого порошка возникает быстрорастущая «змееподобная» масса.

Стр. 173. *Вибрион* — разновидность бактерий.

Стр. 177. *Тимпан* — древний музыкальный ударный инструмент, род ручной литавры.

Стр. 183. *...я оскорбил... бессмертную... монаду в собачьем облике... перевоплощение земнородных существ в их коловратном вращенье...* — Речь идет о метапсихозе — вере в перевоплощение душ, которая была одной из составных частей теософии. Монада — согласно оккультным воззрениям неразрушаемая после смерти человека духовная субстанция.

Стр. 195. *...с аграмантовым украшеньем...* — Аграмант (от ф р. agrament — украшение) — узорчатое плетение из шнура.

Стр. 196. *...по прошествии всех... трех Спасов...* — Имеются в виду осенние церковные праздники: первый Спас («медовый») — 14 августа, второй Спас («яблочный») — 19 августа, третий Спас — 19 сентября.

Стр. 197. *...до последнего души иждивения...* — То есть до самой смерти.

Стр. 199. *Спасов лик, благословляющий хлебы.* — Речь идет об иконе, изображающей чудо Иисуса Христа, насытившего пятью хлебами пять тысяч человек. «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежащим... сколько кто хотел» (Евангелие от Иоанна, 6, 11).

...лик Богоматери «Райский Цвет»... — Видимо, Белый здесь имеет в виду каноническую икону Божьей Матери «Неувядающий цвет».

Григорий Богослов (328—390) — один из авторитетных вероучителей христианства, автор богословских сочинений.

Стр. 200. *Степан Иванов* — едва ли не единственный персонаж «Серебряного голубя», который появляется в романе «Петербург» и излагает его герою, Дудкину, содержание первой повести неосуществившейся трилогии (см. Белый. А. Петербург. Л., 1981, с.100—105).

Стр. 209. *Академист* — выпускник духовной академии.

Стр. 214. *Мурмолка* — старинная русская шапка с плоской тульей.

Стр. 215. *Шестопер* — старинное оружие, булава с шестью металлическими перьями.

Стр. 216. *...про врата адамантовы...* — символ крепости веры, которая должна послужить праведникам несокрушимыми (как адамант, то есть алмаз) вратами в будущую блаженную жизнь.

Стр. 221. *...чайник рассказывал...* — Чайник — здесь: любитель чая.

Стр. 233. *...между зелеными глазами Ивановых червячков.* — Ивановы червячки — народное название светящихся личинок жуков-святлячков, связанное с поверием о таинственных огоньках, которые загораются над кладами в ночь на Ивана Купалу (24 июля).

Стр. 238. *...море... кубовой сини...* — Кубовый — ярко-синий густого оттенка.

Стр. 241—243. *...странные на полках были книги... Были странные надписи на белом дереве стола...* — В описании жилища теософа Шмидта А. Белый, создавая атмосферу учености, таинственности и сокровенности, называет ряд загадочных символов, книг и имен мудрецов, связанных с оккультными науками, не всегда при этом придерживаясь документальной точности. Кроме того, написание в повести некоторых имен и понятий отличается от традиционного.

Так, говоря о *«Кабалле в дорогом переплете»,* Белый отождествляет каббалу (мистическое учение — см. коммент. к с. 172.) с конкретной книгой. Ошибается он и тогда, когда называет книгой *Меркабу,* которая является одним из основных символов оккультизма; согласно Библии, откуда этот образ был позаимствован, — это чудесный престол-колесница Яхве. На следующей странице повести приводится символическое изображение Меркабы, близкое к библейскому: *«...венец из роз, наверху которого была голова человека, внизу голова льва; с боков — головы орла и быка...»* (Ср.: Книга Иезекииля, 1, 1—12).

Под *«томами Зохара»* подразумевается «Зогар» («Книга сияния») — основополагающий текст каббалы, созданный на арамейском языке скорее всего Моисеем Леонским в конце XII в. в Испании и приписанный им упоминаемому ниже *Симону Бен-Иохая* (Симон бен Иохаи) — талмудистскому мудрецу II в. Составными частями «Зогара» являются встречающиеся далее в тексте трактаты *«Сифра-Дезниута»* и «Верный пастырь» (превращенный Белым в *«Пастырь народов»*).

К реально существующим сочинениям относятся «Sepher» (книга «Сефер Иецира», созданная до XIII в., один из ранних каббалистических трактатов) и *«Stromata» Климента Александрийского* («Строматa» — «Лоскутный ковер», представляет собой энциклопеди-

ческое собрание записей, составленное христианским теологом Климентом Александрийским (ум. до 215 г.). Загадочными остаются *«Тетрабиблион Птолемея»* (ни у одного из исторических Птолемеев сочинения под таким названием не обнаружено) и *«Baphometis revelata»* («Откровение Бафомета»), приписанное некоему (не установленному нами) *Гаммеру*. Впрочем, название последней книги в какой-то степени проясняется в связи с упоминанием *офитов* (древняя гностическая секта в Средиземноморье, почитавшая змею как образ верховной Премудрости, передавшей первым людям истинное знание жизни) и *темплиеров* (тамплиеры-храмовники — рыцарский мистический орден, основанный в 1119 г. крестоносцами для борьбы с мусульманами в Палестине и упраздненный в 1312 г. папой Климентом V как еретический). *Бафомет* был главным идолом у тамплиеров, а в позднейшем оккультизме стал мистическим символом — астральным богом, олицетворяющим темные силы бытия. С Бафометом теософы отождествляли упоминаемых ниже *Тифона* (в греческой мифологии чудовищное существо со множеством драконьих голов, человеческим торсом и кольцами змей вместо ног, сын Земли-Геи и Тартара) и библейского *«древнего змия»*. Одним из важных оккультных символов сделался и *Титурель* — герой неоконченного эпоса Вольфрама фон Эшенбаха, тесно связанного со сказаниями о рыцарях «Круглого стола» короля Артура и о священном Граале.

Еще два приведенных Белым имени можно предположительно отождествить с реально-историческими. *Lucius Firmicus* — это, вероятно, Фирмик Матерн Юлиус — римский писатель IV в., выдающийся астролог своего времени. Под *рабби Бен-Хананеа,* скорее всего, подразумевается рабби Иошуа бен Ханания — талмудистский мудрец конца I — начала II в.

Дарьяльский и Шмидт спорят об *александризме* — иудейско-александрийской философии I в. до н.э., кото-

рая первая стала проповедовать учение о возможности мистического преобразования мира и истолковывать Библию как мир символов и явилась основой для развития оккультизма. Упоминаемый здесь же *Тот* — египетский бог мудрости, счета и письма, в эллинистический период отождествляется с Гермесом Трисмегистом, легендарным основателем магии.

Герметическая (здесь: тайная, сокровенная, связанная с именем Гермеса Трисмегиста) символика в комнате Шмидта основана на буквах еврейского алфавита (*«таблица с священными гиероглифами»*), каждой из которых в оккультизме соответствовали определенные цифровые значения и символические изображения. Так, *«магическое тау»* — это последняя буква еврейского алфавита, важнейший мистический символ. Чуть ниже о ней говорится: *«Венец магов — Т=400»*.

Столь же характерной приметой оккультизма являются мистически истолкованные геометрические фигуры и эмблемы. В тексте мы встречаемся и с *шестиконечной* (Соломоновой) звездой, и с *пентаграммой* (пятиконечной магической звездой), и со *свастикой* (здесь: магический знак, пришедший из архаической индоевропейской символики; обозначение начала, света и щедрости).

Описанная *«мистическая диаграмма с... десятью лучами-зефиротами»* — это идущая еще от «Зогара» каббалистическая схема мироздания. *Зефирот* — искаженное «сефирота» или «сефирот» (женского рода), мистическая творческая сила, которая, согласно оккультным представлениям, посредствует между Богом и миром. Из десяти сефирот «ближайшей к Богу» является первая (*«риза Божья, первый блеск...»*) — *Kether* (Кетер). Восьмая сефирот имеет имя «Год», а не «Иод» («Iod»). *«Премирный канал,* Canalic cypramundanus» — один из так называемых «каналов», мистических переходов между сефирот.

Стр. 250. *Левиафан* — в библейской мифологии огромное морское чудовище, напоминающее гигантского крокодила.

Стр. 251. *Оперетка... Помнишъ «Maskotte»... Чернов, Зорина...* — «Маскотта» (в России шла также под названием «Красное солнышко») — оперетта французского композитора Одрана Эдмона (1842—1901). Зорина (наст. фамилия — Попова) Вера Васильевна (1842—1903) — русская опереточная певица. Белый, возможно, путает певца А. Д. Давыдова (1849—1911), постоянного партнера Зориной, с популярным в 1900-х гг. автором оперетт М. М. Черновым (1879—1838).

Стр. 272. *Помона* — древнеримская богиня плодов.

Стр. 285. *«Правоведенье».* — Училище правоведенья, основанное в Петербурге в 1835 г., было одним из самых привилегированных учебных заведений (фактически — вторым после Лицея).

Стр. 286. *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма.

Стр. 290. *Саше* — сумочка для хранения мелких предметов (носовых платков, расчесок и т.п.).

Стр. 299. *— Ишъ пляшет! — Что царъ Давид пред ковчегом завета.* — Имеется в виду восторженная пляска библейского царя Давида при перенесении ковчега (II книга Царств, 6).

Стр. 302. *Саров,* Сарова пустынь — монастырь в Калужской губернии, приобретший известность благодаря духовному подвижнику Серафиму Саровскому (1760—1833), личность которого необычайно высоко оценивалась в кругу друзей А. Белого.

Один декадент... все чудил... он объявился потом полевым странником. — Прообразом этого декадента является поэт-символист Александр Михайлович Добролюбов (1876—1942), который начал свою деятельность

как выразитель крайне индивидуалистических тенденций этого направления, но затем погрузился в народные религиозные искания, долго странствовал по России как простой нищий и даже организовал религиозную секту «добролюбовцев». Его поздние взгляды (включающие отречение от современной культуры) изложены в сочинении «Из книги невидимой» (М., 1905). О встречах с ним см.: Белый А. Начало века, с. 363—366.

Стр. 306. *Россия — монгольская страна; у нас всех — монгольская кровь, не ей удержать нашествие: нам всем предстоит пасть ниц перед богдыханом.* — Идея «монгольской (желтой) опасности», которая более яркое выражение получит в романе «Петербург», исходит из историософской концепции В. Соловьева, изложенной в сочинении «Три разговора». Идею разрушения Европы монголами проповедовал чудаковатый знакомый Белого Владимир Иванович Танеев, отдельными чертами которого писатель наделил барона Тодрабен-Граабена (см.: Белый А. Начало века, с. 269—270). Богдыхан — китайский император.

Стр. 328. *Гурку изобразит батя, переход через Балканию.* — Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901) — русский генерал-фельдмаршал. В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. с семидесятитысячным отрядом совершил зимний переход через Балканы и разбил турок под Филиппополем.

Стр. 332. *«Усекновение Главы».* — Церковный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается 29 августа.

«Откровение». — «Откровение святого Иоанна Богослова», или Апокалипсис, последняя книга Нового Завета. Пророческие предсказания «Откровения» о близком конце были весьма близки умонастроениям Белого, писатель находил здесь созвучия не только своим мыслям о катастрофизме эпохи рубежа веков, но и

надеждам на духовное обновление человечества. Яркими образами «Откровения» насыщены многие художественные и научно-публицистические произведения Белого.

Стр. 333. *Вот отец Бухарев все читал-читал «Откровение»; под старость же лет взял, да и женился.* — Бухарев (отец Федор) Александр Матвеевич (1824—1871) — автор богословских сочинений, главное из которых посвящено истолкованию Апокалипсиса. После запрещения издания этого труда церковным начальством он снял с себя сан и вскоре женился.

Славъте Господа Бога, на гуслях и органах... — Измененная цитата из Библии. Ср.: «Славьте Господа на гуслях; пойте ему на десятиструнной псалтыри» (Псалом 32, 2).

Стр. 338. *Вретище* — одежда из грубой ткани, рубище.

Стр 340. *...ужас, петля и яма...* — Измененная цитата из Библии. Ср.: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли» (Книга пророка Исайи, 24, 17).

Стр. 357. *Трактат Парацельса «Archidoxis magica»...* — Парацельс (1493—1541) — врач эпохи Возрождения, один из основоположников алхимии, в своих трудах соединил естественнонаучные и оккультные принципы. Данное Белым название книги неточно, правильно: «Archidoxa» (Мюнхен, 1570) — «Сверхнаука».

Книга физика Кирхера «De arte magnetica»... — Кирхер Афанасис (1602—1680) — немецкий ученый, иезуит, занимавшийся физикой, изучением древностей, теологией и математикой. Имеется в виду его книга «Magnes sive de arte magnetica libri tres» («Магнит, или Об искусстве магнетизма в трех книгах». Рим, 1640).

Стр. 396. *Снимка* — род мягкой резинки.

Стр. 398. *...у людей, вступающих за черту оседлости, безжалостно отымается снисхожденье, окутывающее их взор обыденною простотой...* — Под «чертой оседлости»

здесь подразумевается ограниченное обыденной жизнью, нормальное состояние человека, при котором, согласно представлениям некоторых философских школ, от его сознания скрыт подлинный облик вещей. В «пограничных ситуациях» (в данном случае перед лицом смерти, которую предчувствует Дарьяльский) человек как бы прозревает и видит мир в его глубинном сущностном измерении.

ЛУГ ЗЕЛЕНЫЙ

Печатается по изданию: Белый А. Луг зеленый. — «Весы», 1905, № 8.

Стр. 414. *Вспомни, вспомни луг зеленый...* (эпиграф) — Цитата из стихотворения В. Брюсова «Орфей и Эвридика» (1903, 1904).

Ты ведешь — мне быть покорной... — Цитата из стихотворения В. Брюсова «Орфей и Эвридика».

ГОГОЛЬ

Печатается по изданию: Белый А. Гоголь. — «Весы», 1909, № 4.

Цитаты из произведений Н. В. Гоголя сохраняются в изложении А. Белого, не всегда точном (а подчас — и весьма вольном).

Стр. 421. *«Размышление «pro domo sua» по поводу ненаписанной драмы».* — В современных изданиях сочинений Н. В. Гоголя при публикации набросков драмы из украинской истории приводится другое авторское название: «Как нужно создать эту драму». Pro domo sua — букв.: в защиту своего дома (лат.), обычно так называли заметки личного характера.

Стр. 423. *Эллис* (Кобылянский Л. Л.; 1879—1947) — поэт, критик и теоретик символизма, один из ближайших друзей А. Белого.

Стр. 426. *...позднейшая критика превратила Чичикова... в черта...* — Подразумевается трактовка гоголевского героя, данная в книге Д. С. Мережковского «Гоголь и черт» (1906).

Стр. 427. *...столоначальнику советует помнить, что он — как бы чиновник небесного стола...* — Измененная цитата из черновика письма Гоголя Белинскому. Ср.: «Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства». (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 13. М., 1952, с. 443).

Стр. 431. *...пред посвящением в эпопты на больших мистериях Елевзиса...* — Елевзинские мистерии проводились в честь богинь Деметры и Коры в одном из районов Аттики — Елевсисе. Эпопты (созерцатели) — лица, получившие высшую степень посвящения и допускавшиеся к «созерцанию» мистерий.

...состояние... которое Достоевский называет «минутой вечной гармонии»... — Подразумевается необычайное состояние человеческой психики, которое испытывает герой романа «Идиот», князь Мышкин, непосредственно перед эпилептическим припадком (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 8. Л., 1973. с. 188).

...подлинным преображением (Серафим), подлинным безумием (Ницше)... — Серафим Саровский — см. коммент. к с. 302. Ницше Фридрих (1844—1900) — популярнейший в кругу символистов немецкий философ-идеалист; в конце жизни сошел с ума.

Стр. 432. *О. Матвей* — Константиновский Матвей Александрович (1792—1857) — ржевский протоиерей, с которым Гоголь общался в конце жизни.

...Фалес и Платон путешествовали в Египет... — Фалес (ок. 625—547 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник античной философии и науки. По преданию путешествовал по странам Востока и изучал муд-

рость египетских жрецов. Платон Афинский (428/7—348/7 гг. до н. э.) — великий античный мыслитель. Имеются полулегендарные сведения о его посещении Египта, повлиявшем на развитие его философской системы.

Тот-Гермес — см. коммент. на с. 456.

Стр. 437. *Геката* — в древнегреческой мифологии покровительница враждебных ночных духов, колдовства и ворожбы.

М. Козьменко

СОДЕРЖАНИЕ

Белый А.

Б43 **Серебряный голубь:** Повесть в семи главах / Подгот. текста, вступ. статья и коммент. М. Козьменко. — М.: Худож. лит., 1989. — 463 с. (Забытая книга).

ISBN 5-280-01312-9

«Серебряный голубь» (1909) — повесть выдающегося писателя-символиста А. Белого (1880—1934) — посвящена историческим судьбам России, взаимоотношению интеллигенции и народа. Следование гоголевским традициям органично совмещается в ней с новаторскими принципами повествования, характерными для символизма.

Б $\frac{\textbf{4702010201-378}}{\textbf{028(01)-89}}$ **без объявл.** **ББК 84Р7**

Забытая книга

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

(Борис Николаевич Бугаев)

Серебряный голубь

Повесть в семи главах

Редактор С. Чулков

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор В. Нефедова

Корректоры Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 6019

Сдано в набор 15.05.89. Подписано в печать 02.11.89. Формат $70 \times 100^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,79. Усл.-кр.-отт. 37,9. Уч.-изд. л. 18,23. Тираж 100 000 экз. Изд. № I-3469. Заказ 341. Цена 2 р. 20 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. г. Калинин, пр. Ленина, 5.

2 р. 20 к.